

Глава VI

ТЮРЕМНОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ ВЛАСТИ И 22 ЗАКЛЮЧЕННЫХ (1922—1926): БОРЬБА ЗА «ПОЛИТРЕЖИМ» В КОНТЕКСТЕ ТРАДИЦИЙ РОССИЙСКОГО РЕВОЛЮЦИОНЕРА

§ 1. «НУЖНЫ СОВЕРШЕННО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСИЛИЯ И УСЛОВИЯ, ЧТОБЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ИЗОЛИРОВАТЬ ЧЕЛОВЕКА, МЫСЛИ КОТОРОГО ТОЛЬКО И НАПРАВЛЕННЫ НА ТО, ЧТОБЫ ПЕРЕХИТРИТЬ ВРАГА. И В КОНЕЧНОМ СЧЕТЕ МЫ ОСТАВАЛИСЬ ПОБЕДИТЕЛЯМИ»

Слова видного эсера В. М. Зензинова, вынесенные в название параграфа¹, совершенно верно ухватили суть тюремного противоборства заключенного и власти. Зензинов вывел их из опыта пребывания в Таганской тюрьме в 1904—1905 гг., но они оказались совершенно верными и для тех условий «особой изоляции», которые были созданы для 22-х осужденных по процессу эсеров.

Далее мы увидим, что и большевистская верхушка, и чекисты прекрасно отдавали себе отчет, насколько важно изолировать от воли, от эсеровского подполья этих 22 заключенных эсеров, среди которых почти половина была членами ЦК ПСР, а все они вместе взятые благодаря своему мужественному поведению на процессе стали для дезориентированной эсеровской среды (и особенно для молодежи) живыми символами борьбы. Изоляция их от эсеровского подполья и эмиграции становилась для власти и чекистов важнейшей задачей, причем задачей, без преувеличения имеющей серьезное политическое значение. Эту изоляцию заключенные пытались преодолеть, и прибегая к ухищрениям «тюремной коммуникации» и добиваясь расширения границ «политрежима» всеми доступными для себя способами — от заявлений до голодовок и самоубийств.

1.1. «Прошу войти с ходатайством, куда нужно, на предмет принятия мер к укрощению обнаглевших»: мероприятия власти по изоляции подсудимых 1-й группы от внешнего мира во время процесса.

Фразой, давшей название этому подпараграфу, заканчивался рапорт пом. начальник СО ГПУ Т. Д. Дерибаса от 2 июля 1922 г., в котором он доносил своему начальнику Т. П. Самсонову, как во время свидания с родственниками подсудимые передавали и принимали письма² (подробнее см. ниже). Этот «крик чекистской души» ярко показывает, как немало добились подсудимые-эсеры, боровшиеся с попытками властей изолировать их от внешнего мира во время процесса.

Подчеркнем, что данный материал не случайно рассматривается нами в главе, посвященной «тюремному противостоянию», хотя хронологически он предшествует ей. Режим «особой изоляции», созданный и примененный к 22-м эсерам после завершения процесса, родился вовсе не на

пустом месте. Он появился из ожесточенной борьбы чекистов и подсудимых 1-й группы, из того опыта, который накопили чекисты в предшествующие месяцы. Более того, многие меры инструкции по «особой изоляции» были более драконовскими, чем этого требовало существо дела. И корни этого также следует искать в ожесточенности предшествующей борьбы чекистов и эсеров за «тюремный режим» накануне и во время проведения процесса.

Ответ на вопрос о том, почему власти пытались изолировать подсудимых 1-й группы от внешнего мира, несложен. В условиях поддержки подсудимых европейским социалистическим движением и не до конца еще задуманной, хотя уже и нелегальной печатью российских социалистов, их голоса ждали и к нему прислушивались. Обращение к Вере Николаевне Фигнер, юбилей которой пришелся на июль 1922 г., было перехвачено чекистами и, конечно же, не могло не встревожить власти — ведь в нем подсудимые эсеры претендовали на звание хранителей революционных традиций, символом которых и была В. Н. Фигнер. Но на то же самое претендовала и большевистская власть, нетерпимо относившаяся к подобным попыткам даже со стороны Общества политкаторжан и ссыльно-поселенцев (это Общество едва не было в это время закрыто)³. А уж подобная конкуренция со стороны эсеров, чей процесс гремел по всему миру, тем более была для власти нетерпима и к тому же куда более опасна.

Именно поэтому власти предпринимали сверхусилия, чтобы речи эсеров-подсудимых 1-й группы в зале суда мир узнавал только в пересказе советской прессы. Ради этого они осознанно пошли на нарушение договоренностей о выдаче подневных стенограмм адвокатам и иностранным социалистам-защитникам, что вызвало ряд скандалов. К моменту произнесения защитительных речей (вместо адвокатов) и последних слов казалось, что эта проблема уже решена (как и проблема иностранных защитников и русских адвокатов) и утечки текстов не произойдет. Но все защитительные речи и десять последних слов из 22-х все-таки были опубликованы в сдвоенном номере (№ 21—22) эмигрантского эсеровского журнала «Революционная Россия». Как подобное стало возможно? Ответ на этот вопрос стал возможен после выявления в Архиве ПСР рукописных черновиков, которые и были опубликованы, и сличения этих текстов со стенограммами последних слов на процессе⁴. Характер различий позволяет говорить, что источником газетной публикации были не стенограммы процесса, а рукописные подлинники, переданные, по всей видимости, через родственников на свидании или через защитницу Орлову, которой чекисты дали говорящую кличку наружного наблюдения — «Связь», еще до чтения приговора. Публикация последних слов в эсеровской эмигрантской и в выдержках в подпольной прессе, безусловно, была серьезной неудачей для чекистов.

Кроме того, и во время, и после процесса главным мотивом «особой изоляции» чекисты называли необходимость изолировать подсудимых от эсеровского подполья, которым члены эсеровского ЦК руководили и из тюрьмы. Собственно говоря, именно из-за этого и шла борьба в течение всех 4-х лет тюремного противоборства. Позже факт руководства эсеровским подпольем из тюрьмы будет признан и в одном из чекистских документов 1925 г.

Первоначально чекистам удалось обеспечить очень жесткую тюремную изоляцию обвиняемых эсеров. Так, в перехваченном чекистами письме ЦБ ПСР в Заграничную Делегацию «Люсьмарин» (Г. К. Покровский) сообщал 25 марта 1922 г.: «Наших товарищей „уголовников“, как и нужно

было полагать, за несколько дней до опубликования (слово в копии пропущено. — *К. М.*) процесса, из Бутырок перевели во внутреннюю тюрьму ВЧК в Кисельный, рассадили многих по одиночкам, изолировали от остального мира, оставили без свидания, газет и переписки, применяют к ним режим уголовников, режим, как нам известно, свирепый. К ослаблению его принимает героические меры политический Красный Крест. Само собой разумеется, что мы от них пока никаких сведений не получаем. Я пишу „пока“, ибо мы не теряем надежды все же кое-какие вести получить. Все письма, адресованные кому-либо из бутырцев, по адресу не доходят»⁵.

Позже обвиняемые использовали для расшатывания своей изоляции все возможности, включая и взаимную неприязнь и ведомственные распри между ГПУ и Верхтрибом, которые ярко проявились во время подготовки к процессу (фрондирующее поведение и вызывающие действия Н. В. Крыленко по отношению к чекистам, амнистия ряда обвиняемых помимо, а то и вопреки, воле ГПУ и т. п.). Дело в том, что чекисты, судя по имеющимся документам, были абсолютно уверены, что тюремная изоляция и охрана обвиняемых — это их прерогатива и их обязанность. Но верхтрибовцы думали иначе. Основания для этих трений были, конечно, не только в борьбе амбиций и личной неприязни, но и в правовой неурегулированности, точнее было бы сказать — в практической неотработанности взаимодействия между двумя ведомствами, которые за годы гражданской войны привыкли, мягко говоря, несколько к иной «правовой» практике и к собственному самовластию.

Как известно, после завершения предварительного следствия органами ГПУ обвиняемые были переданы в юрисдикцию Верховного трибунала, зам. председателя которого А. А. Галкин распространил ее и на тюремный режим. 2 мая 1922 г. он отправил начальнику Лефортовской тюрьмы письмо, в котором говорилось, что, препровождая в его тюрьму группу обвиняемых эсеров из 29 человек (вычеркнуты в списке рукой Галкина были Я. Т. Дедусенко, М. А. Давыдов, П. Т. Ефимов, С. Е. Кононов, П. В. Злобин, Ф. В. Зубков, М. И. Львов, П. Н. Пелевин, Н. Г. Снежко-Блоцкий, К. А. Усов, Ф. Ф. Федоров-Козлов, В. П. Шестаков, остались в списке В. В. Агапов, А. И. Альтовский (он же Алексеев А. Н.), Н. И. Артемьев, М. А. Веденяпин, М. Я. Гендельман (Грабовский), Г. Л. Горьков-Добролюбов, А. Р. Гоц, Л. Я. Герштейн, Д. Д. Донской, Н. Н. Иванов, Е. А. Иванова-Иранова, М. А. Лихачева (так в тексте. — *К. М.*), С. В. Морозов, Д. Ф. Раков, Е. М. Ратнер-Элькинд, Е. М. Тимофеев, Ф. Ф. Федорович) Верховный трибунал: «...предлагает содержать их под стражей с зачислением содержанием за Следственным отделом Верховного трибунала ВЦИК, в одиночных камерах, или по два, по три вместе <...> — при самой строгой изоляции». Под личную ответственность («за малейшее упущение и неисполнение настоящего отвечаете по суду») начальнику тюрьмы предписывалось «неуклонно следить за тем, чтобы: 1) арестованные не поддерживали никакой связи с волей; 2) вся поступающая на их имя и исходящая от них переписка немедленно пересылалась в Следственный отдел Верхтриба ВЦИК; 3) все поступающие для них передачи подлежали самому тщательному просмотру; 4) свидания разрешать только по особому, на каждый выдавать разрешение следственного Отдела; 5) иметь наблюдение за тем, чтобы отдельно заключенные в тюрьме не имели общения друг с другом; 6) о всех поступающих от арестованных заявлениях, претензиях и т. п. немедленно сообщать Следственному отделу Верхтриба ВЦИК»⁶.

По окончании следствия (даты на документе нет) Галкин отдал распоряжение по телефону (зафиксировано телефонограммой) все тому же начальнику Лефортовской тюрьмы: «Настоящим Верховный трибунал ВЦИК предлагает Вам разрешить общение между содержащимися во вверенной Вам тюрьме обвиняемыми по делу правых эсеров в количестве 17 человек и общие пропуски»⁷. Стоит отметить, что верхтрибовцы отнеслись к своим «подопечным» значительно либеральнее, чем чекисты. Так, например, брату и сестре Ивановым было разрешено свидание с матерью вне тюрьмы (вероятно, в связи с ее болезнью), правда, под расписку: «Сим обязуюсь во время свидания с матерью на квартире, а также по пути туда и обратно никаких попыток к побегу не предпринимать и беспрекословно исполнить все распоряжения представителя Верховного Ревтрибунала т. Шена.

13 мая 1922 г. Николай Николаевич Иванов
Елена Александровна Иванова-Иранова»⁸.

Странность ситуации заключалась в том, что и после окончания следствия Следственным отделом Верхтриба и перевода 22-х обвиняемых эсеров из Лефортовской тюрьмы в тюрьму Московского губотдела ГПУ в Большом Кисельном переулке Следственный отдел Верхтриба, пользуясь тем, что на время процесса подсудимые числились за Трибуналом, пытался повлиять на тюремный режим. 6 июня 1922 г. заведующая «следственным производством по делу правых с.-р.» Е. Ф. Розмирович и секретарь Шен направили коменданту процесса И. Р. Шиманкевичу директивы следующего содержания: «Обвиняемые по делу правых эсеров в количестве 22 человек должны содержаться в тюрьме по Кисельному переулку на следующих основаниях: 1. Двери камер должны быть открыты, т. к. обвиняемые имеют общение между собой. 2. Разрешаются общие прогулки в течение 1 часа. 3. Свидания разрешаются личные по особому выдаваемому на каждый раз разрешению Следственного отдела в течение часа. 4. Передачи (продукты) после тщательного просмотра должны передаваться обвиняемым. 5. Вся поступающая на их имя и исходящая от них корреспонденция, книги и литература для просмотра должны пересылаться в Следственный отдел. 6. По предъявлении соответствующего разрешения Следственного отдела защитники беспрепятственно должны допускаться к обвиняемым»⁹.

Безусловно, для чекистов эта ситуация была странной и весьма обидной, можно даже сказать, это было ударом по их самолюбию — вся ответственность за содержание эсеров падала на них, а командовать в вопросах тюремного режима пытались верхтрибовцы, не несшие ни малейшей ответственности за возможные эксцессы в тюрьме. И хотя формально Верхтриб, за которым числились подсудимые на все время процесса, являлся главным в этой связке, даже с формально-бюрократической точки зрения подобное письмо, подписанное руководителем Следственного отдела, выглядело странным, ведь процесс начинался через два дня и Следственный отдел Верхтриба свою работу уже завершил. Комендант процесса чекист Шиманкевич, попал в незавидное положение, превратившись в слугу двух хозяев, выясняющих между собой отношения. Документы, к сожалению, не отразили всех перипетий этого противостояния, но одно можно утверждать уверенно: в большинстве случаев чекисты игнорировали верхтрибовцев, решая вопросы тюремного режима совершенно самостоятельно. В тех же немногочисленных случаях, когда во время процесса требовалось взаимодействие ГПУ и Трибунала, Ф. Э. Дзержинский и Т. П. Самсонов обращались

через того же Шиманкевича вовсе не к Крыленко или к его жене Розмирович, заведовавшей следствием по данному делу, а к председателю суда Г. Л. Пятакову.

Непосредственно накануне процесса верхтрибовцы предложили чекистам компромиссное решение. 7 июня 1922 г. за подписями зам. председателя Верховного трибунала А. Галкина и зам. управляющего делами Верховного трибунала Лауцина было отправлено два практически одинаковых письма (отличие было только в именах подсудимых): одно — в Управление делами ГПУ, другое — коменданту тюрьмы МГО ГПУ (Б. Кисельный переулоч). Текст писем гласил: «Верховный трибунал ВЦИК предлагает находящихся во вверенной Вам тюрьме и числящихся за Верховным трибуналом эсеров выдавать ежедневно утром, как лично Коменданту процесса эсеров тов. Шиманкевичу Иосифу Романовичу, так и лицам по его указанию за его, т. е. Шиманкевича, подписью. Ежедневно по окончании судебного заседания арестованные будут препровождаться к Вам обратно. Список арестованных на обороте сего»¹⁰.

Насколько серьезно чекисты подходили к вопросам изоляции подсудимых от внешнего мира, видно из выработанной ими специальной инструкции, называвшейся «Положение о содержании арестованных на время судебных процессов». На выработку этой инструкции повлиял тот опыт, который чекисты приобрели весной 1922 г., когда пытались максимально изолировать обвиняемых от внешнего мира. Чекисты не без основания опасались, что свидания подсудимых 1-й группы с родственниками являются каналом двустороннего общения с партийными товарищами, в частности ЦБ, руководившим в это время всей контрпропагандистской кампанией против процесса. Этой инструкцией предписывалось обыскивать в помещении тюрьмы заключенных, направляемых из тюрьмы в зал судебного заседания, а также возвращающихся по окончании каждого судебного заседания; подсудимым в зале суда запрещалось «иметь непосредственные свидания со своим родственниками и знакомыми», «передавать кому-либо из родных писем, записок, а равно принимать таковые во все время нахождения в зале, хотя бы и через защитников», но родственникам и знакомым подсудимых разрешалось «передавать через коменданта продуктовые передачи»¹¹.

В справке «По вопросу об охране членов ЦК ПСР в связи с процессом», подписанной Самсоновым 13 июня 1922 г. и адресованной Дзержинскому (она была поделена на две графы: левая называлась «Что должно быть сделано», правая — «Что сделано, что не сделано и почему») несколько пунктов относилось к интересующему нас вопросу:

«<...> 10) Обыск в тюрьме и под эстрадой. 10)... б) Об обысках в тюрьме распоряжение сделано, в) производим обыски в вещах арестованных и в их комнате в суде, во время заседания суда.

...12) О свиданиях обвиняемых в трибунале со своими родственниками. 12) Таковое теперь воспрещено (было лишь один раз по распоряжению тов. Пятакова)»¹².

Однако, запретив свидания с родственниками в помещении суда, чекисты не могли запретить встречи подсудимых с их адвокатами, за которыми поэтому, следили и в зале суда, и с помощью наружного наблюдения, и слушали их телефоны, и подслушивали с помощью спецаппаратуры во время их свиданий с подзащитными. После того, как иностранные социалисты-защитники и российские адвокаты ушли с процесса, подсудимые сами защищали себя, но у них появился новый защитник, точнее защитница — Орлова. С первых же дней она попала под неусыпное

наблюдение чекистов. Уже 11 июля Дерibas сообщил: «Защитница ведет себя двусмысленно, все время шепчется с подсудимыми о городских новостях, в частности, что-то рассказывала о меньшевистских постановлениях последних дней»¹³. Следующий вывод Дерibasа о скрытой роли Орловой звучал уже однозначно: «С достоверностью теперь устанавливается, что защитница — безусловно, информатор чекистов о делах на воле, ибо за время производимой операции по с.-р. ее дважды уже спрашивал Утгоф, видела ли она Богатова (ускользнувшего от операции видного с.-р.) и просил обязательно повидать и переговорить с ним, она ответила утвердительно»¹⁴. На следующий день Дерibas вновь докладывал о защитнице: «Наблюдение за подсудимыми в зале суда и за защитницей подтверждают, что она исполняет роль партийного информатора. Во-первых она принесла какую-то копию доклада Губсоюза (подчеркнуто Ф. Дзержинским. — К. М.), который по очереди перечитывался всеми подсудимыми, во-вторых, Утгоф опять имел с ней продолжительную беседу шепотом, из которой удалось только уловить фразу „не могла ничего сделать“. Раков также имел с нею длительную беседу о каких-то материалах, но беседа велась очень тихо»¹⁵. От защитницы Орловой подсудимые 1-й группы получали с воли даже эсеровскую эмигрантскую прессу. Так, 12 июля Дерibas докладывал о подсудимых: «Все были заняты чтением „Воли России“»¹⁶. 15 июля Дерibas сообщил: «Защитница передала Донскому N „Голоса России“, в котором была вложена тонкая бумажка, писанная на машинке. Донской весьма старательно пытался ее спрятать от наших глаз, но затем показал Гоцу»¹⁷.

Но все же главным каналом обмена информацией между тюрьмой и волей стали свидания подсудимых с родственниками, часть из которых в той или иной мере занималась эсеровской партийной работой (чекисты склонны были обвинить в этом почти всех поголовно, как это видно, скажем, из составленного ими списка родственников, содержащего и характеристики их связи с эсеровским подпольем). Для борьбы с этим чекисты перепробовали последовательно ряд мер: запреты свиданий, установление двойных стен-решеток в комнате для свиданий, проведение «поверхностных личных обысков» подсудимых и их родственников, обысков камер заключенных и квартир родственников на предмет конфискации всякого рода писем и записок. Вспыхнула борьба, но началось не только взаимное давление друг на друга, атаки и контратаки, но и вынужденный поиск компромисса.

С момента начала процесса подсудимым 1-й группы разрешили свидания во время перерыва между утренним и вечерним заседаниями. Сначала, как вспоминала Н. М. Донская, «по графику утренние заседания продолжались с 10 до 14 час., вечерние — с 16 до 19 час. В воскресенье они не проводились»¹⁸. (Чуть позже, как об этом пишет М. Янсен, график был весьма серьезно изменен: утренние заседания — с 12 до 17, вечерние — с 19 до 24. Продление времени вечерних заседаний мотивировалось необходимостью дать рабочим возможность посещать процесс после дневной смены¹⁹. Увеличение общего времени присутствия подсудимых в здании суда (с учетом перерыва) возросло с 9 до 12 часов, что вызвало их протесты и требования считаться с их психологическим и физическим состоянием, не дававшим возможности для столь интенсивной работы, да еще в условиях постоянного психологического давления со стороны обвинения, 2-й группы и двух тысяч враждебно настроенных зрителей²⁰.)

По свидетельству Донской, свидания подсудимым давали два раза в неделю в обеденный перерыв²¹. Но уже после первого свидания в зале суда охрана процесса забила тревогу. В отправленном 10 июня 1922 г. на

имя нач. СО ГПУ Самсонова рапорте начальник тюремного отделения МГПО сообщал: «свидание дается в небольшой комнате, где всех родственников и политзаключенных скопятся 50 человек и при таком ведении свидания совершенно невозможно усмотреть, что пришедшие на свидание родственники могут передать политзаключенным оружие, пилки для железа и даже бомбу и последнее политзаключенные могут привезти в тюрьму, а обыск политзаключенных после процесса не разрешен»²².

И хотя начальник тюремного отделения просил лишь об улучшении организации свиданий (подбор более пригодного помещения и усиление надзора), Самсонов решил перестраховаться и в своей резолюции, адресованной коменданту процесса Шиманкевичу, требовал запрета свиданий и введения обысков²³. Пятаков, очевидно, прекрасно отдавал себе отчет, что любая из двух предложенных Самсоновым мер (а тем более в совокупности) толкнет подсудимых на решительные меры (голодовка, отказ ехать на заседание суда, отказ участвовать в судоговорении, а то и прямая obstruction в зале суда), которые, безусловно, закончатся грандиозным скандалом и срывом (или как минимум приостановлением) процесса. Понимая, что в данном случае вся ответственность ляжет на него как председателя суда, Пятаков не стал удовлетворять ни одно из требований чекистов, а нашел собственное оригинальное решение, своего рода «асимметричный ответ». Пятаков, объяснив ситуацию подсудимым эсерам, взял расписку за подписями всех 22-х подсудимых 1-й группы, которая гласила: «Заявляем, что во время суда мы не скроемся»²⁴. На обратной стороне этой расписки, Пятаков 13 июня 1922 г. написал следующее: «Коменданту. На основании данного по моему требованию обязательства обвиняемых о том, что во время процесса они не будут пытаться бежать, предлагаю давать им через день свидание с родственниками в течение 1/2 часа»²⁵.

Но чекистов подобное решение Пятакова, конечно же, не могло устроить, ибо если в случае срыва процесса ответственность падала на Пятакова, то в случае побега вся ответственность ложилась бы уже прежде всего на чекистов. Поэтому они, сначала подчинившись воле Пятакова, через две недели предпочли ее нарушить, пойдя на введение личных обысков для подсудимых, очевидно, надеясь, что для подсудимых это меньшее зло, чем запрет свиданий, и, возможно, обыски будут приняты ими не так болезненно. Любопытно, что в этой ситуации, чреватой непредсказуемыми последствиями, конфликтами и скандалами, приказ об обысках был отдан вовсе не чекистской верхушкой, а ...зам. начальника СО ГПУ Дерibasом. По этому приказу начальник тюрьмы в Кисельном пер. Иванов, начиная с 26 июня 1922 г. организовал обыск подсудимых. Он планировался дважды в день, с утра перед посадкой в машину и вечером, по возвращении из суда. Но надежды чекистов на то, что обыски обойдутся без эксцессов, не оправдались. Заключенные эсеры реагировали на обыски крайне негативно, вплоть до применения физической силы. То, что дело приобретало нештучный оборот, видно даже из сухих рапортов коменданта трибунала Шиманкевича. В первом из них — от 27 июня 1922 г. он докладывал председателю суда Пятакову: «...Уже первый поверхностный обыск 26/VI с.г. вызвал у этих подсудимых протесты на „задержки“, на „трату времени“ и т. п., но обыск этот произведен был, несмотря на частичные уклонения арестованных от обыска. Обыск 26/VI вечером прошел точно таким же образом, причем отношение подсудимых к этим обыскам определилось словами Евг. Ратнер, сказанными во время одного из предыдущих обысков: „Если бы у меня на самом деле был бы динамит — я бы его бросила в этих жандармов“. Во время обыска

27/VI утром, при производстве обыска, было обыскано лишь человек 5, после чего подсудимые Либеров, Утгоф, а за ними и остальные отказались дать себя подвергнуть обыску и не останавливаясь, оттолкнув слегка сотрудников тюрьмы, вышли в тюремную карету и обыск произведен не был, ибо т. Иванов не пожелал применить на этот раз мер принуждения. Проходя к карете (похоже Шиманкевич по старой привычке „автозак“ упорно называл „тюремной каретой“, ибо по всем источникам видно, что использовался спецавтомобиль, да и немыслима была такая карета, в которой бы возили 22-х человек. — К. М.) и внутри ее подсудимые говорили, что эти обыски им надоели и по этому поводу они сделают заявление Трибуналу»²⁶.

Параллельно с Пятаковым, Шиманкевич доложил о происходящем председателю ГПУ Дзержинскому и нач. СО ГПУ Самсонову, и очевидно получил указание о продолжение обысков во что бы то ни стало и о принятии соответствующих мер. Об этом можно судить по тому, как прошел вечерний обыск, когда подсудимым предложили выходить из «тюремной кареты» по трое — «во избежание уклонения отдельных подсудимых от обыска и большей тщательности и продуктивности такового, причем на обыск каждого подсудимого требовалось не более 1/2 минуты». По словам Шиманкевича, далее события развивались так: «...Первые „трое“ подсудимых обысканы тщательно были, и также были обысканы следующие „трое“, но оставшиеся в карете 16 остальных подсудимых, оттолкнув сотрудника, стоявшего около двери кареты, насильно выбежали из кареты с громкими протестами, якобы, против задержки их в карете и, растолкав сотрудников тюрьмы, которым было приказано т. Ивановым не применять до последней возможности физической силы, направились к входным дверям в тюрьму, но здесь уже были остановлены, и т. Иванов приказал обыск возобновить, вследствие чего один из сотрудников Михайлов приступил к обыску Либерова (который при выходе из кареты толкнул сотрудника Михайлова в грудь), но Либеров ударил сотрудника Михайлова в лицо и при попытке нанести второй удар задержан за руки нач. тюрьмы т. Ивановым, на которого с целью отбить Либерова набросились подсудимые Морозов, Лихач и др. В это время подсудимый Львов, уклонившийся от обыска и находящийся уже в закрытом тюремном корпусе, стал бить стекла в окнах и пытался безрезультатно выломать двери, вследствие чего была выведена дежурная часть красноармейцев и кроме того принятыми мною мерами словесного воздействия на подсудимых было восстановлено некоторое спокойствие, причем во время моего разговора с Гендельманом [кто-то] из подсудимых заявил, что сотрудник Михайлов, которому подсудимый Либеров нанес удар — пьян. Мною сейчас же от имени Верхтрибы было отдано распоряжение о вызове врача для освидетельствования т. Михайлова, который, на мой личный взгляд, не производил впечатления человека, находящегося в состоянии опьянения в какой бы то ни стало степени, к присутствованию при освидетельствовании по предложению обвиняемых был допущен и подсудимый Донской. До освидетельствования среди подсудимых раздавались возгласы, что если обыски будут производиться, они в трибунал не поедут. К настоящему присовокупляю, что возбуждение подсудимых с каждым днем процесса возрастает и, по-моему, необходим самый тщательный надзор и в первую очередь: тщательные, поверхностные обыски и сокращение дней свиданий, что касается насилья над сотрудниками, рапорт одного из них т. Рабинова при сем представляю. Вопрос этот прошу вырешить таким образом, чтобы впредь мои люди имели право ограждать себя от оскорблений действием»²⁷.

Терпение чекистов кончалось. 2 июля 1922 г. Дерibas в своем рапорте на имя Самсонова сообщал о двух попытках передать и получить письма во время свидания подсудимых с родственниками и возникших вокруг этого коллизиях: «Сегодня в 14 часов начальник тюрьмы на Кисельном сообщил, что во время свидания Альтовский передал сыну Злобина письмо. Сына Злобина обыскали и обнаружили письмо. От него (так в тексте. Имеется в виду Лихач, передача письма которому кем-то из родственников была замечена чекистами. — К. М.) потребовали подвергнуться обыску, он отказался, но сами заключенные уговорили признаться и отдать переданное письмо. Он отдал, но обыску отказался подвергнуться. По мнению наблюдавших, он отдал не все и пытался передать Гоцу утаенное.

Я дал распоряжение: 1. Обыскать так, чтобы убедиться нет ли оружия, на тщательном обыске Лихача не настаивать. 2. Сына Злобина задержать при комендатуре на 24 часа. 3. Приходящих еще к Лихачу и Альтовскому на свидание не допускать. 4. Вызвать дежурного следователя МГО и составить об всем этом акт. 5. Письма, отобранные у Лихача и сына Злобина, приложить к акту и доставить мне. 6. Требуемую Лихачем копию с письма не давать (письма, отобранного у него)»²⁸.

Обращают на себя внимание два момента. Во-первых, гибкость тактики подсудимых, уговаривавших Лихача не идти на конфликт из-за отказа подвергнуться обыску и отдать переданное письмо. Они понимали, что в случае отказа принудительный обыск и дальнейшая эскалация конфликта неизбежны, что ставило под удар саму возможность свиданий с родственниками. Представляется, что это соображение было доминирующим, ибо, когда чекисты пытались обыскивать подсудимых вне связи со свиданиями, они категорически противились этому. Во-вторых, несмотря на требования к своему начальству о ходатайстве перед верхами о «принятии мер к укрощению обнаглевших», чекисты были вынуждены идти на компромисс с подсудимыми и провести поверхностный обыск Лихача только на предмет наличия оружия.

Похоже, чекисты понимали, что продолжение обысков и запрет свиданий может привести к очень серьезным для них последствиям, вплоть до срыва подсудимыми процесса путем объявления голодовки, отказа участвовать в судебных заседаниях или устройства обструкции в зале суда. Что могли бы противопоставить этому власти? Методы будущих политических процессов 30-х, где подсудимых подвергали длительному физическому и психологическому воздействию, делая их послушными марионетками, были невозможны, с одной стороны, потому, что в условиях гласного (точнее, полугласного) процесса, сам факт подобного насилия стал бы известен всему миру. С другой стороны, сама задача сделать «групповую марионетку», пригодную для использования на суде, из этих конкретных подсудимых эсеров, в силу их морально-психологических качеств и их готовности к смерти, была попросту нереализуемой в 1922 г.

В то же время отказ от участия в судебных слушаниях или обструкция были палкой о двух концах и для подсудимых эсеров, т. к. в случае их применения они могли быть обвинены властями в уклонении от суда трудящихся. Таким образом, и для власти и для подсудимых возникала своего рода основа для компромисса, ибо ни те ни другие не были заинтересованы в срыве процесса. (Хотя, чекисты, конечно, с нетерпением ждали его окончания, когда необходимость в компромиссе отпадет и церемониться с «обнаглевшими» будет не нужно. Ниже мы увидим, что тот режим «особой изоляции», который чекисты специально создали для подсудимых-эсеров, безусловно, нес весьма сильный отпечаток личной мести.)

Но все же столкновение между чекистами и подсудимыми было неизбежно. В ежедневных агентурных сводках, которые руководство ГПУ стало получать с 1 июля (подробнее о них см. выше) содержался и материал о попытках подсудимых, их товарищей на воле и родственников преодолеть тюремную изоляцию. Так, в сводке за 5 июля 1922 г. пом. начальника СО ГПУ Дерibas сообщил, «что в одной из камер арестованный делал какие-то знаки на пальцах, наверху в красном корпусе был какой-то стук, происхождение которого не установлено»²⁹. Подчеркивание было сделано синим карандашом Дзержинского, отправившего свой экземпляр с этой пометкой Самсонову. Самсонов дал весьма любопытную версию происхождения стука, которая снимала с чекистов и тюремщиков какую-либо ответственность: «Возможно, что этот стук производил сапожник»³⁰.

Но вряд ли эта версия могла успокоить Дзержинского, тем более что 6 июля 1922 г. у него появился повод всерьез обеспокоиться наличием у заключенных действующей связи с внешним миром. В сводке за 6 июля Дерibas докладывал, что Лихач осведомлялся у ответственного дежурного МГО при тюрьме, «получено ли распоряжение тов. Пятакова о том, чтобы ничего из передаваемого на свидании родственниками арестованным и обратно не отбиралось». Этот же дежурный обратил внимание на то, что «во время прогулки арестованные также делятся на группы: часть остается в камерах, часть гуляет. Очевидно стремятся помешать обыскам и осмотрам камер в их отсутствие». В этот же день «Защитница получила какую-то бумагу от подсудимых на имя какой-то Веры Николаевны за подписью всех подсудимых, а в перерыв получила и передала письмо на имя подсудимых от родственников озаглавленное „Дорогие товарищи“»³¹. Весьма примечательно, что ни секретный агент, видевший в зале суда это письмо к Вере Николаевне, ни пом. нач. СО ГПУ Дерibas не сообразили, что «какая-то Вера Николаевна» это ни кто иной, как В. Н. Фигнер, у которой именно в эти дни был юбилей. Но это знал Дзержинский.

Чекисты оказались в сложном положении. Подсудимые добились от Пятакова запрета отбирать что-либо во время свиданий с родственниками, явно шантажируя председателя суда ответными действиями и скандалом, в котором он был не заинтересован. Так же очевидно, что каналом передачи писем на волю и с воли была и защитница Орлова, применение к которой тех или иных санкций и действий после скандала сначала с иностранными защитниками, а затем и с русскими адвокатами 1-й группы было для властей нежелательным. Но и терпеть передачу на волю таких документов, как публичное письмо к Фигнер и писем от руководителей эсеровского подполья подсудимым членам ЦК ПСР, Дзержинский также не мог. Поэтому на сопроводительной записке к этой сводке он начертал следующую резолюцию: «Самсонову. Переговорите с Пятаковым на счет производства в тюрьме обыска»³².

Терпение чекистов истощилось и они начали наступление на обоих фронтах своего противостояния с подсудимыми эсерами — изменение условий проведения свиданий (проведение его через двойные решетки) и подготовка к тотальному обыску заключенных и их родственников. Обьски на квартирах родственников позволяли не только изъять письма от подсудимых и подготовленные для передачи им материалы, но и могли дать формальные основания для ареста родственников.

Конфликт вспыхнул 9 июля, когда заседаний не было и подсудимые оставались в тюрьме, готовясь к свиданиям. Но чекисты и тюремные власти захотели решить проблему несанкционированных передач писем тем,

что установили в помещении для свиданий двойные решетки (между которыми находились чекисты, что блокировало не только передачу чего бы то ни было, но и позволяло фиксировать все разговоры). О реакции подсудимых докладывал Дерibas: «Во время свиданий, [увидев] перед собой решетки — [подсудимые] отказались от свидания и с руганью по адресу ГПУ ушли в камеры. После совещания подали заявления об объявлении с 12 час. понедельника голодовки»³³. Чекисты в преддверии скандала, который неизбежно должен был последовать за голодовкой, решили, что терять им нечего и решили провести широкомасштабный и тотальный «шмон». 12 июля 1922 г. на заседании Комиссии по охране ЦК ПСР, слушался вопрос «Об обыске» и было решено: «Производить самый тщательный обыск как личный, так и помещений, а равно и у родственников таковых по домам, получив окончательную санкцию тов. Дзержинского»³⁴.

Почему, несмотря на опасность скандала, власти (не только чекисты, но и Крыленко и Пятаков) так стремились к личным обыскам подсудимых и родственников, обыскам их вещей и их жилья? Представляется, что все эти обыски и просмотр бумаг подсудимых и родственников имели тройную цель: помешать подготовке к выступлениям подсудимым, раздобыть интересную, с точки зрения чекистов, информацию, относящуюся к процессу, и наконец — обнаружить у заключенных предметы, с помощью которых они могли бы организовать побег. Как видно из переписки высокопоставленных чекистов, это решение отчасти было вызвано тем, что подсудимые к середине процесса нашли способ бороться с негласными обысками их камер и помещений в Доме Союзов, во время которых чекисты тщательно обследовали все их бумаги и нередко изымали необходимые для выступлений материалы. И хотя подсудимые неоднократно пытались жаловаться суду, что чекисты изымают все записи, относящиеся к процессу, и это мешает им полноценно участвовать в судебных прениях, Пятаков и Крыленко игнорировали эти жалобы.

Еще 5 июля 1922 г. пом. начальника СО ГПУ Дерibas подал рапорт Дзержинскому, в котором обрисовывал создавшуюся ситуацию, правда, акцентируя внимание на предотвращении возможности побега: «В последнее время подсудимые систематически ходатайствуют перед судом то об оставлении в тюрьме некоторой группы подсудимых, то об оставлении в комнате для арестованных во время заседания, то наоборот, во время перерыва просятся на трибуну группами по 10 человек для знакомства с материалом. Получается очень часто такое положение, что арестованные группами одновременно находятся: в тюрьме, в комнате наверху и на трибуне. Полагая, что такое поведение подсудимых умышленно направлено к распылению охраны и внимания, чтобы увеличить возможность побегов — прошу обратить внимание тов. Пятакова на это невыгодное обстоятельство»³⁵. На обороте рапорта Дерibas от руки изложил свои конкретные предложения: «1. Отменить вызов во время перерыва на трибуну групп арестованных. 2. Сократить и десистематизировать их дежурства в тюрьме, путем отказа время от времени в разрешении не присутствовать в суде. 3. Тоже в арестантской комнате наверху»³⁶.

Дзержинский велел через коменданта процесса Шиманкевича поставить об этом в известность Пятакова³⁷. Из черновика письма (за подписью зам. председателя ГПУ) к Пятакову видно, что решили просить значительно больше, чем этого хотел Дерibas: «ГПУ находит, что наличие подсудимых одновременно в трех местах вообще, и в частности, пребывание их на трибуне во время перерыва, вообще должно быть устранено, урегулировано и вопрос с передачами и пересмотрено запрещение

личных обысков»³⁸. Черновик был послан Самсонову и Дерибасу с резолюцией Г. Г. Ягоды: «Ваше заключение. Необходимо переговорить. Г. Я. 7/VI». Очевидно, после разговора с Ягодой Самсонов написал Дзержинскому рапорт: «В следующее воскресенье (16-го июня) считал бы нужным произвести самый тщательный обыск в Кисельной тюрьме вообще, у арестованных членов ЦК ПСР в особенности. Порядок операции полагал бы нужным принять следующий. 1) Обыск произвести в присутствии тов. Пятакова вслед за тем, как с.-р. пойдут со свидания в камеры, в каковые их не допустить, а по пути со свидания вводить в отдельные комнаты и здесь подвергнуть самому тщательному личному обыску. 2) Одновременно произвести обыск в камерах цекистов, а затем и по всей тюрьме. 3) Произвести у родственников обыск на дому вслед за тем, как со свидания они зайдут в свои квартиры, а у кого нужно, то и на улице. <...> 4) Произвести самый тщательный обыск по всей тюрьме не исключая и помещений охраны таковой. 5) Ввести за правило производство обысков у надзирателей и часовых, входящих и выходящих из тюрьмы и обратно. 6) Взять от арестованных всю их собственную мебель и др. вещи, которые им не полагаются в тюрьме и которые охотно могут быть заменены другими предметами и вещами (вероятно, опасались хитроумных тайников в мебели и вещах. — К. М.). 7) Признать необходимым производство обходов особых агентов частных помещений, прилегающих к Кисельной тюрьме. 8) Руководителям обыска одновременно произвести технический осмотр тюрьмы и дать свое заключение о недочетах тюрьмы в техническом отношении»³⁹. Дзержинский на рапорте Самсонова написал: «Согласен. Надо поговорить с т. Пятаковым»⁴⁰.

Тем временем разгорался скандал вокруг голодовки эсеров, продолжавших тем не менее участвовать в судебных прениях. 12 июля 1922 г. А. В. Луначарский послал письмо «В ЦК. РКП. Тройке по процессу С. Р. Для Троцкого, Каменева и Дзержинского», где достаточно резко и эмоционально высказался о происходящих событиях: «С. р. объявили голодовку по поводу каких-то недоразумений со свиданиями. Каковы же будут результаты этого? Во-первых, подсудимые — левая группа нервничают до чрезвычайности; во-вторых, их защитники, не исключая Шубина и Кона тоже нервничают. Шубин даже заявил, что показания подсудимого Федоровича были сбивчивыми, т. к. он был близок к обмороку. Все это, конечно, вздор и от отсутствия одного обеда никто в обморок не падает, но это свидетельствует, в каком настроении находятся участники процесса, а что Вы скажете о публике и что начнет голосить вся свора наших заграничных врагов. По-моему, допустить с.р. до голодовки, значит оказать им огромную услугу. Простите меня, но более предательского промаха нельзя было сделать. Я просто диву даюсь, как не только Уншлихт, но и Крыленко в каком-то странном озлоблении против подсудимых не понимают, что они бьют наш процесс наотмашь (выделено нами. — К. М.). Ведь даже там, где нет пятна, его стараются налгать Вандервельде и Вандервельдики. А тут великолепная почва: героическое голодание, обмороки, полная возможность уйти на этой почве с процесса, всяческая сентиментальная жалость по отношению к подсудимым и ненависть к угнетателям. К чему все это? Неужели так важно, что, как мне объясняли, жены с.р. сядут к ним на колени и могут передать им записки. Да черт с ними, пусть передают им, что угодно, это было бы в миллион раз менее вредно для нас, чем демонстрация голодания, за которую они горячо ухватились, понимая, какой это большой для них козырь. Я сообщил свою мысль Крыленко, который ответил полным непониманием, и Пятакову, отнесшему-

ся более внимательно (выделено нами. — К. М.). Я надеюсь, что тройка ЦК, если только это безобразное явление не пресечено уже сейчас, направит дело в надлежащее русло»⁴¹.

Луначарский не знал, что чекисты решили не останавливаться на достигнутом и как раз 12 июля тройкой по охране процесса было принято решение о массовом обыске подсудимых и их родственников, санкционированное Дзержинским, т. е. одним из тех, к кому он апеллировал.

16 июля (по случаю воскресенья судебных заседаний не было и подсудимые оставались в тюрьме) совместными усилиями Московского губернского отдела и центрального аппарата ГПУ был проведен тотальный обыск камер заключенных в тюрьме в Большом Кисельном переулке, а также у родственников подсудимых. Примечательно, что чекисты добились присутствия во время обыска в тюрьме Пятакова, дабы показать, что обыски делаются с согласия председателя трибунала. Но вот результаты столь грандиозного мероприятия оказались достаточно скромны (если не считать обнаружения пучка тонкой проволоки)⁴². В целом можно констатировать, что, стремясь предотвратить возможный побег и налаживание бесперебойной связи подсудимых с товарищами по партии, власти опасались и чрезмерного давления чекистов на подсудимых, чреватого скандальным срывом процесса, а потому члены «тройки Политбюро» были вынуждены всерьез прислушиваться и к совершенно справедливым опасениям Луначарского, который вряд ли был одинок в своих оценках ситуации. Похоже, что чекистов вынудили пойти на некоторые уступки со свиданиями и личными обысками подсудимых, которые вызывали эксцессы, ибо опасались дальнейшей эскалации конфликта. Вообще, голодовка, судя по всему, прошла незамеченной для сторонних наблюдателей, а сведения о ней нами обнаружены только в этом письме Луначарского.

На следующий день после обыска родственники подсудимых, собравшиеся в Доме Союзов, активно обсуждали его, причем, как явствует из Общей сводки начальника Активотделения за 17 июля, «жена подсудимого Лихача Соловьева Дора (Брюнетка), а также жена Альтовского Аверкиева Нина Александровна (Швейка) агитировали среди родственников, „что это возмутительно, невыносимо подвергаться постоянно таким издевательствам“». Отношение к суду среди родственников после обысков стало еще хуже, так как родственники видели как председатель суда тов. Пятаков лично приезжал в Кисельную тюрьму, они говорят, что трибунал, по-видимому, санкционировал эти обыски»⁴³.

На вечернем заседании 17 июля подсудимые 1-й группы устами Гендельмана заявили протест, вокруг которого сразу же вспыхнула полемика: «Гендельман: Теперь я должен сделать Трибуналу сообщение от всей нашей группы о тех обысках, которые имели место в таких пределах, которые превосходили рамки обычных тюремных обысков и с нашей точки зрения должны быть учтены, как некоторое новое судебное следствие процессуального характера (выделено нами — К. М.). Когда мы были вчера вызваны на свидание в тюрьме, то после того, как свидание с нашими родными было закончено, нас удалили в разные помещения, разделивши на две группы, в канцелярию тюрьмы и еще какое то, и подвергли очень тщательному и длительному обыску. В это время выяснилось, что в это время в нашей камере явились агенты ГПУ и приступили к обыску и просмотру наших бумаг в нашем отсутствии. После того, как наш личный обыск был окончен, нас не допустили вернуться обратно в камеры, а оставили на дворе, и по небольшим группам возвращали в камеры. В частности относительно себя могу доложить Трибуналу, что я был увиден

почти последним в камеру, когда большая часть товарищей были уже уведены. Вместе со мною явился в мою камеру агент ГПУ и приступил в моем присутствии к обыску моей камеры. Меня сразу поразил чрезвычайно поверхностный характер обыска. Он абсолютно ни одной вещи не рассмотрел и только подходил и тыкал пальцем то в одну вещь, то в другую, но мое недоразумение сразу рассеялось, когда он взял с окна документ, который мною был определенно оставлен в моем деле. Когда я увидел, что он находится в не надлежащем месте, я обратился к агенту с вопросом в упор — видимо вы обыск произвели до меня, ибо этот документ был в деле, а теперь валяется на окне. Так как вопрос был поставлен в упор, то ему ничего не оставалось делать, как признать этот факт. Затем был приглашен в мою камеру в виду моего соответственного заявления начальник Секретно-Оперативного Отдела ГПУ гражданин Самсонов, который это обстоятельство подтвердил, прибавивши, что обыски были начаты, но немедленно приостановлены. Гражданин председательствующий, гражданин Пятаков, который в то время явился в тюрьму и имел беседу с товарищем Гоцем, нашим представителем, разъяснил товарищу Гоцу, что документы будут просматриваться агентами ГПУ, что постольку, поскольку найдены будут следы подготовки взрыва тюрьмы, организация побега (так в тексте. — *К. М.*) и т. д. и т. д., но поскольку документы имеют значение только для постановки нашей защиты для подготовки следственного материала, выписки показаний, подготовки конспекта вопросов, которые мы задаем и т. д., словом все документы, которые имеют значение исключительно судебно-следственного материала по разъяснению гражданина Пятакова, находившегося в то время в тюрьме, осмотр этих документов не может и не должен иметь место. <...>

Заканчивая свое сообщение, я считаю должным указать буквально в двух словах следующее. У наших семей вчера были произведены обыски. Я говорю об обысках, которые были произведены вчера.

Председатель: Гр. Гендельман, что касается вас, это касается Трибунала, а о ваших семьях — это к Трибуналу не относится.

Гендельман: Я считаю нужным указать, что такие обыски и преследования наших семей не дают нам возможности спокойно отдаться делу нашей защиты, спокойно изучать материал и т. д. Я думаю, да и Трибунал это удостоверит, ибо здесь все люди прикосновенные к политической деятельности и революции, Трибунал удостоверит, что **за время царизма нельзя указать ни одного политического процесса, чтобы охранка или жандармерия так преследовали семьи обвиняемых по политическим процессам, так производили у них обыски, как были произведены у нас. Никогда это в истории революции не имело места и только наш процесс при Советской власти должен обогатить историю революции этим новым методом по отношению к подсудимым** (выделено нами. — *К. М.*)»⁴⁴.

Пятаков и Крыленко попытались обвинить подсудимых в искажении общей картины, целей и задач обысков, доказать закономерность проведения обысков, выведя за рамки разговора обыски квартир родственников подсудимых, и опровергая, что одной из целей этих обысков было знакомство с материалами подсудимых по организации своей защиты.

Пятаков подтверждал, что «специально в качестве Председателя Трибунала присутствовал в тюрьме в течение всех обысков», но заявлял, что «присутствовал для того, чтобы установить, будут ли какие-нибудь нарушения права обвиняемых. Ни одного заявления со стороны обвиняемых не последовало на счет каких бы то ни было нарушений, безобразий, неправильных действий со стороны производивших обыск. <...> Что каса-

ется документов, то я предупредил обвиняемого Гоца, что производящие обыск являются людьми не вполне осведомленными о том, какие документы могут брать и какие не могут, поэтому я присутствую здесь и относительно каждого неправильно изъятого документа заявите немедленную претензию и он будет вам возвращен. <...> Все документы были возвращены, за исключением трех, которые, как я уже сказал, с моей точки зрения не имеют никакого касательства к процессу <...>. Я заявляю еще раз совершенно открыто в присутствии всех сторон, что <...> поскольку мы имеем личные свидания, которые проходят бесконтрольно от администрации тюрьмы, постольку соответствующие последствия имеют место, поскольку существует определенный тюремный режим». На вопрос подсудимых об «поголовном обыске родных, бывших на свидании», Пятаков ответил: «Поголовный или не поголовный обыск, об этом мне ничего неизвестно, это Трибунала не касается. ГПУ обыскивает тех граждан, которых она находит необходимым обыскивать в связи с теми или другими обстоятельствами»⁴⁵.

Крыленко потребовал «исключения всего этого обстоятельства из стенограммы», т. к. «данное заявление абсолютно ни в какие рамки процесса не входит», ибо «жалобы на действия соответствующих органов должны вноситься в соответствующие органы. <...> Поскольку идет вопрос об ограничении прав процессуального характера, постольку здесь надлежит обращаться к Трибуналу, но не в порядке судебного заседания, а порядке соответствующего письменного заявления». Что касается просмотра чекистами документов подсудимых, он нашел, что «всякий должен согласиться, что когда то или другое полномочное лицо производит просмотр документов и материалов на предмет отыскания в них данных, в которых можно было бы подозревать и установить возможность побега и так далее, то для этого необходимо просмотреть начало и весь документ, ибо вперед знать, что в этом документе будет или не будет — нельзя». Изъятие же циркулярного письма ЦБ он счел и вовсе правомерным, т. к. «Центральное Бюро ЦК есть организация контрреволюционная, нелегальная, по отношению к которой ГПУ обязано принимать меры пресечения и действовать путем таких мер, которые закон позволяет. Отсюда вытекает, что если бы данное циркулярное письмо было обнаружено органами ГПУ на обыске где-нибудь в городе, то оно должно было бы быть изъято. Если оно обнаружено у обвиняемых, находящихся в заключении, оно тем более должно быть изъято, ибо оно доказывает прежде всего, что с контрреволюционной подпольной организацией, действующей на воле, имеют непосредственное сношение лица, находящиеся в тюрьме, и если этот документ не был бы изъят <...> я считал бы себя обязанным возбудить судебное преследование против ГПУ за бездействие власти».

В конце этой полемики председатель заявил, что «Верховный Трибунал считает инцидент исчерпанным»⁴⁶.

18 июля Дерибас констатировал, что возмущение обыском и присутствием на нем Пятакова у родственников не ослабело⁴⁷. Но по тактическим соображениям подсудимые эсеры предпочитали не идти на конфликт по этому поводу, как и по тому, что их подслушивают прямо на скамьях подсудимых передетые в красноармейцев охраны чекисты и сексоты из числа бывших товарищей.

С этого момента обыски вещей и бумаг подсудимых продолжались регулярно, так же, как и обыски родственников, что заставило последних привыкнуть к тому, что ГПУ их «громит» чуть ли не ежедневно⁴⁸.

Из дореволюционной практики «тюремной коммуникации» большевики прекрасно знали, какую роль в преодолении изоляции политзаключенных играют сопровождающие их на суд часовые, надзиратели и охрана тюрем. Поэтому вовсе не случайно чекистами был предпринят целый комплекс мер по предотвращению возможной «агитации» со стороны подсудимых в отношении надзирателей и часовых, обыскам их помещений, наблюдению специальной наружной агентурой за несением службы часовыми, контролирование надзирателей часовыми, дежурство в тюрьме сотрудников МГО и СО ГПУ, которые фактически контролировали работу не только часовых и надзирателей, но еще и друг друга, проверка личных дел и отсев надзирателей и часовых и т. п.

Для того, чтобы дать почувствовать полную ответственности, с 38 сотрудников тюремного отделения МГО, которые непосредственно общались с заключенными эсерами (дежурные комиссары и их помощники, старшие по корпусу, комиссары опер[отдела], привратники, надзиратели, наблюдатели за корпусами (в том числе и сидевшие на крышах)), была взята коллективная подписка: «Мы принимаем всю ответственность ЗА ВСЕХ ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫХ НА СЕБЯ, как против побега, так и против каких-либо сделок с политзаключенными, и несем за это всю ответственность, вытекающую из этой подписки» (каждая из трех смен дала подписку на отдельном листе)⁴⁹. Весьма суровую подписку дали и два комиссара «Актотделения Оперода ГПУ». В ней говорилось: «<...> за правильный подсчет подсудимых первой группы во время утреннего и вечернего общих выводов из арестантской комнаты на трибуну и обратно, а также во время привоза и отвоза в здание суда из тюрьмы и обратно, несем круговую ответственность, вплоть до высшей меры наказания»⁵⁰. Это значило, что комиссары были связаны круговой порукой, за ошибку одного из них расстреляны могли быть оба, что, естественно, заставляло их контролировать работу друг друга!

С другой стороны, только взятием подписок и наведением дисциплины руководство ГПУ не ограничилось, озаботившись и «чистотой» рядов тюремщиков и охраны и затребовав материал на каждого человека, причастного в той или иной мере к охране эсеров. Чекисты предпочли перестраховаться и проявлять бдительность при малейших «задоринках» в биографии проверяемых.

Решение о фильтрации личного состава внутренней и внешней охраны ГПУ и замене «в особенности, обслуживающих свидания и общающихся с родственниками» было принято на расширенном «Заседании по выработке мер охраны арестованных», где перед присутствовавшими Пятаковым, Ягодой, Дерибасом, Иконниковым, Медведем, Бельским, Шиманкевичем, Ивановым, Герсоном выступил сам Дзержинский⁵¹. Это решение было подтверждено и на самом первом заседании «Комиссии по охране ЦК правых с.-р.» 30 июня 1922 г. в составе Самсонова, Ягоды и Бельского. Кроме того, Агранову поручалось «перед разводом охраны на посты информировать часовых о значении процесса и отношения нашего к с.-р.», Бельскому — «поставить в Кисельной тюрьме специальных инспекторов по наблюдению за тем, как несет охрану тюремная охрана, о чем инспектора должны представить специальные ежедневные сводки», а Дерибасу — «немедленно пересмотреть состав охраны Кисельной тюрьмы и выбросить неблагонадежных и заменить новыми, о чем в 24 ч. доложить в тройку». Начальник Кисельной тюрьмы обязывался «представлять тов. Самсонову ежедневные сводки о состоянии охраны тюрьмы и о настроении арестованных»⁵².

Уже 1 июля Дерibas подал рапорт на имя нач. СО ГПУ Самсонова, в котором представил «свои соображения по пересмотру личного состава тюремной охраны на Кисельном»: «...Внутренняя охрана и служба (кроме военной) состоит из 113 человек. Из них 30 человек коммунистов и 83 беспартийных. По отзывам самого начальника тюрьмы, из 30 коммунистов только 4 человека исполняют свои обязанности хорошо, 21 человек — несут службу удовлетворительно и 5 человек неудовлетворительно, т. е. не удовлетворяют элементарным требованиям. Двое из них вследствие своей неразвитости. Из 83 беспартийных только 1 человек работает очень хорошо, 62 человека исполняют обязанности удовлетворительно и удовлетворительной надежности, а 22 человека не удовлетворяют элементарным требованиям, вследствие неразвитости и нерадивости, а 3 из них еще и больны.

Таким чисто механическим, правда, путем <...> уже устанавливается необходимость сменить 27 человек, и не временно, а совсем <...> Заменив удаленных нужно коммунистами. <...> **Тов. Дзержинский помимо даже предлагал просто сменить всех механически** (выделено нами. — *К. М.*)⁵³. (Предложение Дзержинского имело свой резон — подобной 100-процентной заменой можно было нарушить уже установленные связи со старыми надзирателями. Но оно не спасало от установления новых связей и отношений как самими заключенными, так и их товарищами на воле). К своему рапорту Дерibas приложил «Список сотрудников тюрьмы с неудовлетворительной репутацией» из 27 человек. Из них только двое были электромонтером и курьером, а остальные — надзирателями (пятеро коммунистов)⁵⁴.

Вскоре начальник Тюремного отдела МГПО Иванов представил Самсонову «Список сотрудников тюремного отделения МГПО на 1-е июля 1922 года», в котором кроме ФИО, сообщались должность, время начала работы, партийность, характеристика и в ряде случаев примечания⁵⁵. Все замены, кроме одного курьера, касались надзирателей.

Но чекистское начальство не устроило предложение Дерibasа ограничиться «механическим способом» проверки, при котором возможны «небольшие ошибки в ту или иную сторону», ибо они отдавали себе отчет, какие последствия может за собой повлечь использование хотя бы одного надзирателя в роли помощника при организации побега или даже просто в качестве «почтового голубя» (передающего огнестрельное и холодное оружие, пилки, веревки и т. п.). Не пошли чекисты и по пути, предложенному Дзержинским — огульной замены надзирателей. Было принято Соломоново решение: для начала (до начала массовой фильтрации надзирателей) приставить к надзирателям часовых⁵⁶. Совершенно очевидно, что эта мера была предпринята как для «обороны» от нападения, если бы оно исходило от заключенных, так, и, безусловно, для контроля за надзирателями.

18 июля 1922 г. конституировалась «Комиссия по проверке личного состава Внутренней и Внешней охраны ГПУ» под председательством Самсонова в составе нач. Внутренней тюрьмы ГПУ Дукиса и Вейса. Был определен порядок проверки и приказано Дукису к следующему заседанию «вызвать одну смену свободных от дежурств. Для проверки подобрать соответствующий материал»⁵⁷. Таким образом, начальник СО ГПУ Самсонов не пожалел своего времени для личного знакомства и опроса каждого из более чем сотни тюремных сотрудников (хотя ранее все это было возложено на Дерibasа). Заседания Комиссии проходили по вечерам в промежутке от 20.30 до 22.00 и состоялись 19, 20, 21, 24, 25 июля.

За один вечер успевали опросить и принять решение по 22—25 чел.⁵⁸. Проверке подверглись личный состав Внутренней тюрьмы ГПУ⁵⁹ и личный состав Комендатуры ГПУ⁶⁰. Кого-то утверждали сразу, кого-то оставляли с пометкой «заменить при подборе замены», кого-то заменяли, кого-то из надзирателей переводили «...на другую работу в ГПУ»⁶¹, кого-то утверждали с формулировкой «Утвердить, тов. Дукису иметь наблюдение»⁶², кого-то из вновь поступивших брали с формулировкой «зачислить с 2-х недельным испытанием»⁶³. Уже 20 июля Дукису было поручено «...о всех своих сотрудниках затребовать сведения из прежних мест службы за период с октябрьской революции».

Все эти меры, вероятно, дали свои результаты, но до идиллии было далеко, о чем свидетельствует уже упоминавшаяся агентурная сводка от 25 июля, в которой за подписью Дерibasа сообщалось: «Замечено лишь, что один из заключенных проходя из одной камеры в другую (после ужина), **завел разговор с дежурным надзирателем. Часовой надзиратель 3-го этажа также спустился и принял участие в беседе, прервавшейся приходом дежурного комиссара** (выделено нами. — К. М.)»⁶⁴.

Хотя меры, как писал Дерibas, и были приняты, властям не могла понравиться беседа заключенного эсера с двумя надзирателями, один из которых к ней присоединился по собственному желанию. Ведь это было не просто вопиющим и грубейшим нарушением инструкций, это было просто опасно для властей, т. к. именно таким образом заключенные агитировали (или подкупали) надзирателей в царских тюрьмах, и те становились их «почтовыми голубями» для связи с волей, а то и помощниками в организации побегов. Конечно же, надзирателей, поддержавших разговор с подсудимым, тут же наказали, но на этом не успокоились, о чем говорит та весьма экстраординарная и оригинальная мера, до которой додумались чекисты — с 6 августа 1922 г. надзирателям предписывалось переодеваться на службе в «специальную форму без карманов»!

12 июля 1922 г. на заседании Комиссии по охране ЦК ПСР слушался и вопрос «О проверке домов вокруг Кисельного» и было решено: «Поручить МГО произвести обследование в 2-х дневный срок и о результатах донести в тройку»⁶⁵. 19 июля 20 сотрудниками 3-го отделения секретной части МГПО под руководством нач. Секретной части МГПО Савватьева и начальника тюрьмы в Кисельном переулке Иванова в двух домах рядом с тюрьмой были проведены обыски в «целях обнаружения подкопов и подозрительных личностей». Впрочем, из рапорта чекиста, руководившего этим «обходом», становится ясным, что всерьез опасались и того, что из окон ряда квартир можно передавать и принимать информацию из тюремных камер заключенных эсеров. По окончании обхода квартир, обысков и арестов некоторых подозрительных личностей зам. уполномоченного 3-го отделения Юрьев обращался к Савватьеву: «Убедительно прошу принять самые срочные и решительные меры к выселению упомянутых жильцов, обязательно во время процесса, в особенности с 2 и 3 этажей дома № 7, и заменить жильцов этих квартир лицами, внушающим безусловное доверие к Советской власти, в противном случае, при таких условиях, в которых в настоящее время находится тюрьма, возможны всякие нежелательные экссы»⁶⁶. Савватьев, препровождая этот документ Самсонову, в своем рапорте поддержал выводы своего подчиненного⁶⁷.

А были ли в действительности попытки со стороны заключенных эсеров и их товарищей на воле сигнализировать друг другу? Судя по всему, да, ибо некоторые такие попытки был зафиксирован чекистами. За весь

июль и начало августа было несколько сообщений о попытке нарушить тюремную изоляцию подсудимых. Так, в сводке за 9 и 10 июля Дерibas докладывал, что: «В 22 ½ часа была заметна из одной камеры сигнализация руками на волю. В это же время в одном из домов замечен тип с биноклем, направленным в середину тюрьмы. Установить личность не удалось, квартиру тоже. (подчеркнуто Ф. Э. Дзержинским. — К. М.)»⁶⁸.

Последнее настолько не понравилось чекистскому руководству, что в спешном порядке было поручено трем агентам наружного наблюдения следить за окнами тюрьмы, а также за окнами прилегающих домов, как по Б. Кисельному, так и по Варсонофьевскому переулку. Кроме того, перед ними была поставлена задача отслеживать всех подозрительных возле тюрьмы, а заодно следить и за тем, насколько бдительно несет свою службу караул. Первые доклады «разведчиков» наружного наблюдения появились 12 июля и дотошно фиксировали все подозрительное вокруг тюрьмы.

12 июля «Р № 84» докладывал, что утром во время отвоза заключенных из дома № 6 «все время смотрел мужчина лет 25 со второго этажа и с третьего этажа женщина пока не увезли», а во время привозов заключенных из суда «ничего подозрительного замечено не было»⁶⁹. «Р № 99» доносил, что, выполняя поручение «наблюдать за окнами политических арестованных, не появились ли каких-либо зашифрованных знаков или сигналов», ничего не заметил⁷⁰. Но уже 13 июля их вечернее дежурство было более богато событиями. «Р № 99» докладывал: «В 10 ч. вечера во втором окне камеры Гоца появился один из арестованных, который стоял у окна, о чем-то оживленно беседуя, повернув голову от окна в камеру, потом, смотря в окно, он жестикулировал одной рукой, показывая в виде условных знаков, и проделывал [это] мин. 20, потом к нему подошел другой, и они начали о чем-то разговаривать. Не прошло мин. 5, в д. 6 по Кисельному пер. в кв. 9 в первом окне от парадного был зажжен свет, не прошло полминуты, опять был погашен, и так проделывалось три раза, после чего арестованные пошли от окна». Спустя некоторое время этот наблюдатель заметил запущенные кем-то три ракеты: «первая ракета красного цвета, потом синяя и третья разорвалась наверху на три разных цвета»⁷¹. Ракеты были замечены всеми наблюдателями, более того, исполномоченный Общей агентурой МГПО, как раз обходивший в это время посты, обнаружил, что ракеты пускали во дворе церкви двое взрослых, которых окружал десяток детей. Чекист предложил взрослым следовать за собой. «Один из них категорически отказался, назвав себя, что он из батальона ГПУ», а второй при проверке документов оказался сотрудником ГПУ Николаевым Николаем Сергеевичем, членом РКП, получившим командировочное удостоверение от ГПУ с семьей от 1 июля 1922 г. от Петроградского ПП ГПУ⁷².

14 июля наблюдение за окнами тюрьмы ничего не дало⁷³. А вот по словам «Р № 84», «когда привезли арестованных, то с № 7 в окошко высматривал мужчина лет 35 с 3 этажа из той же камеры дома (так в тексте. — К. М.), но с другого окошка высматривала женщина лет 46, с 4-го этажа»⁷⁴. Отсутствие каких-либо сигналов как из тюрьмы, так и со стороны города «Р № 9» и «Р № 99» фиксировали 15-го, 16-го, 17-го, 18-го, 19-го, 20-го, 21-го, 22-го, 23-го, 24-го, 26-го июля⁷⁵. 27-го июля к их докладам прибавился еще доклад «Р № 98»⁷⁶. Рапортов агентуры за другие дни в томе не имеется. Их доклады были обобщены в сводке, которую с 28 июля 1922 г. ежедневно начал подавать Врид нач. общей агентуры МГПО Фокин⁷⁷.

Никаких проблем у чекистов не возникало только с изоляцией и охраной тех нескольких подсудимых из 2-й группы, которых содержали во Внутренней тюрьме ГПУ отдельно от 22-х подсудимых эсеров. Вопреки широко распространенному мнению, что все подсудимые 2-й группы во время процесса находились на свободе, Ф. Ф. Федорова-Козлова, Ф. Т. Ефимова, Ф. В. Зубкова, П. Н. Пелевина ежедневно привозили в Дом Союзов из Внутренней тюрьмы ГПУ⁷⁸. Подобное «привилегированное» положение среди остальных подсудимых 2-й группы наводит на размышления двойного рода. С одной стороны, власти явно не доверяли этим эсерам-боевикам. С другой стороны, содержание их в другой тюрьме показывает, что власти опасались и влияния на них подсудимых 1-й группы, которые в пределах одной тюрьмы с помощью тюремной коммуникации все равно нашли бы тот или иной способ связаться с ними. В этом факте видится молчаливое признание могущества «тюремной коммуникации» и собственного бессилия.

1.2. Мошенничество ГПУ: подмена «строгой изоляции» «особой изоляцией» для 22-х осужденных по процессу с.-р. Разработка СО ГПУ «Инструкции по содержанию в местах заключения членов антисоветских партий „при особой изоляции“» и ее «изоляционные» меры

По приговору Верхтриба ВЦИК 7 августа 1922 г. к высшей мере наказания были приговорены 12 подсудимых 1-й группы: В. В. Агапов, А. И. Альтовский, М. Я. Гендельман, Л. Я. Герштейн, А. Р. Гоц, Д. Д. Донской, Н. Н. Иванов, Е. А. Иванова-Иранова, М. А. Лихач, С. В. Морозов, Е. М. Ратнер, Е. М. Тимофеев (исполнение приговора было отложено Президиумом ВЦИК и превратило «смертников» в заложников на случай активной, прежде всего террористической, деятельности эсеров). Остальные обвиняемые из этой группы получили различные сроки заключения: Н. И. Артемьев, М. А. Веденяпин, А. В. Либеров, Д. Ф. Раков, Ф. Ф. Федорович — по 10 лет строгой изоляции, Е. С. Берг, М. И. Львов, В. Л. Утгоф — по 5 лет строгой изоляции, Г. Л. Горьков — 3 года строгой изоляции, П. В. Злобин — 2 года строгой изоляции. Подсудимые 2-й группы: Ю. В. Морачевский и Г. М. Ратнер были оправданы, Г. И. Семенов, В. И. Игнатьев и Л. В. Коноплева были приговорены к высшей мере наказания, а остальные — к различным срокам наказания (И. С. Дашевский — 3 года, П. Т. Ефимов — 10 лет, Ф. В. Зубков, К. А. Усов, Ф. Ф. Федоров-Козлов — 5 лет, П. Н. Пелевин — 3 года, Ф. Е. Ставская — 2 года). Впрочем, по ходатайству Верхтриба все они были помилованы Президиумом ВЦИК и освобождены от наказания.

Особо подчеркнем это обстоятельство (ведь Семенов собственноручно отравлял пули, которыми был ранен В. И. Ленин, а поехал после процесса вместе с Коноплевой в санаторий), потому что у каждого из 22 осужденных 1-й группы была возможность сплести себе свободу ценой предательства не только на предварительном следствии, но и после процесса. Причем, в отличие от «прошенистов» и «подаванцев» (так в начале XX в. революционеры называли ренегатов, подававших прошение о помиловании), любой из них мог рассчитывать не только на относительные поблажки, но и на полную свободу. Более чем вероятно, что если бы уставшие от заключения С. В. Морозов и Е. А. Иванова вместо того, чтобы резать себе вены, обратились с покаянными письмами в ЦК РКП(б) или ВЦИК, они были бы освобождены, ибо слишком высо-

ки были ставки в этой игре. А в готовности части большевистского руководства забыть о правовых нормах и приличиях и руководствоваться в своих действиях лишь «политической целесообразностью» сомневаться не приходится.

В этом контексте символична и показательна ситуация вокруг Г. Л. Горькова, которая является, пожалуй, самым ярким символом не только этого процесса, но и в целом всего противостояния власти и социалистов, оставшихся верными своим идеалам. Г. Л. Горьков (под фамилией Добролюбов он был арестован и она «прилепилась» к нему) был приговорен к трем годам заключения, но 18 сентября 1922 г. подал в Верховный трибунал и председателю ГПУ Дзержинскому заявление, в котором протестовал против того, что в приговоре говорилось о его «якобы принципиально отрицательном отношении к вооруженной борьбе». Дважды потребовав, но так и не получив стенограммы и протоколы всех своих показаний на следствии и на суде, Горьков писал, что «считает своим революционным долгом заявить Верховному трибуналу» о том, что в ходе процесса «ни разу и ни слова не говорил о своем принципиально-отрицательном отношении к вооруженной борьбе», что «в вопросе о вооруженной борьбе, как и в других вопросах», у него с ЦК ПСР и с товарищами по процессу «никогда никаких расхождений не было, нет и теперь и во всем была полная солидарность». Это заявление он просил присоединить к его личному делу, имеющемуся в Верховном трибунале⁷⁹.

Реакция Ф. Э. Дзержинского была молниеносной и весьма показательной. Уже 23 сентября 1922 г. он переправил заявление Г. Л. Горькова-Добролюбова «помощнику прокурора РСФСР Н. В. Крыленко» с коротким сопроводительным письмом, в котором отмечал, что «считал бы полезным вопрос о мере наказания по отношению к нему повысить до 10 лет, созвав для этого новое заседание Верхтриба»⁸⁰. С одной стороны, предельный цинизм и незаконность подобных действий в очередной раз указывают на приоритетность политических целей и самого процесса, и наказаний, с другой — они позволяют нам по-новому взглянуть на «рыцаря без страха и упрека» с «горячим сердцем, холодной головой и чистыми руками» и на его весьма упрощенное представление о морали, праве и о принципах судопроизводства. Впрочем, следует отметить, что Крыленко на подобный скандальный шаг не пошел, не желая еще раз себя высечь на глазах у европейских социалистических и демократических кругов (а пожелание председателя ГПУ в отличие от решения Политбюро можно было и проигнорировать).

Приговор подсудимым обеих групп составил 27 с половиной машинописных страниц⁸¹ и для его прочтения потребовалась половина дня 7 августа 1922 г. Любопытный штрих к тому, что власть не пыталась соблюдать хотя бы видимость объективности даже там, где это по логике вещей требовалось: в приговоре о родных брате и сестре Григории и Евгении Ратнер, разошедшихся по разные стороны баррикад и сидевших на разных скамьях подсудимых, но естественно, имевших одинаковое социальное происхождение, было сказано, что Григорий — «сын врача», а Евгения — «имеющая высшее образование б. потомственная почетная гражданка»⁸². И хотя формально обе эти записи соответствовали истине, но игра с ними позволяла власти формировать положительное, нейтральное или отрицательное отношение к носителю этого «социального происхождения». Ведь — «сын врача» и «имеющая высшее образование б. потомственная почетная гр.» вызывали разные ассоциации и образы

у миллионов неграмотных и уставших от разорения и крови людей. Но больше всего отыгрались на В. Л. Утгофе, о котором было сказано — «сын жандармского офицера быв. гардемарин»⁸³.

Приговор был прочитан каждому только в той его части, в которой он его касался (об этом можно судить по приписке, сделанной на расписке А. Альтовским — «прочтена часть приговора в отношении меня — Пост. ЦИК»⁸⁴). Об индивидуальном ознакомлении с приговором свидетельствует и рапорт коменданта Верхтриба ВЦИК Туманова «Председателю Трибунала по делу ПСР», в котором сообщалось, что постановление ВЦИК «обвиняемым объявлено в отдельности под расписку, т. е. приговоренным к высшей мере наказания, за исключением гр. Иванова, который от выслушивания такового отказался»⁸⁵.

Каждого подсудимого заставили подписать расписку о том, что он ознакомлен с приговором, причем сделано это было значительно позже той даты, которая была напечатана на документе — 8 августа. Все расписки с подписями подсудимых 1-й группы хранятся в деле «Протесты против суда над ПСР и переписка по выдаче стенограммы обвинит[ельного] заключения и приговора»⁸⁶. Любопытно, что хотя в приговоре все были указаны по алфавиту, расписки подшили к делу по степени партийной значимости подсудимых (так, как ее власти себе представляли): А. Р. Гоц, Е. М. Тимофеев, М. Я. Гендельман, Д. Д. Донской, М. А. Лихач, Е. М. Ратнер, С. В. Морозов, Л. Я. Герштейн, А. И. Альтовский, В. В. Агапов, Е. А. Иванова-Иранова. И хотя в деле отложилась сопроводительная записка ст. делопроизводителя Внутренней тюрьмы ГПУ Засядова о посылке в СО ГПУ Андреевой «22-х расписок о чтении Постановления»⁸⁷, но в данное дело легли только расписки приговоренных к расстрелу.

Верхтриб ВЦИК тянул с извещением (под расписку) о Постановлении Президиума ВЦИК от 8 августа о приостановлении исполнения смертного приговора. В середине августа уже сами чекисты обращались к «коллегам» с просьбой ускорить извещение заключенных об этом⁸⁸. Нельзя не обратить внимания, с каким удовольствием чекисты бросили очередной, но в данном случае вполне «законный» камень в огород Верхтриба. Нетерпимость ситуации только усиливается, если вспомнить, что подсудимые ожидали смертной казни. Нетрудно понять, какое нервное напряжение царило среди осужденных эсеров, которые спустя 10 дней не знали о том, что Президиум ВЦИК остановил исполнением 12 смертных приговоров. Это вряд ли устраивало чекистов, желавших отныне властвовать над ними безраздельно, т. к. в случае возможных эксцессов (голодовок, обструкций и т. п.) «расхлебывать» последствия за медлительность верхтрибовцев пришлось бы уже чекистам.

Почему же Верхтриб не спешил извести приговоренных к смерти о том, что расстреливать их в ближайшее время не будут? Возможна, конечно, и обычная российская бюрократическая волокита и неторопливость. Но не исключено, что волокита вовсе не была случайной — ведь возглавлял Верхтриб Н. В. Крыленко, о котором даже А. В. Луначарский говорил, что он (вкупе с Уншлихтом) испытывает озлобление к подсудимым. Фактически эсерам была устроена настоящая моральная пытка — сначала они в течение полумесяца не знали, кому из них вынесен смертный приговор, а затем «смертники» ожидали приведения его в исполнение вплоть до 15 сентября, когда им, полностью изолированным от внешнего мира и лишенным свиданий с кем бы то ни было, объявили о Постановлении Президиума ВЦИК от 8 августа 1922 г. о приостановлении исполнения смертной казни. А до этого у тюремных надзирателей

(как видно из одной из жалоб родственников) в ходу была следующая формула обращения к заключенным (наверняка известно, что так обращались к Л. Я. Герштейну), сопровождающая то или иное приказание — «приговоренный к смертной казни».

В архивном деле имеется экземпляр постановления Президиума ВЦИК от 8 августа, заверенный подписью секретаря и печатью Верхтриба, на последней странице которого рядом с печатью рукой Д. Ракова написано: «Читали» и стоят автографы Ракова и Берга (они сидели в одной камере)⁸⁹. Всех остальных почему-то заставили вновь дать расписки, которые на этот раз фамилий не содержали, и потому заключенные были вынуждены сами их вписывать. Дата, вписанная заключенными, была одной — 15 сентября⁹⁰. Их известили о столь важном для них постановлении ВЦИК спустя месяц и неделю после окончания процесса! На этот раз иерархии расписок никто не выстраивал — в деле они начинаются распиской Ф. Ф. Федоровича и заканчиваются распиской А. В. Либерова. Любопытно, что на этот раз Н. Н. Иванов подписал расписку. Никто никаких приписок не сделал.

О том, где и каким образом содержать осужденных подсудимых 1-й группы, чекисты стали думать еще задолго до окончания процесса. Так, на первом заседании «Комиссии по охране ЦК правых с.-р.» 30 июня 1922 г. в составе Самсонова, Ягоды и Беленького в числе прочих были приняты такие решения: «Поручить тов. Дерibasу и Дукису подготовку внутренней тюрьмы, так, чтобы там можно было разместить Цекистов ПСР, и написать инструкцию о порядке содержания арестованных, каковую представить в тройку в 48 часов, **положив в основу рассадки в разные концы тюрьмы и этажи** (выделено нами. — К. М.). Тов. Каценельсону и Попову немедленно выехать в Архангельск и Ярославль на предмет обследования тюрем в целях подготовки и водворения в них Цекистов с.-р. Тройке Самсонова пересмотреть существующие инструкции об арестованных политиках и представить таковые на утверждение Президиума ГПУ»⁹¹.

19 июля 1922 г. Самсонов подал докладную записку зам. пред. ГПУ Уншлихту под названием: «О мерах, принятых СО ГПУ для определения членов ЦК ПСР после вынесения приговора Трибунала», из которой видно, что содержание 22-х эсеров во Внутренней тюрьме ГПУ носило сугубо временный характер (хотя специально для этого она была переоборудована и отремонтирована) — до тех пор, пока им не подберут что-то подальше от Москвы и понадежней. Чекистами были проведены обследования двух тюрем на Урале на предмет размещения там подсудимых эсеров, о чем Самсонов и докладывал Уншлихту⁹². Но, похоже, «быв. Николаевские роты в Пермской губернии и Челябинскую губернскую тюрьму» постигла та же участь, что и Архангельскую и Ярославскую тюрьмы (до революции Ярославский каторжный централ) — очевидно, их посчитали не обеспечивающими достаточную изоляцию и безопасность для новых особо опасных преступников.

Пока же на совещании чекистов 1 августа, где присутствовал и Держинский, были приняты решения, относящиеся к подготовке содержания подсудимых во Внутренней тюрьме с целью ее полной изоляции⁹³. Обращает на себя внимание, насколько чекистское руководство старалось подстраховаться — думали не только о подборе надзирателей (которых собирались «поставить на привилегированное положение»), не только о подготовке тюремной инструкции по «особой изоляции», обследованию тюрьмы «в целях прекращения перестукивания по трубам», не только об устройстве еще одной уборной на коридор (чтобы предотвратить возможность

переписки заключенных между собой), но и об установке дежурства в тюрьме не просто чекистов, а членов Коллегии ГПУ, а также о фильтрации специальной комиссией уже не только надзирателей и персонала тюрьмы, но, похоже, и чекистов (с проверкой аттестационной комиссией их родственных связей). Вполне логично не был обойден заботой и Красный Крест и даже женщины-чекистки (было решено выяснить их процент в ГПУ), что вообще в данном контексте звучит несколько непонятно и загадочно. (С равной долей вероятности это могло быть сделано как из опасения, что женщины будут более уступчивы в установлении связей с эсерами-злоумышленниками, так и, напротив, из убежденности в том, что женщины более дисциплинированы, исполнительны и менее склонны к вопиющему разгильдяйству, чем мужчины).

Кому же поручили быть авторами новой тюремной инструкции? Ответ содержится в резолюции заседания «Комиссии по охране ЦК ПСР», состоявшемся 12 июля, — «Самсонову, Андреевой и Фельдману»⁹⁴. Обо всех перипетиях выработки инструкции по «особой изоляции», как и вообще о первых периодах тюремного противоборства заключенных эсеров и власти позволяют узнать документы тома 58 фонда Н-1789 — «Материалы по охране и содержанию осужденных за 1922—23 гг. и материалы о самоубийстве чл. ЦК ПСР Морозова». Сразу же из зала суда 7 августа 1922 г. 22 осужденных эсера были привезены во Внутреннюю тюрьму ГПУ (вместо тюрьмы Московского губотдела ГПУ в Большом Кисележном переулке, в которой они сидели с конца мая), где они были посажены в следующем порядке. В I коридоре в одиночных камерах № 6, 12, 13 сидели Н. Н. Иванов, Л. Я. Герштейн, А. Р. Гоц, а в общих камерах Ia и 18a находились М. А. Веденяпин с В. Л. Утгофом и Е. С. Берг с Д. Ф. Раковым. Во II коридоре в одиночных камерах № 25, 30, 36 и 39a сидели Д. Д. Донской, М. Я. Гендельман, Е. М. Тимофеев, С. В. Морозов, а в общей камере № 23 — А. И. Альтовский с В. В. Агаповым. В III коридоре в одиночных камерах № 42, 49, 55 содержались Е. А. Иванова, Е. М. Ратнер, М. А. Лихач, а в общих № 59, 56, 53 находились Н. И. Артемьев с П. В. Злобиным, А. В. Либеров с Ф. Ф. Федоровичем и М. И. Львов с Горьковым-Добролюбовым⁹⁵.

Какова была логика размещения этих лиц в одиночное и групповое заключение, неизвестно. В одиночные камеры были помещены 10 из 12 эсеров, приговоренных к высшей мере (кроме В. В. Агапова и А. И. Альтовского). Очевидно, в одиночные камеры были посажены самые опасные и нуждающиеся в полной изоляции (с точки зрения чекистов) эсеры.

Казалось бы, после окончания процесса руководители ГПУ должны были с радостью снять с себя заботы по тюремному содержанию осужденных. Но, они, напротив, поставили перед Политбюро вопрос «о передаче тюремного ведения НКЮСТА в ведение НКВДела», а затем полтора месяца добивались от Президиума ВЦИК разрешения содержать осужденных по специально для них созданному режиму во Внутренней тюрьме ГПУ. 9 августа 1922 г. зам. председателя ГПУ Уншлихт и начальник СО ГПУ Самсонов извещали Президиум ВЦИК о необходимости дачи «официальных распоряжений» о содержании осужденных по процессу ЦК ПСР органами ГПУ, предлагая собственный проект инструкции о содержании «осужденных по делу ЦК ПСР под стражей». При этом чекисты требовали «соответствующего официального уведомления в ГПУ о том, что никакие послабления тюремного режима для осужденных по ходатайствам от кого бы то ни было <...> проводиться не будут»⁹⁶. Президиум ВЦИК через своего секретаря Енукидзе два дня спустя ответил,

что осужденных по процессу ЦК ПСР следует впредь до специального распоряжения Президиума ВЦИК содержать под стражей в ГПУ на прежних основаниях⁹⁷. Примечательно, что на практике к заключенным уже с августа применялась новая инструкция, разработанная чекистами, но не утвержденная Президиумом ВЦИК. Запущена она была явочным порядком — распоряжением Самсонова начальнику Внутренней тюрьмы ГПУ с очень хитрой оговоркой: «Означенная инструкция служит руководством только для Вас и ни в коем случае не может быть объявлена и выдана на руки заключенным»⁹⁸. Только 25 сентября 1922 г. Президиум ВЦИК наконец-то санкционировал практику содержания цекистов «на основании особой инструкции, утвержденной Наркомвнудел»⁹⁹.

Лицо нечистоплотный и мошеннический прием ГПУ: осужденные приговорены к содержанию в «строгой изоляции», а чекисты «реализуют» свою инструкцию с только что придуманной «особой изоляцией». Эта инструкция была написана, судя по всему, еще до 9 августа 1922 г. 11 августа 1922 г. Самсонов отправил Андреевой записку, где сообщал, что инструкция «соответствующим учреждением утверждена» и просил дать ее ему для последнего просмотра, после чего ее можно будет объявить арестованным¹⁰⁰. 15 августа Самсонов послал две копии инструкции Уншлихту и Ягоде для внесения правок и подписи (в окончательном виде она была подписана ими обоими)¹⁰¹. Интересно, что Уншлихт отнесся к инструкции намного более внимательно, чем Ягода и Самсонов, которые, скажем, совсем забыли включить в нее правила пользования библиотекой (что для политзаключенных было крайне важно). Надо отметить, что правки Ягоды и особенно Уншлихта (на их экземплярах и на окончательном варианте проекта инструкции) свидетельствуют о противоречивости их позиций: с одной стороны, им очень хочется сразу «закрутить гайки потуже», но с другой — они слишком хорошо знают, что это приведет к неизбежным конфликтам с осужденными эсерами, которые немедленно начнут борьбу за свои права.

Так как, с одной стороны, многие положения инструкции стали в скором времени полем схватки осужденных эсеров и их тюремщиков, а с другой — это была первая советская инструкция для особо опасных политических преступников, приведем обширную цитату из окончательного текста этого документа. Полное его название звучало так: «Инструкция по содержанию в местах заключения членов антисоветских партий „при особой изоляции“» и был он подписан 16 августа 1922 г. Уншлихтом и Ягодой:

«1. Особоизолированные заключенные размещаются в специально отведенном помещении М[ест] З[аключения], абсолютно отделенном от других категорий заключенных.

2. Особоизолированные размещаются по одиночкам (по 1 человеку в одиночку) при полной невозможности сношения друг с другом. Камеры день и ночь запираются на замок. Позднее заключенные этой категории содержатся по несколько человек в одной камере по указанию из ГПУ.

3. Особоизолированные выпускаются в уборную три раза (вычеркнуто „один, два или три...“). — *К. М.*) в день; если в камере уборная, а не „параша“, вообще не выпускают.

Одежда

1. Одеждой особоизолированные могут пользоваться своей, имея в камерах только по одному комплекту таковой.

Переписка

5. Права переписки, как общее правило, особоизолированные лишены.

6. Письменные принадлежности для занятий состоят из тетради, пронумерованной и прошнурованной, чернил, пера или карандаша, выдаваемых нач[альником]. М. 3.

7. В случае желания заключенного подать в письменной форме заявления или жалобу, последнему предоставляется бумага. Заявление пишется в присутствии надзирателя, после чего само заявление отбирается надзирателем.

Передачи

8. Права получения передач, как общее правило, особоизолированные лишены.

Примечание: Особоизолированным разрешается передача денег, которые принимаются нач[альником] М. 3. и хранятся в конторе М. 3., кои тратятся раз в две недели.

Свидания

9. Особоизолированные осужденные свидания имеют в первые два месяца — 1 раз. Затем каждый месяц — 1 свидание.

10. Особоизолированные имеют прогулку $\frac{1}{2}$ часа в день, гуляя в одиночку при точном соблюдении полной невозможности встречи с заключенными, как одной с ним категории, так и с заключенными других категорий.

Охрана заключенных „особоизолированных“.

11. Коменданту МЗ, при полной его ответственности вменяется в обязанность разъяснить всем несущим охрану заключенных „Особоизолированных“, что данная категория заключенных есть особо важные преступники. Никаких отступлений от данной инструкции не допускается.

12. Несущие охрану заключенных этой категории, как лица из администр[ации] МЗ, так и охраны обязаны: а) Ни в какие сношения и разговоры с заключенными, кроме коротких деловых вопросов и ответов (согл[асно] инструкции об обязанностях) не входить. б) Никаких личных услуг не оказывать. в) Пресекать в начале всякую попытку снести с соседними камерами стуком или громким разговором. г) При попытке сопротивления законным требованиям администрации демонстративными протестами, битьем окон и дверей камер — заключенных немедленно помещать в карцер, или одевать на них смирительную рубашку. д) при попытке к побегу или нападению на часового или надзирателя применять оружие.

Пользование библиотекой

13. Заключенные имеют право получить из библиотеки в неделю не более двух книг и одного журнала (исправлено Уншлихтом, вместо предлаженного „...не более одной книги“. — К. М.).

14. Книжки выдаются: беллетристика, научные по разным вопросам и журналы не свежее чем за полгода до дня выдачи их на руки арестованным.

15. Газеты выдаче заключенным не подлежат.

16. Виновыне в порче книг подвергаются наказанию (последние два слова вписаны Уншлихтом взамен зачеркнутого „...наказываются карцерным и др. положением по усмотрению Начтюремы“. — К. М.).

17. Наблюдение за выдачей книг имеет СО ГПУ.

18. Передача книг со свободы, как правило, безусловно воспрещается. Разрешаться же в исключительных случаях может только с разрешения ЗампредГПУ или НачСОперупр ГПУ»¹⁰².

Примечательно также, что чекисты не отдали охрану «особоизолированных» эсеров-цекистов на откуп администрации и без того ведомствен-

ной тюрьмы ГПУ, а назначили еще несколько специальных дежурных Секретного отдела ГПУ, которым вменили в обязанность «проверку охраны чекистов ПСР». Так, например, помощник начальника СО ГПУ А. А. Андреева (она была своеобразным куратором заключенных эсеров) 3 раза в месяц дежурила во Внутренней тюрьме ГПУ, где заходила в камеры 22-х осужденных по процессу, обследовала постановку внутренней и наружной охраны, а также собирала заявления заключенных. Заявления она доводила до сведения Уншлихта, а обо всем остальном докладывала Дерibasу¹⁰³.

Излишне говорить, какое значение руководство СО ГПУ придавало охране эсеров-«чекистов», если пошло на установление круглосуточного дежурства из собственных сотрудников. Фактически заключенные попали под двойной контроль — как со стороны надзирателей, так и со стороны дежурных СО ГПУ. Памятью о том, что в России строгость законов смягчается небрежным их исполнением, чекистское руководство установило постоянный круглосуточный контроль и над внешней охраной, и за надзирателями, да и в целом за администрацией тюрьмы. Для дежурных была выработана специальная инструкция под названием «Инструкция для дежурных СО ГПУ по проверке охраны чекистов ПСР». Подписана она была пом. начальника СО ГПУ Дерibasом 2 сентября 1922 г. и гласила:

«На обязанности дежурного лежит:

1. Проверить исправность постов как наружных из красноармейцев, так и внутренних из надзирателей. Всякие дефекты в состоянии (спят, собираются группами, ведут разговоры и проч. нарушения устава гарнизонной службы) заносятся в суточный рапорт дежурного.

2. Во время прогулки того или другого арестованного произвести обыск в его камере, соблюдая известную последовательность.

3. Проверить решетки, стены, полы, потолки, двери — нет ли каких повреждений.

4. Проверка точного исполнения арестованными инструкции о их содержании в тюрьме и на прогулках.

ПРИМЕЧАНИЕ 1-е: Ни в какие сношения дежурные, за исключением Андреевой и Дерibas с арестованными не вступают, никаких разговоров с ними не ведут, никаких заявлений ни устных, ни письменных не принимают.

ПРИМЕЧАНИЕ 2-е: Никаких распоряжений и замечаний по охране дежурные не делают, а о дефектах немедленно сообщают нач. тюрьмы Дукису, а затем помещают в суточный рапорт.

ПРИМЕЧАНИЕ 3-е: Проверка постов производится не меньше одного раза днем (до 12 час. ночи) и не менее одного раза ночью (после 12-ти час. ночи).

ПРИМЕЧАНИЕ 4-е: Дежурство устанавливается с 10-ти час. утра до 10 часов другого дня»¹⁰⁴.

Под бдительным приглядом чекистов из СО ГПУ не отставало в служебном рвении и тюремное начальство. Так, из доклада начальника тюремного отдела ГПУ Дукиса от 3 ноября 1922 г. видно, что в этот день посты внутренней и внешней охраны лично Дукисом проверялись 5 раз, его помощником — 13 раз, дежурным помощником — 3 раза. Кроме того, были проверены решетки, окна, двери, стены, пол и потолок каждой камеры, а сами «камеры проверялись через каждые 5 минут»¹⁰⁵. Что подразумевалось Дукисом под проверкой камер через каждые 5 минут, не совсем понятно, но надо полагать, что имелось в виду заглядывание в глазок или форточку. Если прибавить, что проверки устраивались еще и по ночам, когда поднимали заключенных (очевидно, для того, чтобы

удостовериться, что под одеялом не вещи, а заключенный), то можно констатировать, что такой перестраховки практика царских тюрем, пожалуй, и не знала.

Примечательно, что, заботясь о полной изоляции членов ЦК ПСР от внешнего мира, чекисты в августе 1922 г. помимо прочих мер категорически запретили им пользоваться книгами из общественных библиотек, которые туда же и возвращались бы. Чекисты небезосновательно полагают, что таким образом можно было бы передавать информацию и с воли, и на волю (помечая нужные буквы либо карандашом, либо иголкой, либо продавливая бумагу ногтем, либо выскабливая «ненужные» буквы в строке)¹⁰⁶.

На просьбы заключенных о присылке им книг из библиотек им неоднократно отказывали именно из этих соображений. Однако в ответ на очередной доклад Андреевой, предлагавшей отказать заключенным в их просьбе о присылке книг, Уншлихт спросил: «А как мы их удовлетворим?»¹⁰⁷ Так что жалоба Д. Д. Донского в коллегию ГПУ на отсутствие книг (его заявление было направлено Андреевой Уншлихту) попала, можно сказать, на благодатную почву. Д. Д. Донской жаловался на малый запас книг, имевшихся у осужденных и невозможность получения книг с воли (покупать дорого, а во временное пользование взять неоткуда, т. к. согласно инструкции все книги должны были оставаться в тюрьме) и ходатайствовал «о разрешении получать научные книги с правом возвращать их по прочтении в указанные администрацией сроки обратно». «Мы позволяем себе выразить твердую уверенность, — писал он, — что никто не использует этого разрешения для незаконных и недозволенных сношений с волей: возможность серьезно заниматься настолько большое благо в нашем положении, что никто не захочет и не сможет рисковать ни для себя и, главное, для остальных товарищей»¹⁰⁸. Насколько важна была для заключенных возможность пользоваться книгами, видно из заявления Горькова-Добролюбова и М. И. Львова, подчеркивавших, что «...при отсутствии нужных им книг они обречены на годы медленного умственного умирания и что лишение возможности заниматься умственно <...> есть самое жестокое, ни с какой точки зрения не оправдываемое лишение (даже с точки зрения строгой, архистрогой изоляции)»¹⁰⁹. Аргументы Донского заставили Уншлихта поставить на его заявлении следующую резолюцию: «Книгами надо их снабжать, но не через родственников»¹¹⁰. Смысл этого решения заключался в том, чтобы возвращаемые в библиотеку книги шли не через родственников, которые могли бы «считать» размеченные страницы и передать информацию партийным друзьям своих мужей и отцов, а через «недружественные руки», т. е. по специально созданной чекистами цепочке: заключенный — чекист — библиотека.

Но так как многих книг для заключенных через библиотеки достать было нельзя, в конечном счете, после многочисленных требований, книги стали принимать и от родственников. Но допустили чекисты эту поблажку только потому, что все книги и письма к заключенным (и от них) они пропускали через Спецотдел ГПУ на предмет поиска тайнописи. Кроме того книги должны были осматривать еще и тюремщики. Так, Андреева время от времени напоминала начальнику Внутренней тюрьмы ОГПУ Дукису о необходимости осмотра всех книг и журналов¹¹¹. Очевидно, подобный просмотр должен был выявлять вложения в корешки и переплеты книг, а также всякого рода манипуляции с текстом — прокалывание букв иголкой, выскабливание их, продавливание ногтем и т. п., т. е. все то, что позволяло передать информацию. Обратно книги из тюрьмы на

волю от заключенных эсеров уже не возвращались (все по той же причине опасения тайнописи), а скапливались у политзаключенного в камере. Многие из них за несколько лет сидения собрали сотни томов.

Что касается переписки, то первоначально заключенные эсеры, согласно цитировавшейся выше инструкции, были лишены ее вовсе. Но заключенные начали «войну заявлений» и голодовки, и чекисты вновь отступили, дав им право переписки (но только строго родственной, определив трех-четыре ближайших родственников).

В фонде Н-1789 ЦА ФСБ РФ имеется специальное дело, где скапливалась переписка между «спецотделом» и СО ГПУ, а также все задержанные письма с воли и на волю¹¹². Пр процитируем несколько весьма типичных писем, адресованных Начспецотдела при ГПУ Г. Бокия пом. начальника СО ГПУ Андреевой. 25 октября 1922 г. Г. Бокий сообщал: «В возвращаемых двадцати одном письме, присланных при В/служебной записке, никакой тайнописи нет»¹¹³. 31 октября он писал: «Возвращая 16 писем, Спецотдел при ГПУ сообщает, что в письмах этих никакой тайнописи нет, остальные шесть писем задержаны на несколько дней в силу некоторых подозрений, и они будут присланы дополнительно»¹¹⁴. 22 ноября 1922 г. в СО ГПУ было прислано следующее письмо: «Спецотдел при ГПУ возвращает семь писем и сообщает, что письма эти от тайнописи обезврежены»¹¹⁵.

Но не следует думать, что все обезвреженные от тайнописи письма доходили до адресатов. Трудно судить об этом, не имея всей полноты картины, но представляется, что если книги и попадали после долгих мытарств к заключенным, то вот письма к ним и от них в большей своей части оседали в архиве и в их личных делах. По крайней мере так было в отношении подопечных 3-го отделения СО ГПУ, содержащихся в московских тюрьмах в 1921—1925 гг.¹¹⁶ Андреева лично читала все письма, и если в них содержалась информация о внешнеполитических событиях (не говоря уж о партийных и тюремных делах), ставила на них синим карандашом резолюцию «Конфисковать» или «Задержать»¹¹⁷.

Примером того, что задерживали письма даже самого невинного содержания, не имевшие никакого отношения к политике, может служить письмо к П. В. Злобину от его студентки, которая описывала структуру и работу недавно открывшегося института сельскохозяйственной и промысловой кооперации, в котором она училась на 2-м курсе, и передавала привет от своих товарищей¹¹⁸.

Остается только гадать, что заставило зам. начальника СООГПУ Андрееву начертать на этом конверте «Задержать». Похоже, весь криминал заключался только в том, что это письмо подняла бы Злобину настроенное. Для чекистов оказалась нежелательной даже та информация, что институт, в становлении которого принял участие Злобин, развивается, а студенты помнят его. Впрочем, может быть, и не следует «демонизировать» чекистов. Очень похоже, что они действовали формально, по придуманному самими же принципу — вся «неродственная» переписка и в тюрьму, и из тюрьмы не пропускается. Очевидно, по той же причине была конфискована открытка, присланная из Чехословакии по адресу: «USSR. Москва. Бутырская тюрьма. Абраму Рафаиловичу Гоцу», в которой говорилось: «Поздравляю, дорогой Абраша, с днем рождения. Вспоминаю прошлое, когда мы вместе в этот день ожидали свидания со своими, и думаю, что ты так же добр, как был в прошлые годы... Лира и Борис шлют тебе свои поздравления и пожелания. Крепко обнимаю тебя. Твой Василий»¹¹⁹. Впрочем, таких писем и открыток было довольно

много и из-за границы, и из России, как и задержанных писем осужденных, пытавшихся переписываться друг с другом, или еще с кем-то из «не входящих» в родственный список из трех-четырех фамилий.

Заключенные пытались придумывать разные уловки, чтобы письмо миновало цепкие руки Андреевой. Так, например, член ЦК ПСР Л. Я. Герштейн посоветовал своей жене писать ему не на Внутреннюю тюрьму ГПУ и на имя Андреевой (писали и на ее имя, и на имя заключенных), а на его имя и на адрес Судебной коллегии Верхтриба, судившего его. Маргарита Герштейн отвечала ему 1 декабря 1922 г. во Внутреннюю тюрьму ГПУ из ссылки в Усолье: «Мой дорогой и хороший! Снова и снова перечитывала я твое письмо (от 23 окт. — первое полученное), старалась заглянуть в душу моему дорогом. Я бесконечное количество раз была в гостях у моего узника. Эти противные тысяча верст — какой тяжестью ложатся они на психологию. **Вчера отправила письмо по твоему рецепту с надписью на конверте твоей фамилии и теперь пугает мысль, что оно не дойдет или дойдет, цепляясь за все руки, кот. не лень будет читать. Нет, моя система адресовать на отдел и вложить заявление — лучше** (выделено нами. — *К. М.*). По-моему, ты зря заподозрил мои умственные способности. <...> я старательно вожусь с газетами. <...> Руководитель у нас есть — Бер-Гуревич. Эх! Да работать можно бы над собой — была бы только охота. Бояться влияния ссылки тебе не надо. Во-первых, состав у нас хороший — все идейная публика. 2) Мы все служим, а следовательно, не так уж много свободного времени <...>»¹²⁰.

Но «система» Герштейна не сработала, а точнее — сработала лишь наполовину. Письмо было прислано на адрес Судебной коллегии Верхтриба, переправившей его в СО ГПУ с извещением, что она «не возражает против передачи гр. Герштейну прилагаемого при сем письма»¹²¹. Но похоже, что Секретный отдел ГПУ в силу своей неприязни к Верхтрибу после такого «разрешения» задержал бы и чистый лист бумаги. Возможно, свою роль сыграл и рассказ о жизни политических ссыльных, о том, что они продолжают заниматься и не предаются унынию. Письмо попало в руки Андреевой, начертавшей на нем синим карандашом «Задержать»¹²².

Для преодоления изоляции заключенные эсеры, рассаженные по одиночкам и по двое, очень широко прибегали к столь излюбленному методу «тюремной коммуникации», как «тюремные записки». Они широко пользовались ими еще и во время процесса для связи со своими заключенными товарищами, которых на процесс в качестве обвиняемых не вывели, а привозили в зал суда в качестве свидетелей защиты. Так, Комендант процесса Шиманкевич рапортовал 4 июля 1922 г. нач. СО ГПУ Самсонову: «При сем представляю на рассмотрение обнаруженное при осмотре арестантской уборной письмо, подписанное Ю. Подбельским»¹²³. Дерibas, основываясь на данных переодетых чекистов, охранявших подсудимых в зале суда, 15 июля сообщал: «Наблюдение за всеми подсудимыми во время заседаний ничего существенного не дало. Все были заняты чтением каких-то записок, очевидно тюремных, ибо прибегали к помощи лупы»¹²⁴.

После введения в действие инструкции по «особой изоляции» и изоляции 22-х заключенных не только от внешнего мира, но и друг от друга, «тюремная коммуникация» приобрела для них крайне важное значение. Только с ее помощью они могли делиться новостями друг с другом, координировать действия по борьбе за «политрежим», включая и проведение голодовок и т. д. Чекисты же прилагали максимум усилий, чтобы

изолировать их друг от друга во время развернувшейся борьбы за «политрежим», и громили их «почтовые ящики» и перехватывали записки. Но ничего не помогало. Создавались новые «почтовые ящики» и все возвращалось на круги своя.

В дополнение совершенно справедливых слов В. М. Зензинова, вынесенных в название параграфа, следует добавить, что за плечами 22-х эсеров была не только природная русская сметка (по поговорке — «голь на выдумку хитра»), но и полувековой опыт российских революционеров. Власть и чекисты прекрасно это понимали и поэтому предприняли (пользуясь словами Зензинова) — «совершенно исключительные усилия и условия». Фактически был поставлен уникальный опыт противоборства, с одной стороны, власти, не жалеющей усилий и готовой на самые крутые меры, с другой стороны — политзаключенных, за плечами которых оказался своеобразный сплав богатейших «сидельческих» традиций российского революционного движения и личного опыта сидения в очень многих знаменитых тюрьмах, вроде Петропавловской крепости (Н. Н. и Е. А. Ивановы) и не менее именитых царских каторжных центрах. Послужной дореволюционный тюремный список большинства из 22 эсеров поистине впечатляет (а в сочетании с их советским «тюремно-ссылным путем» он выглядит просто трагически).

Еще в царское время политзаключенные вели борьбу с тюремным режимом, пытаясь его всячески расшатать и добиться для себя особого политрежима, обязательно включавшего ряд пунктов, обеспечивающих общение друг с другом и возможность координации действий, а также контакт с волей (переписка и свидания). Насколько широки были «отвоёванные» возможности для «легальной» коммуникации в тюрьме, зависело от множества обстоятельств. Если политзаключенным не удавалось ничего добиться от тюремной администрации (скажем, Петропавловская крепость всегда была «завинчена» до предела), то упор делался на скрытые, нелегальные способы коммуникации. Разброс в «свободе коммуникаций» мог быть крайне велик в зависимости от множества факторов (играли роль и волевые качества и характер начальника тюрьмы, ее месторасположение, ее традиции, общественно-политическая ситуация в стране, так, например, многие тюрьмы в 1905—1906 гг., когда тюремщики не понимали, чья возьмет, развинтились, а через год-два, они же, мстя за свой страх, «завинтили» тюрьмы порой до немыслимых ранее пределов), где-то политзаключенные «приучили» администрацию терпеть их перестукивание (а где-то за это сразу бросали в карцер), где-то «приучили» терпеть их крики и разговоры через форточки, а где-то политзаключенные добивались и общих прогулок и даже открытых на день камер в «социалистическом» коридоре. Там, где возможность общения была велика, нелегальные способы коммуникации выполняли или дополнительную, вспомогательную функцию, или резервную (на случай репрессий, закрытия камер и т. д.). В каких-то тюрьмах они, напротив, были основными, и зависело это во многом от порядков в данной тюрьме.

Заключенные во Внутреннюю тюрьму ГПУ на рубеже 1922—1923 гг. 22 осужденных по процессу эсера, несмотря на тиски «особой изоляции», все же наладили общение между собой с помощью «почтового ящика» в туалете. С такими «почтовыми ящиками» тюремная администрация боролась во все времена, но с переменным успехом. Заключенные же всеми силами старались спасти этот канал общения. Сидевшая во второй половине 20-х годов в Верхнеуральском политизоляторе эсерка Е. Л. Олицкая вспоминала: «С самых первых дней нами были созданы два места для

переписки, то есть два почтовых ящика. Оба места продержались до моего отъезда. Но сделаны они были замечательно! На второй или третий день Шолом, идя на прогулку, бросил в нашу камеру хлебный шарик. В нем оказалась тоненькая проволочка со спичку длиной, кончик ее был загнут, как крючок. Это был ключ. Вечером по ниточке через окно с верхнего этажа нам спустили записку. В ней дано было указание, как пользоваться ключом. В уборной в деревянной кошелке для полотенец и в деревянном... (пропущена строка. — *Прим. перепечатающего*¹²⁵). В древесном сучке — щель, в нее закладывается ключ. Затем, после поворота, ключ поднимает сучок, как пробку. Под сучком была высверлена дыра, в которую входила записка, туго скрученная, по длине и ширине равная мундштуку папиросы. Обычно почту нашей прогулки отправлял и принимал Шура. Всего два раза заменяла его я. Даже зная, где искать и что искать, я еле высмотрела нужный сучок и щель в нем. Ну и берегли же мы эти два места! Вся личная корреспонденция эзков шла иными путями. По этим — шла только связь со старостой»¹²⁶.

Несколько тюремных записок, которыми обменивались заключенные эсеры во Внутренней тюрьме ГПУ на рубеже 1922—1923 гг., хранится в отдельном конверте в томе 60¹²⁷. На самих записках дат нет, датированы только копии, которые были с них сняты и отправлены по начальству. Но в какой степени они соответствуют дате написания, сказать можно только в случае, если они обнаружены в «почтовом ящике». Но ряд записок был изъят уже в камерах у тех, кому они адресовались. Сколько времени они хранились? Недели или месяцы? Учитывая мастерство многих из них как конспираторов и опытных тюремных сидельцев? Здесь уместно вспомнить, что, скажем А. Р. Гоц остался в памяти Ю. Ю. Фигатнера, впоследствии ст. научного редактора Большой Советской Энциклопедии (встретившегося с ним в бутырской камере, а затем в Краслаге) как потрясающий мастер тюремной конспирации, который в любой (в том числе и чужой) передаче с воли моментально и совершенно безошибочно находил, где, как и в каком месте находится «малява» (спрятанная на совесть, раз даже бутырские профессионалы ее не могли обнаружить)¹²⁸. Но в любом случае даты, проставленные чекистами на копиях, позволяют хотя бы приблизительно определить время появления записки.

Некоторые записки возбуждали живой интерес у партийных и чекистских функционеров в силу их политического содержания и возможности использования их в антиэсеровской пропаганде, как, например, следующая, 14 ноября 1922 г. переправленная Дерibasом А. С. Бубнову, возглавлявшему в это время смешанную партийно-чекистскую комиссию по «добавлению» эсеров: «Вы спрашивали про заграничников. Если Вы подразумеваете Заг[раничную] Делегацию, то в общем я ее одобряю. Тем более, что они уже пятый год (а Чернов 3-й) оторваны от России, и все же они линию держат правильную. Плохо то, что они недостаточно энергично борются с компанией Руднев, Лебедев и др. плюс Авксентьев и Бунаков, которые почти исклечены из партии, но действуют вовсю, этих всех вон, в том числе и Минора, если он сам еще не ушел. Конечно, Минор не то же самое, что прохвост Авксентьев или болван Лебедев, но в конце концов эта компания людей, которая чувствует себя призванными решать судьбы России (никак не меньше), тоскуют по министерским портфелям и занимаются „высокой политикой“, устраивают всякие дурацкие объединения с другими политическими партиями. Все это за спиной ЦК. Вообще гадость. Они не социалисты и не революционеры, а так, политики. Ехали бы в Россию, проводить свои идеи, чем заниматься

интригами за границей»¹²⁹. Похожей по содержанию была и другая записка: «К сожалению, я за последнее время мало знаю (сначала был оторван от своих, а потом мы все были оторваны от воли, затем суд — и в газетах ничего не было кроме суда (что делалось). <...> Что касается „Административного Центра“, то мы узнали о нем только на суде. Что еще за штука — не знаю, но по всей видимости — дрянь. Безусловно, часть документов подложные, но чую я, что тут пахнет Лебедевым и т. д. Чтобы они да не ввязались в инд[ивидуальную] глупую авантюру. В жизни не поверю. Если бы знали, до чего Лебедев глуп. В отчаяние можно придти. Авксентьев в такой же степени подл..., а Минор уж очень стар. Не знаю, какую роль играл Керенский. Говорят, что он нам не очень-то благоволит»¹³⁰. Копия была снята 13 сентября 1922 г. и также отправлена Дерibasом Бубнову.

Автор и адресат этих двух записок не установлены. Автор не подписался (в ряде других записок авторы ставили свои инициалы), а «вычислить» автора путем сличения почерка непросто, т. к. тюремные записки писались микроскопическими буквами, очень заметно менявшимися обычный почерк человека. Для этого необходима уже графологическая экспертиза.

Практически в каждой из перехваченных записок находилось место и для обсуждения вопросов, связанных с методиками поддержания связи и поиском новых мест в случае провала старых. (Поневоле на ум приходят слова Зензинова о том, что все силы и помыслы заключенных бросались на это.) Вот уникальная записка, посланная именно с этой целью 29 июня (представляется, что 1923 г., потому что, во-первых, в июне 1922 г. у подсудимых эсеров и не было необходимости в переписке друг с другом, т. к. они встречались в зале суда и в тюремном автомобиле, да и сидели в другой тюрьме — в Кисельном переулке; во-вторых, в другой записке упоминается суд над В. Н. Рихтером, который как раз и состоялся летом 1923 г.): «Посылаю согласно условию пробную. По получении поставьте точку с запятой, но не нашем месте, а слева от двери и повыше, там где сухо. Это место в случае провала того, которым пользуемся сейчас — заменится в первую очередь. Привет. 29/VI. Кнопок у нас более нет».

Кнопки для тюремной коммуникации были неоценимы, т. к. ими можно было крепить записку на горизонтальную или вертикальную деревянную поверхность (недоступную для глаз). Но для замены вполне годился и хлебный мякиш. В ряде тюрем надзиратели заставляли заключенных отправлять свои естественные надобности при открытых дверях, в которых стоял надзиратель, внимательно следивший за каждым движением своего подопечного (об этом вспоминала, например, дочь В. М. Чернова применительно к своему сидению во Внутренней тюрьме ГПУ в 1920 г.¹³¹). Но и это не спасало тюремщиков, т. к. хлебный мякиш с запиской внутри могли незаметно прикрепить куда угодно и даже использовать в качестве «почтового ящика». Так, например, Олицкая, сидевшая «в изолированной камере» в Бутырках на рубеже 1934—1935 гг. вспоминала: «И вдруг в маленькой уборной, в которую меня водили на opravку, я прочла над крапом на известью выбеленной стене нацарапанные слова: „Катя, привет!“ Быстро затерла я буквы и нацарапала: „Кто вы?“. Наверное, надзиратели больницы отвыкли от связи между заключенными, которую надо было ловить. Вечером, на том же месте, я прочла: „Возьмите шарик, поставьте крестик“. На полу в углу, вжатый в стену, лежал хлебный шарик. Я схватила его. У крапа умывальника на стене я поставила крест. В камере я раскрошила шарик. В нем была записочка»¹³².

Технология обмена условными сигналами о том, что записка на месте, или, как это названо одним из участников тюремной переписки — «контроль хода почтовых сообщений», подробно изложена в перехваченной чекистами 26 июля 1923 г. записке. Судя по подписи и почерку, она написана Н. Н. и Е. А. Ивановыми, сообщавшими своим товарищам следующее: «Дорогие друзья! По получении сего пишите тут же ответ и поставьте на высоте толчка слева от двери у самого косяка на стене точку, а по получении вашей записки переделаю ее на запятую, а вы после сотрете ее — так и будем всегда контролировать ход почтовых сообщений»¹³³. Машинописной копии этого документа, как и рапорта о ее задержании, в деле нет. Записка представляет собой прямоугольник серой бумаги размером 3×4 см. Надпись сделана простым карандашом с обеих сторон. Синим карандашом чекистами поставлен номер записки — № 2. Иногда писали записки даже на полях газеты¹³⁴.

В другой записке, относящейся к лету 1923 г., неизвестный автор писал: «Суббота. Дорогие друзья, от Вас уже так давно ничего не было, не провалилось ли и это место. Чем кончился суд Рихтера? Что вообще нового? О чем интересного беседовали с Катаньяном? У нас новостей нет. В камере душно, заниматься трудно. Вообще все надоело. Крепко обнимаю. (1 слово не разобрано. — *К. М.*) Либерову высылку на 3 года в Чердынский уезд. А все-таки, друзья, Вы Фрайера (1 слово не разобрано. — *К. М.*)»¹³⁵.

Порой авторы записок укоряли своих корреспондентов в небрежном обращении с почтовым ящиком: «Указываемой Вами записки не получили, и вчерашнюю нашли на полу. Часто же берем записки наполовину высунувшимися. Очевидно та упала и пропала. Надо класть ту же». Эта же записка свидетельствует о том, что несмотря на все старания чекистам не удалось добиться абсолютной изоляции заключенных и последние были в курсе событий, происходящих на воле: «Наши в Гамбурге были — Чернов, Постников, Минор, В. Гуревич. Были еще и другие, не знаю, но эти были»¹³⁶.

Тексты многих записок для современного читателя зачастую представляют собой ребус, разобрать который бывает довольно трудно, ибо полны намеков и сокращений, которые должны были быть понятны их авторам и адресатам и непонятны — тюремщикам и чекистам. Так, например, В. В. Агапов (авторство идентифицировано по почерку) писал: «Милые друзья. Приглашение произвести утренний туалет оборвало меня на полуслове — “сидит Патриарх Тихон. Ему заявили: Для Вас была получена от неизвестной женщины передача отравленная. Так как у ГПУ нет возможности держать для Вас санаторного врача в Донском м-ре, то ГПУ Вас переводит во Внутреннюю тюрьму”».

Насколько все это верно, я не ручаюсь. Дукис говорит, что патриарха здесь нет. Мой „Капказ“ отказывается сделать дополнение к моему утреннему сообщению об его „несчастных туфлях“, считая его достаточным.

Не имея за собой никакой вины в его „неудаче“, я решил тоже ограничиться своей **аэрограммой** (выделено нами. — *К. М.*).

Будьте любезны сообщить Релятивистам моей повести о „разбитом горшке“.

М. Д. Р., что висит под кроватью Е. М.: мой строгий Карл Маркс или его Мона Лиза, супруга Франческо Джокондо? Зная „африканский“ характер М. Е. М., я боюсь, что мой старик служит покрывшкой кофейной кружки дорогого дяди. По-моему, прелесть сладостной улыбки Моны

Лизы не потеряется, если ее повесить на противоположной стороне, а Маркса оставить на прежнем месте. Буду думать, Карлу Марксу оскорблений не будет нанесено. Ваши цветы поливаются.

Люб. Вас В.

Л. хотела, чтобы к ней поселился Мам и Р. Вопреки зумкану разрешение сего — отказано. В каком состоянии „Нарсвязь“ (выделено нами. — К. М.), с кем связана. Я подумываю двинуть „энциклику“. Привет 24/VI—23»¹³⁷.

Представляется, что «нарсвязь» — это «наружная связь», связь с волей. Тогда смысл приобретают слова — «с кем связана». «Сортирная коммуникация» ни с кем не связана, ей пользуются все посвященные. И больший смысл приобретают слова — «двинуть энциклику». Как известно, энциклика — это папское послание. В данном случае иронично подразумевается некое обращение, некое послание вовне. А вот «сортирные» тюремные записки — похоже, то, что Агапов с юмором называл аэрограммами. «Зумкан» — очевидно слухи.

Тюремные записки писались даже шифром, что видно из донесения нач. Спецотдела при ГПУ Бокия и нач. IV отделения этого отдела А. Гусева от 30 июля 1923 г. нач. СО ГПУ Дерibasу: «Специальный Отдел при ГПУ, при сем возвращая зашифрованную записку, доводит до сведения, что установить ключ и содержание записки Гендельмана не представляется возможным по крайней недостаточности материала. Из 37 имеющихся в ней дробных знаков шифра большая часть растеклась и не может быть точно определена, даже с помощью лупы»¹³⁸. Это единственная зашифрованная записка, сведения о которой имеются в архивном деле, и, скорее всего, она предназначалась для ухода за тюремные стены.

Ставя перед собой сверхзадачу пресечь связи осужденных эсеров с внешним миром, чекисты пытались перекрыть главный канал информации — свидания с родственниками. То, что многие из жен и родственников подсудимых эсеров были связаны с эсеровским подпольем, сомнений не вызывает. Простейшим и надежнейшим выходом из ситуации для чекистов стало бы запрещение свиданий заключенных с родственниками (что вначале фактически и было сделано) или проведение свиданий через двойные решетки и под бдительным контролем надзирателей (что являлось обычной для того времени тюремной практикой)¹³⁹. Но в том-то и дело, что чекисты сами не были заинтересованы в запрещении «личных свиданий», т. к. из прослушивания разговоров они могли черпать важнейшую агентурную информацию. Поэтому, ограничив количество свиданий заключенных с родственниками, они все же позволили им оставаться наедине (но зато с подслушивающим устройством), дабы подтолкнуть к откровенным беседам. В данном случае логика оперативного работника брала верх над логикой тюремщика (впрочем, чекисты СО ГПУ были едины в двух лицах).

Свидания осужденных эсеров с родственниками осенью 1922 г. проводились во Внутренней тюрьме ГПУ в специально оборудованной комнате, где был установлен «слуховой аппарат» и откуда заключенным «нельзя было бы бежать». Свидание носило «личный характер», т. е. проходило без присутствия «тюремной стражи и сотрудников ГПУ», охранявших комнату свиданий снаружи. Свидания длились по часу, и проходили по следующему распорядку: от 10 до 11 ч., от 12 до 1 ч., от 2 до 3 ч., от 4 до 5 ч., от 6 до 7 ч. В один день получали свидания 4—5 заключенных по заранее составленному списку, фамилии в котором иногда представлялись по усмотрению чекистов. Следует особо подчеркнуть, что как

заключенные, так и родственники обыскивались до и после свидания. Чекисты, прослушивавшие комнату свиданий, жаловались на качество аппарата, а также на плохую изоляцию комнаты от посторонних шумов (хлопанье дверями, разговоры конвойных в коридоре и т. д.). Раздражали чекистов и крики и беготня детей, с которыми приходили жены некоторых заключенных¹⁴⁰. Но самое обидное, что чекистам так и не удалось перехитрить эсеров, которые, очевидно догадываясь о прослушивании, все тайные разговоры вели шепотом на ухо, маскируя сам этот разговор тем или иным способом (той же беготней детей и их криками). Чекисты же надеялись улучшить «разрешающую» способность «слухового аппарата» и изолировать комнату свиданий от внешнего шума.

Подводя итог, можно сказать, что чекистское руководство (при поддержке «твердокаменных» большевиков из партийной верхушки) решило пойти ва-банк и навсегда избавить себя от бесчисленных хлопот, связанных с необходимостью считаться с требованиями заключенных социалистов и общественным мнением Европы, прекратив утечку информации, и похоронить заключенных в каменных мешках, сломив их волю.

§ 2. ВЫРАБОТКА СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫХ УСЛОВИЙ «ИНСТРУКЦИИ ПО СОДЕРЖАНИЮ В МЕСТАХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЧЛЕНОВ АНТИСОВЕТСКИХ ПАРТИЙ „ПРИ ОСОБОЙ ИЗОЛЯЦИИ“» (август — октябрь 1922 г.) В КОНТЕКСТЕ МИФОВ И РЕАЛИЙ «ПОЛИТРЕЖИМА» И ТЮРЕМНЫХ УСЛОВИЙ НАЧАЛА 20-х гг. XX в.

«<...> Либо создадите условия возможного человеческого существования для нас, либо <...> приведите свой приговор в исполнение в отношении меня», — с этими словами 24 января 1923 г. обращался из Внутренней тюрьмы ГПУ в Президиум ВЦИК член ЦК ПСР Н. Н. Иванов, один из 12 эсеров, приговоренных к смертной казни (отложенной исполнением). Уже одна только эта фраза ярко передает накал четырехлетнего тюремного противостояния осужденных эсеров и их «опекунов» из Политбюро ЦК РКП(б) и ГПУ, ставшего логичным и закономерным этапом борьбы, протекавшей до этого в различных формах — от вооруженной борьбы в годы гражданской войны до ожесточенного противостояния в зале суда.

Необходимо особо подчеркнуть прямую связь между той моральной победой, которую одержали на процессе обвиняемые, и тем особым тюремным режимом, который был придуман специально для них и на них же апробирован властями, мстившими им за свое поражение. В борьбе эсеров с властью за свои права в 1922—1926 гг. важнейшим постоянно действующим фактором стало общественное мнение социалистических и демократических кругов Европы. Не будь его, осужденные по процессу 1922 г. эсеры довольно быстро и почти неминуемо погибли бы от голодовок и самоубийств, бывших единственным действенным способом противостоять стремлению властей (в том числе мелких чекистских и тюремных начальников) сломить их волю. В условиях же, когда о голодовках и попытках самоубийства осужденных становилось известно всему миру, власти вынуждены были идти на смягчение жестких условий режима и удовлетворять требования голодающих.

В теме борьбы за политрежим присутствуют и такие аспекты, как формальная нормативная база, регламентирующая содержание заключенного, и, конечно же, реальное социально-бытовое положение его в тюрьме, порой имеющее слабое отношение к писаным регламентациям. Мы сочли необходимым чуть подробнее остановиться на этих вопросах, ибо они обросли рядом стереотипов и мифов, не соответствующих историческим реалиям. Было бы огромным заблуждением считать установленную в годы гражданской войны и в начале 20-х годов практику обращения властей с заключенными социалистами мягкой и либеральной. Да, действительно, с одной стороны, их в годы «красного террора» расстреливали не тысячами, как заложников из «буржуазных» слоев общества, а «штучно». Да, действительно, за некоторыми из них ходатайствовали видные большевики, понуждаемые к этому памятью об общей революционной борьбе или тюремном сидении. Да, действительно, еще в феврале 1922 г. комендант Бутырок (старый большевик), называл их товарищами. Да, действительно, режим в тех же Бутырках был весьма мягок. Но представление о кажущейся мягкости этих репрессий по сравнению с тюремной дореволюционной практикой — плод заблуждения.

То, за что в прежние времена можно было в худшем случае угодить в административную ссылку, в новых условиях «тянуло» на годы тюрьмы и концлагерей. Полное беззаконие полуграмотных чекистов какого-нибудь заштатного городка было значительно страшнее методичного следования служаками, вроде полковника Г. А. Иванишина, заведенному распорядку и спускаемым сверху инструкциям в таком символе царской тюрьмы, как Петропавловская крепость. Чего стоила одна только широко распространенная практика утаивания не боявшимися никаких прокуроров чекистами заявлений заключенных, направлявшихся в высшие властные органы страны (да и в Президиум ГПУ). В массовом сознании продолжает бытовать миф об особо привилегированном положении политзаключенных социалистов и анархистов, пользовавшихся большой свободой и различными привилегиями в годы гражданской войны и в 20-е — начале 30-х гг.

Но почему же миф? Разве, скажем, весь тот необычайно вольготный тюремный режим и налаженный быт в Бутырках и в тюрьме московского губотдела ГПУ в Большом Кисельном переулке в начале 1922 г., столь красочно описанный эсеркой Б. А. Бабиной в мемуарах и в интервью (они были записаны диссидентами и изданы в сборнике «Память» в Париже в начале 80-х гг.) не является абсолютной правдой¹⁴¹?

Нарисованные ею картины, безусловно, правдивы. Но правдивы только для «политрежима» этих двух тюрем и в этот локальный промежуток времени. Знакомство с социально-бытовым положением политзаключенных в тех же Бутырках, но двумя годами ранее или годом позже дает уже совсем иную картину. Знакомство же с социально-бытовым положением заключенных социалистов, скажем, в 1921 г. во Владимирской, Ярославской, Орловской или Акмолинской тюрьме в 1924 г. вызовет у современного человека сильное удивление. Дело в том, что описанный Бабиной режим не был милостью властей и вовсе не был нормой для всех тюрем, где содержались политзаключенные. Этот режим был вырван политзаключенными Бутырок борьбой за «политрежим» у власти, которая все время пыталась отыграть назад и «завинтить» тюрьму¹⁴². Хорошо известен «политрежим» социалистов Савватьевского политкита на Соловках, но кто задумывается, что куплен он был кровью погибших во время расстрела 19 декабря 1923 г., куплен был голодовками, куплен был той

поддержкой, которую им оказывала эмигрантская и европейская социалистическая печать? Кто помнит о том, что, увезя весной 1925 г. политзаключенных с Соловков, их отправили в два политизолятора, по дороге отделив старостат от основной массы заключенных? Кто помнит, что в этих двух политизоляторах — Верхнеуральском и Челябинском — руководство ГПУ и администрация тюрьмы пытались лишить их всех прав и что началась злая борьба за политрежим?

Политрежим всегда существовал негласно, существовал только «здесь и сейчас», будучи вынужденным компромиссом двух враждебных сил. Политрежим не был бюрократической нормой, инструкцией, и поэтому он везде был разным и его конкретное содержание зависело от разных обстоятельств, в том числе и от решимости данного коллектива социалистов к острым формам борьбы, вроде голодовок и обструкций, а также от соотношения противостоящих сил.

Впрочем, режимы в тюрьмах всегда были разными даже при действии одних инструкций и в тюрьмах формально одинаковой строгости, ибо не только инструкции определяют строгость режима. Так, по справедливому замечанию известного социал-демократа Л. Г. Дейча, даже в царской России в одно и то же время все они заметно отличались друг от друга. Привезенный в 1884 г. в Бутырки, он восклицал: «Хотя в общем отзывы о Бутырках были довольно благоприятного характера, но когда нас впустили под тяжелые своды этой тюрьмы, я все же испытал неприятное ощущение: за сравнительно короткий промежуток, протекший со времени моего ареста во Фрейбурге, кроме трех немецких тюрем, я успел уже побывать в шести русских и убедился, что решительно в каждой из них режим был иной. Как бы человек ни был равнодушен к житейским неудобствам, но его невольно охватывает неприятное, тревожное чувство, при приближении к новому месту заключения: „Опять, быть может, предстоит лишения элементарнейших удобств, вновь придется вести борьбу из-за койки, столика!“ — естественно приходит в голову, когда затворяются ворота новой тюрьмы»¹⁴³.

Еще раз подчеркнем, что политрежим социалистов 20-х — это не дар властей, а завоевание политзаключенных. Но большевистская власть и чекисты не только охотно поддерживали миф об обратном, но отчасти его сами и творили (позже мы увидим, как родилась легенда о санаторном режиме 22-х «особоизолированных» эсеров). Знакомство с архивными документами разоблачает этот миф, и становится ясно, что после прихода большевиков к власти для социалистов началась совершенно новая полоса тюремных испытаний.

Помимо режимных моментов, немалую роль в жизни заключенного играют и чисто бытовые «мелочи», которые способны облегчить или отравить его и без того невеселое существование. Более того, для заключенного, замкнутого в ограниченном пространстве тюремной камеры, очень часто «бытовые мелочи» становились в прямом смысле этого слова вопросом сохранения здоровья, а то и вопросом «жизни и смерти». Социально-бытовые условия жизни заключенного, с одной стороны, серьезно зависели от того, что представляла из себя данная тюрьма. Новой или старой она была (или это было приспособленное строение)? Было ли в ней паровое или печное отопление? Была ли канализация или в камерах стояли параша? Скажем, в 1904 г. народоволец, а затем эсер С. А. Никонов, попав в Пугачевскую башню Бутырской тюрьмы, пришел «почти буквально в восторг» от «великолепной уборной с американским спуском воды и сифоном, точно в лучшей гостинице». «После тюремных параш

и отвратительной грязной уборной арестантского вагона, — вспоминал он, — это культурное удобство ценилось как-то особенно высоко. Право, я готов был написать благодарственный адрес начальнику тюрьмы, недавно заведшему эту роскошь»¹⁴⁴.

Какой санитарный режим в тюрьме поддерживался? Где, в каком месте, в каком климатическом поясе она находилась? (Ниже мы увидим, что получилось, когда казахские чекисты и тюремщики попытались по требованию Москвы создать режим «особой изоляции» для эсера А. В. Либерова (он попал в их руки в 1924 г. по дороге в ссылку) в местной тюрьме, переделанной после Октября 1917 г. из общественной бани.)

Огромное значение имела и общественно-политическая и экономическая ситуация в стране в целом. В одной и той же тюрьме совершенно по-разному обстояло дело с питанием и отоплением, скажем, в 1898 г. и 1921 г., когда страна была охвачена продовольственным и топливным кризисом. Большую роль играло и разворовывание продуктов и денег, отпускаемых на довольствие и обогрев заключенных и каторжан тюремным начальством и хозобслугой. Воровство процветало и до и после революции 1917 г., превращая в фикцию те официальные нормы питания, которые существовали только на бумаге. Конечно же, это относилось отнюдь не только к питанию. На всем, на чем можно было сэкономить и нажиться, сэкономили и наживались.

Но определяющим фактором все же являлся официальный тюремный режим для политзаключенных, который был очень разным в 1904 г., в 1922 г. и в 1937 г. В результате в одной и той же тюрьме условия жизни могли серьезно отличаться, в том числе, и, как ни странно, бытовые. Казалось бы, как в одной и той же камере, скажем, в Бутырской тюрьме можно изменить бытовые условия? Чем быт политзаключенного в камере Бутырок или Владимирского централа, сидящего в 1904 г. и в 1922 г., мог отличаться, ведь его камера осталась той же? Во-первых, в годы гражданской войны из-за нехватки топлива некоторые тюремные корпуса были брошены, и зимой стены промерзли. Всем заключенным, которых весной и летом помещали в этот тюремный корпус, был обеспечен вечный холод с сыростью и целый букет болезней: от ревматизма до всевозможных воспалительных процессов. Во-вторых, в некоторых тюрьмах за годы разрухи и безхозяйственности испортились водопровод и канализация, и в тюремном дворе Владимирской тюрьмы вырыли рядом колодец и выгребные ямы. В-третьих, скажем, в 1922 г. в Бутырках для экономии электричества в камерах были очень тусклые лампочки, а по принятому новому режиму для «особоизолированных» членов ЦК ПСР мало того, что стекла в камерах замазали масляной краской, так на окна еще и поставили деревянные щиты, обитые жестью. Делалось это для максимальной изоляции политзаключенных, а в результате они практически лишились дневного света и свежего воздуха. В-четвертых, произошли изменения в порядках: во времени прогулок, в порядке свиданий, в переписке, получении передач, книг и газет, даже в урезании количества «оправок», в отнятии личных вещей и невыдаче казенных и т. д. и т. п.

Появились и новые явления, которые были немислимы до революции — кражи вещей политзаключенных при арестах и в тюрьмах, кражи, совершаемые должностными лицами, замаскированные под «изъятия». Как непросто в советское время было вернуть «заигранные» при арестах и обысках вещи, видно из истории, приключившейся с членом ЦК ПСР М. А. Лихачом, пытавшимся выволочь весной 1922 г. свои серебряные часы фирмы «Омега», изъятые при аресте. Будучи выведен на процесс

эсеров, М. А. Лихач в конце апреля 1922 г. вместе с другими обвиняемыми был передан из ГПУ в руки следственных структур Верхтриба. Похоже, Лихач попытался использовать ведомственные разногласия (а отношения между ГПУ и Верхтрибом были весьма натянутыми) для возврата своих часов. Мы не знаем, обращался ли он ранее непосредственно к чекистам, но даже если и обращался, то наверняка наталкивался на отрицательный ответ. 15 мая 1922 г. зав. Следственным производством по делу правых эсеров Е. Ф. Розмирович (жена председателя Верхтриба Н. В. Крыленко) писала зам. начальника СО ГПУ М. Герцману: «Если до вторника 16-го мая не будет исполнено — гр. Лихачев объявляет голодовку. В личном деле Лихачева квитанции о принятии Отделом хранения ГПУ его часов не имеется. О принятых Вами мерах Следственный отдел просит уведомить»¹⁴⁵. Герцман на письме начертал: «Что касается часов, то в отделе таковых при самом тщательном розыске не оказалось».

Но Розмирович от него не отстала и спустя два дня уже требовала «выдать официальную справку о том, что часы гр. Лихача утеряны в ГПУ и будут заменены другими. Все это необходимо исполнить срочно, так как гр. Лихач с вчерашнего дня (16-го мая) объявил голодовку»¹⁴⁶. Но так как зам. начальника СО ГПУ Герцман в юрисдикцию Верхтриба не входил, то и ответил он соответствующим образом. Его ответ можно считать хорошим примером успешного и быстрого освоения чекистами высот бюрократического мышления: «Что касается часов, то ввиду того, что у меня никаких официальных данных о том, что у него взяты часы, нет, я не могу сообщить ему ни о том, что часы утеряны, ни о том, что таковые будут возвращены или заменены другими»¹⁴⁷.

Мы, к сожалению, не знаем, как завершилась эта история весной 1922 г., т. к. переписка оборвалась. Но, похоже, М. А. Лихач так и не стал вновь счастливым обладателем «серебряных часов фирмы „Омега“». К такому пессимистическому выводу подталкивает официальная опись его личных вещей, составленная в октябре 1925 г. во время «развезенной» голодовки¹⁴⁸.

Впрочем, «терялись» не только часы, но и вещи попроще. Так, например, у эсера Злобина во время перевода во Внутреннюю тюрьму ГПУ в августе 1922 г. оказалась не внесенной в опись большая часть оставленных в камере вещей — от чайника до мыла, очевидно присвоенных надзирателями¹⁴⁹.

Начальственное «держат и не пушат» даже в тех случаях, когда самодетельность заключенных приносила косвенную пользу и администрации, ярко проявилось в гонениях на Д. Д. Донского, который, будучи по специальности врачом, в 1919 г. принял деятельное участие в инициативе старшего врача Бутырской тюрьмы А. Н. Пирогова по созданию «тюремного окологда», своеобразного «тюремного санатория» для туберкулезных больных. В течение полугода Д. Д. Донскому удалось расширить «санаторий» до 150 коек и пролечить более 500 больных. Благодаря «могучей поддержке» медицинского начальства «вплоть до Наркомздрава» и материальной помощи бывших больных (из числа коммунистов и советских служащих, вернувшихся из тюрьмы на свои посты), а главное — благодаря личным организаторским способностям, Донской, действительно, создал своеобразный «тюремный санаторий», где проводилось водолечение, солнечные ванны, массаж, впрыскивания, противотифозные и противохолерные прививки для всех заключенных, ингаляции, амбулаторная хирургическая помощь, была расширена аптека и обогащена библиотека. Этот опыт — «корректива к тюрьме в виде санатория» (по выражению

Донского) получил поддержку Наркомздрава, который готовил специальный сборник, посвященный пропаганде этого уникального эксперимента. Но в октябре 1919 г. Донской без объяснения причин был отлучен от «санатория» и посажен в строгую одиночку. В декабре 1919 г. он написал заявление председателю ВЧК Ф. Э. Дзержинскому, где описал ситуацию и сообщил о ставших ему известными обвинениях в его адрес со стороны администрации тюрьмы в попытке отравления коменданта тюрьмы (подсыпав ему в молоко и кашу яд). Кроме этого нарком здравоохранения Н. А. Семашко заявил жене Донского, что он отстранил ее мужа от работы за то, что он обучал заключенных симуляции (позже Семашко через инспектора московских мест заключения И. М. Фейнберг взял свои слова обратно и извинился перед Н. М. Донской). И. М. Фейнберг же заявила на конференции медицинского персонала Бутырской тюрьмы, что Донской был отстранен от своей должности потому, что он является видным политическим деятелем.

Подлинные же мотивы действий администрации Донской понимал так: «Но мое отставание околodka от введения общетюремного режима, широкое вовлечение в обслуживание околodka самих заключенных по специальностям — врачи, фельдшеры, аптекари, массажисты, особая отчетность и бухгалтерия (к которым привлечены были кооператоры и бухгалтера), строгий учет получаемых продуктов, институт контроля со стороны старост и т. д. — все это было в тюрьме необычно, как и сама идея околodka. Низшая администрация продолжала смотреть на это дело как на „блажь“ и этот взгляд передавался вверх. Естественно, что и доносы стремившихся в личных целях доносчиков-заключенных (стремление обелиться в собственных преступлениях) использовать эту атмосферу неблагожелательства к околodka сыграли свою роль, особенно при смене высшей администрации. Привлечение мною к работе главным образом социалистов, сидящих по политическим причинам, тоже раздражало. Но ведь я не мог особенно доверять заключенным по обвинению в общеуголовных преступлениях или в преступлениях по должности. Из среды последних и вербовались обыкновенно кадры доносчиков-добровольцев. Быть может, не без влияния оставалось постоянное стремление ускорить дело или добиться освобождения тех больных, которые были, по моему мнению, либо неизлечимыми больными, либо случайно арестованными, либо уже отбывшими свой срок по приговорам, но с затерянными ордерами. Красный Крест в тюрьму не допускался все лето, и я обращался либо к комендатуре, либо через старшего врача к соответствующим следователям. В огромном большинстве случаев результаты были положительные. Хоть это и не входит в прямые обязанности врача, но мне думается, такой деятельности врачей не следовало бы ставить препятствий...»¹⁵⁰.

Еще одно весьма распространенное заблуждение связывает напрямую строгость режима и тяжесть пребывания в тюрьме для заключенных. Но считать самым тяжелыми Петропавловскую и Шлиссельбургскую крепости или Внутреннюю тюрьму ГПУ в середине 20-х годов, хотя именно они славились своим «образцово-показательным» порядком и «завинченным» режимом в отношении политзаключенных, было бы слишком прямолинейно. Дело в том, одновременно с этими «образцово-показательными» тюрьмами, находящимися под боком у начальства, были сотни тюрем в медвежьих углах, где процветали антисанитария, голод, воровство и самодурство начальства, жившего по поговорке «закон — тайга, прокурор — медведь». Да, режим Петропавловской крепости был крайне

суров в ограничении свобод заключенного, но начальство этой особой тюрьмы, как правило, не позволяло себе опуститься до такой обыденной в других тюрьмах вещи, как воровство продуктов из тюремного котла, не позволяло себе диких эксцессов по отношению к заключенным и т. п. В этом смысле показательна благодарность Е. К. Брешко-Брешковской и слова ее адвоката А. С. Зарудного, высказанные заведующему арестантскими помещениями Петропавловской крепости полковнику Г. А. Иваншину и записанные им: «9 декабря 1909 г. от Брешко-Брешковской имел свидание наедине, как ее защитник, присяжный поверенный Зарудный в моей служебной квартире. Сидел часа два с половиной. Просясь со мной в прихожей, он сказал: „Мне всегда бывает приятно слышать, когда арестованные говорят о вас хорошо, когда они отзываются о вашем гуманном обращении с ними“. Я ответил, что я исполняю только свой долг, делаю только то, что требуется инструкцией для содержания арестованных; никаких им послаблений не делаю, но и не ухудшаю их положения больше, чем то требуется инструкцией. ...3-го января 1910 года я обходил камеры Трубецкого бастиона и зашел также к „бабушке“ Брешко-Брешковской. Когда я хотел уже уходить, она задержала меня и сказала: „Простите, что я позволяю себе высказать вам прямо в глаза. Я никогда не надеюсь на будущее, а потому позвольте в настоящее время выразить вам раз и навсегда мою глубочайшую благодарность за то внимание, которое вы мне оказывали. Я никогда его не забуду. Я осознаю, что если я еще уцелела, то только благодаря вашим обо мне заботам и вашему вниманию. Я навсегда сохраню об вас память, как об самом лучшем заведующем, которого я когда-либо в жизни своей встретила (она отбыла 20 лет каторги). В канун нового года я вспоминала вас“»¹⁵¹.

Впрочем, нет правил без исключений — достаточно почитать, какими эпитетами награждает Л. Дейч тюремного врача Петропавловки, который в 1894 г. не разрешил ему пользоваться очками для чтения, несмотря на врожденную аномалию зрения¹⁵².

А вот пример того самого «медвежьего угла», в котором, как ни старайся, человеческих условий в тюрьме не создашь. В 1924 г. один из осужденных по процессу — А. В. Либеров, был отправлен в ссылку, но попал в результате в тюрьму в Казахстане. В письме Саре Гоц он писал 20 октября 1924 г. из Акмолинской тюрьмы (до революции это была общественная баня): «Прежде всего — грязь и вонь. Сидят в огромном большинстве киргизы, нередко совсем без белья, одетые просто в шубу на голое тело, иногда мехом наружу. Вшей выколачивают палками. Мое главное занятие — также охота за вшами. <...> Блохи столь отяжелели, что даже не прыгают. Капитально утром и вечером, днем же эпизодически, но почти непрерывно, ловлю и уже не бью, а топлю в маленьком зловонном боченочке, заменяющем парашу. Разумеется, без крышки. Уборной, где бы можно было умыться, нет. Отхожее место во дворе, утопает в благорастворении.

Камеру для меня прибрали, побелили, дали койку — вообще сделали, что можно — и все же меня непрерывно тошнит. Московская инструкция, примененная здесь в существующих условиях, несообразных уж ни с какими инструкциями, создала для меня положение, бесконечно худшее сравнительно с нашим московским режимом.

Москва писала, по-видимому, тоже не очень точно. Так, например, моя прогулка из 3-х часовой превратилась в 2 1/2-нную. Но я не пользуюсь и этим временем, т. к. на время моей прогулки весь двор очисляется от гуляющих, которые водворяются в свои камеры, где ужасно скученно.

Мне непереносима мысль, что я так ухудшаю положение всех заключенных тюрьмы и потому свел свою прогулку к минимуму. В отхожее место выпускают только днем, тоже с разгоном всех гуляющих. <...>

Местная администрация и ГПУ делают все возможное, чтобы создать для меня сносные условия заключения; но от этого мое положение не улучшается до желательной степени и не может быть улучшено (одно слово не разобрано, но очевидно — пока. — *К. М.*) существует московский пункт „строгой изоляции“¹⁵³.

Другой пример еще более показателен, так как дело происходило не в далеком Казахстане, а в Краснодаре, в центре города, где чекисты сознательно создали скотские условия жизни, мстя за удачный побег одного из заключенных. Некто, скрывшийся под псевдонимом «Х.Х.Х.», писал в январе 1921 г. в перехваченной чекистами заметке в эсеровскую прессу «В коммунистическом плену (Письмо из Кубанско-Черноморской „ЧеКа“)». «В атмосфере самого грубого обращения чинов караула с заключенными, уснащаемого самой отборной мужицкой площадной бранью — “в бога мать” и пр., люди скотски целый день валяются под нарами, на нарах, в проходах. Прогулок нет, если не считать весьма редкие неперидические, всецело зависящие от каприза караула 5—10-минутные проверки наличного числа заключенных во дворе. Круглые сутки гнилой спертый воздух, от которого с непривычки или после долгого пребывания на свежем воздухе кружится голова. Да это и понятно: физиологические потребности круглые сутки отправляются в „парашу“. Правда, есть выводные караульные, но... факт остается печальным фактом. В то время, когда с тротуаров улицы у чеки сметается каждая пылинка, во дворе чеки и в камерах непролазная грязь. Камеры не моются <...>. Бани нет. <...> Все мы обовшивели, обросли грязью. К сожалению, нет в достаточном количестве не только кипятку, которого мы нередко не видим, но простой воды. <...> Что касается пищи, то помимо ее отвратительности (хлеб дается черствый, едва поддающийся ножу), суп с признаками обрезков мяса, но самое главное, в скотских условиях: пища приносится в камеру в тех самых ведрах, из которых ежедневно моются коридоры и полы присутственных комнат чеки. И, как бы для полного ансамбля, все это раздается и разливается рядом с „парашей“, в атмосфере вони и грязи. Только голод берет чувство безразличности и заставляет прикасаться к казенной пище. Не так давно эта пища отдавала запахом какого-то лекарства. Объяснялось это просто — в ведре, в котором принесена была пища, мыли полы амбулатории чеки, в которой делали какие-то перевязки больным. У нас в камере много сифилитиков, есть и тифозные, завелась чесотка. Лечим своими „средствами“. Что же касается врача чеки, то она далека от всего этого, хотя бы должна знать об этом. Жалобы на все это подавались неоднократно, но бесполезно. Когда один из товарищей обратился к врачу чеки за помощью от воспаления среднего уха, то получил краткий ответ: „Мы уши не лечим — зеркал нет“. Обращавшиеся больные глазами слышали ответ: „Здесь не глазная лечебница“, а больных зубами она „шутливо“ успокаивает: если выйдете на волю, то тогда будете лечить, а здесь мы такой пустаек не лечим».

Отрывок из другого письма оттуда же... «Армавирцы — эсеры, выдавшие „виды“ царской власти, испытывавшие прелести пересылок и центральных тюрем и этапов, в один голос заявляют, сидя в чеке: год заключения в тюрьме при царской власти равен месяцу сидения в чеке, по лишениям и издевательствам над заключенными, в которых с ноября месяца начали ухищряться администраторы чеки»¹⁵⁴.

Безусловно, сиделец Акмолинской тюрьмы образца 1924 г. и Краснодарской ВЧК 1920—1921 гг., мог только мечтать о таких сверхрежимных тюрьмах, как Шлиссельбург, Петропавловка или Внутренняя тюрьма ГПУ. Таких примеров (в том числе и из более раннего и, наоборот, более позднего времени можно привести много). Впрочем, социально-бытовые условия Внутренней тюрьмы ВЧК, скажем, зимой 1920 г. чувство зависти тоже могли вызвать далеко не у всех. Приемная дочь В. М. Чернова, угодившая туда зимой 1920 г., вспоминала о том, в каких условиях пришлось сидеть ей вместе с двумя сестрами и матерью О. Е. Колбасиной, женой В. М. Чернова, которых арестовали в качестве заложников вместо него: «Дверь снова открылась, и часовой принес нам три жестяных кружки с черноватой жидкостью (чай) и на оббитой эмалированной тарелочке три тщательно отвшанных осьмушки черного сырого хлеба, с приколотыми к ним деревянной палочкой довесками, величиной в косточку домино. Красноармеец пересчитал нас, тыча пальцем:

— Одна, две, три, — и прибавил, указывая на Адю: — Ребенок не считается.

Так, в течение всего нашего заключения, ребенок продолжал „не считаться“, и на четырех нам выдавали три порции питания. **Я не думаю, чтобы это было мерой притеснения или желанием тюремных властей сделать режим строже, — попросту это было последствием правил. Ребенка не имели права арестовывать, следовательно, он как бы не существовал** (выделено нами. — *К. М.*). Так или иначе, при недостаточном пайке это усиливало наш и без того острый голод.

...В нашей камере <...> было полутемно. Окно, заделанное прочной решеткой, выходило почти на уровне пола на узкий дворик. Под потолком горела день и ночь ничем не защищенная лампочка. <...> Пол настолько промерз, что приходилось все время сидеть на нарах, поджав ноги.

После обеда, состоявшего из серого капустного супа, сваренного на селедочных головках, и жидкой пшенной каши с зеленоватой каплей конопляного масла, конвойный принес охапку дров и постарался разжечь печку, но сырые дрова горели плохо и не давали тепла. А на дворе стоял мороз. На ужин нам принесли тот же самый, но еще более разжиженный суп. Мы легли спать на голые нары; ничем не покрытые, мы теснее прижались друг к другу, стараясь согреться»¹⁵⁵.

Оказавшийся в этой же тюрьме весной 1921 г. Ф. Ф. Федорович писал в заявлении уполномоченному 3-го Отделения СО ВЧК Кожевникову: «Уже больше недели я сижу в полном безделии, без книг, без газет, без прогулок (и согласно ...п. 10 тюремных правил не получу их) сплю не раздеваясь в грязном белье на голых досках, не имею ни мыла, ни полотенца, не говоря уже о других мелочах (Далее документ поврежден. — *К. М.*)»¹⁵⁶. Но все его обращения были гласом вопиющего в пустыне и тогда, действуя по принципу «спасение утопающих — дело самих утопающих», Федорович написал доверенность на имя С. Н. Гоц (жены члена ЦК А. Р. Гоца) — весьма своеобразный документ, сочетавший в себе как официальный текст, предназначенный для чекистов, так и обращение к С. Н. Гоц: «Доверенность.

Я нижеподписавшийся доверяю получить все мои вещи, находящиеся в моей бывшей квартире по Никольскому переулку (около Арбата) д. 10 кв. 6 Кухтериной Саре Николаевне Гоц. 15/ VI 1921.

Дорогая Сара Николаевна, простите, что я Вас затрудняю, но я не придумую, кому еще доверить. Пожалуйста, перешлите мне белье, сапоги, грешок, одеяло, подушку, мыло, зубную щетку, а костюмы и шубу сохра-

ните у себя. Еще раз извиняюсь за беспокойство. Желаю всего хорошего. Жму руку. Флор Федорович»¹⁵⁷. Но чекисты эту доверенность не стали передавать С. Н. Гоц, а подшили к делу Федоровича.

Арестованных летом 1920 г. членов ЦК ПСР, очевидно, для надежности содержали при Секретном отделе ВЧК, 3-е отделение которого и ловило эсеров. Об условиях их содержания нам известно немного — то, что содержалось в заявлении эсеров-бутырцев, объявивших в августе 1920 г. голодовку протеста, протестуя против невыносимых условий, устроенных для эсеров-цекистов, и подвергшихся наказанию за это: «Одиннадцатого августа сего года теми из нас, кто находился в Бутырской тюрьме, была объявлена с 12-го августа голодовка с требованием прекратить насилие и издевательства над членами ЦК нашей партии, находившимися в **особом положении в заключении при Особом Отделе ВЧК — без свежего воздуха, без прогулок, с замазанными окнами — в течение всего лета** (выделено нами. — К. М.). Мы требовали их перевода в Бутырскую тюрьму и применения общего с нами режима, являющегося плодом многомесячной борьбы нашей за существование». Для срыва голодовки и протеста в целом (и наказания протестующих) чекисты отправили заключенных эсеров из Бутырской тюрьмы в Ярославскую, оказавшуюся форменным адом. В заявлении коллектива с.-р. Ярославской тюрьмы от 23 сентября 1920 г., адресованного в Президиум ВЦИК, а в копиях «всем Центр. Комит. всех социалист., коммунистических партий и Коминтерна», они писали: «Члены Коллегии ВЧК и ее следователи и ответственные представители РКП многократно заявляли и нам, и нашим родным, что нашими арестами и заключением они преследуют лишь цель изоляции нас для устранения „вредного влияния“ нашего на массы, а потому-де нам представляются всякие льготы по сравнению с общеарестантским положением. Они-де стремятся так устроить нашу жизнь на время этой изоляции, какое, якобы, „диктуется внешним и внутренним положением советской России“, чтобы ни наше здоровье, ни жизнь, ни наши научно-литературные труды не потерпели никакого ущерба. Такова теория, а вот и практика за последние только шесть недель: для многих из нас эта практика длится уже восемнадцать месяцев и дольше». Далее в заявлении сообщалось о совершенно невероятных тюремных реалиях бывшего Ярославского каторжного центра: «Канализация, вода, отопление не действуют; нечистоты из переполненных ям выливаются обратно в уборную, и вытекают в коридор, отравляя воздух и во дворе под окнами и в здании. Всюду вонь, грязь, нечистоты. Только в ожидании комиссии (которая нас даже не опрашивала) экстренно 23 сентября все помыли, почистили (товарищей, отказавшихся гулять в загаженном нечистотами дворе, лишили прогулки — последнего получаса чистого воздуха). Непригодный для жилья даже летом, корпус станет невыносимым для нас, лишенных в большинстве теплой одежды, белья, валенок, рукавиц и т. д. зимой. Несколько ряд кряду здание не отапливалось, стены промерзли и отсырели, а при теперешнем топливном кризисе его никакой топкой не доведешь в случае даже исправности отопления до голодной нормы + 8 град. (для которой нужно 8—10 сажень дров в день, а дров в запасе нет). Изолированные друг от друга, без свидания и переписки с родными и близкими, лишенные возможности заниматься в сырых, холодных одиночных камерах, под замком, с полчасовой прогулкой, мы вдобавок обречены на медленное, но тем более ужасное истощение от голодания. Передач с воли регулярных нет, а без них и нормального тюремного пайка никогда нигде не хватало. Здешнее же общетюремное питание значительно хуже московского. Мы получаем сейчас 1 ф. хлеба и 2 раза в сутки

суп с небольшим количеством овощей и рыбьими костями. Рыба, на которой варится суп, систематически так разваривается, что даже отдельных мышечных волокон не найдешь. Соли выдается $\frac{2}{5}$ зол., сахару менее одной конфеты ($1\frac{1}{5}$ зол.) далеко не ежедневно; ни крупы, ни муки, ни приварок, ни жиров, ни картофеля, ни мяса, ни рыбы — кроме отдельных косточек, как сказано, мы не получаем. Табаку и спичек совсем не выдают. Немудрено, что истощение заметно уже отразилось на здоровых и резко ухудшило состояние здоровья больных, особенно туберкулезных, которых среди нас, подорванных многолетней каторгой и тюрьмами царского режима, больше 25% (выделено нами. — К. М.). <...>

Не лучше общего и больничное питание, так как там, несмотря на большую выдачу продуктов по норме, «уварка» процветает в гомерических размерах и до рта больных доходит такое количество, что больные также голодают на больничном столе, как и остальные (Общепюремный паек составляет 1113 кал., больничный 1250—1300, голодная норма 2400—2500).

Осуществить контроль над раздачей и хранением выдаваемого, как это было в Бут. тюрьме, где в течение года нам удалось совершенно искоренить воровство и на общей и в больничной кухне, тут невозможно, ибо мы „в одиночках“ „строго изолированы“ от остальной тюрьмы и наш староста еле терпится. <...> По распоряжению коменданта ВЧК нас переводить можно только тогда в больницу, когда у больного температура не ниже 39°. Таким образом, больные острой формой туберкулеза с кровохарканием, чахоткою горла, открытым туберкулезом, раком матки и т. п. должны быть лишены больничного питания и лечения (выделено нами. — К. М.)¹⁵⁸.

Аналогичная история повторилась и в апреле 1921 г., когда политзаключенных Бутырской тюрьмы насильно развезли по нескольким тюрьмам. В заявлении группы политических заключенных Владимирской губернской тюрьмы, переведенных из Бутырской тюрьмы, в Президиум ВЦИК» от 30 апреля 1921 г. говорилось: «Вся обстановка нашего увоза из Бутырок и та обстановка, которая окружает нас во Владимире, дают право утверждать, что сейчас речь [идет] уже не о нашей изоляции, а о мерах, направленных к нашему физическому уничтожению»¹⁵⁹.

С чем же столкнулись политзаключенные во Владимирской тюрьме? Примерно с тем же самым, что их товарищи за полгода тому назад в Ярославской (нельзя не отметить тот характерный факт, что имевшие дореволюционный тюремный стаж социалисты, естественно сравнивали «старые» и «новые» тюрьмы, и сравнение было отнюдь не в пользу последних): «Заклученным вовсе не дают кипятку», «уборные заперты. До недавнего времени заключенные отправляли свои естественные надобности, где придется, в разных местах двора. Дней 10 тому назад на дворе были вырыты для этой цели две ямы (без всяких загоронок), в несколько дней наполнившихся до краев и распространяющих зловоние по всему двору», «вода в колодце, которую вынуждены пить сырой, мутная и грязная <...>. Ямы, заменяющие уборные, начинаются в 25 шагах от колодца и жидкость и грязь из ям неизбежно должна просачиваться в колодец», «никаких приспособлений для умывания нет», «питание в тюрьме почти отсутствует (заключенные питаются в сущности одним хлебом, выдаваемым в количестве 1 фунта в день)», «освещения в камере нет», «бани и прачечные не функционируют и мыть белье негде и нечем, т. к. нет мыла», «в тюремной больнице уже более 10 тифозных больных, а в городе распространяется дизентерия, которая неизбежно проникнет в тюрьму», «в тюремной больнице нет многих самых необходимых лекарств, не хватает воды и элементарного оборудования»¹⁶⁰.

Часть заключенных из Бутырок была увезена в Орловскую тюрьму. Упомянутая уже левая эсерка Ксения Троцкая описывала в письме к мужу свою «непрестанную войну» за право держать волчок закрытым изнутри: «Ты не можешь себе представить, какой борьбы мне это стоило. Меня хотели вязать, стрелять, но, видимо, все же не решились, т. к. им пришлось бы меня тогда просто убить наверняка. Кончилось дело тем, что ко мне явился комендант ГЧК и после моего с ним объяснения сказал, что отдаст распоряжение, чтобы меня не тревожили. За улучшение режима голодало здесь до 80 человек, т. е. все оставшиеся здесь в то время, остальных увезли. Мы голодали 9 дней — голодовка [всухую], т. е. ни капли воды. Анархи и меньшевики голодали с водой и потому перенесли ее легче, мы же, левики, были очень плохи. Четверо из наших и я в том числе, были очень плохи, боялись за жизнь, кое-как тянули впрыскиванием камфоры. Результатов никаких, никто даже не приехал и через 9 суток голодовку сняли»¹⁶¹.

Но, пожалуй, главный вывод, к которому приходили измученные, но не сломленные тяготами тюремного режима социалисты, был сформулирован летом 1921 г. в перехваченном чекистами письме эсера-бутырца: «<...> Тягостное настроение создается неустроенностью моих личных дел, заманчивостью погоды, **нелепо тяжелым режимом, ставящим нас, как париев, как отверженных в условия не только изоляции от всех прочих, но и лишения многих необходимых прав, бывших неотъемлемыми даже у узников старого времени. На все льготы и вольности наложено вето для социалистов, в то время как вся прочая, уголовная, спекулятивная, не говоря уже о коммунистической, публика содержится в довольно легких условиях** (выделено нами. — К. М.). Мы без прогулок (отказались от одиночных, требуем общих), тогда как другие гуляют свободно чуть ли не по нескольку раз в день; даже без права попасть в уборную, когда нужно — соблагovolите дожидаться известного часа, когда дойдет очередь и не чаще трех раз в день; без свиданий (требуем личных, а не через решетку); на совершенно голодном пайке; **конечно, все это, с одной стороны, чрезвычайно возмущает и подогревает ненависть к власти имущим, для которых нет, видимо, тягчайшего преступления, как быть социалистом, а, с другой стороны, создает в нас боевое настроение, пока сдерживаемое** (выделено нами. — К. М.)»¹⁶².

Вот на таком фоне и складывался режим «особой изоляции», который на самом деле содержал в себе не только комплекс мер по изоляции осужденных эсеров. Сотрудники Секретного отдела ГПУ определили весь круг социально-бытовых условий «особоизолированных», включая питание и количество выводов в уборную. Особенно странное впечатление производит то, что даже нормы питания для осужденных (что уж никак нельзя отнести к проблеме «изоляции») были определены не ВЦИКом, не Наркоматом юстиции, не Наркоматом внутренних дел, не — в крайнем случае — Коллегией Президиума ГПУ (ведь речь шла о ведомственной тюрьме), а руководством структурного подразделения ГПУ, которое и ловило этих эсеров. Думается, власти спасало от гнева общественного мнения Европы только то обстоятельство, что подобные «мелочи» прятали под грифом «совершенно секретно». 8 августа 1922 г. пом. нач. СО ГПУ Андреева представила начальнику СО ГПУ Самсонову «норму пайка для осужденных по делу ЦК ПСР», которую находила «вполне достаточной», и просила утвердить¹⁶³.

По мнению Андреевой, на одного человека в день следовало отпускать: «Хлеба — 1 ф. 60 зол. Сахар — 3,2 зол. Мясa или рыбы — 28,8 зол. Пшeна — 6,4 зол. Гороху — 16 зол. Жиров — 3,2 зол. Соли — 5,6 зол. Кофе — 1,2 зол. Мыло — 1,4 ф. на месяц»¹⁶⁴. Но Уншлихту, утверждавшему

норму продуктов, их количество показалось слишком маленьким и для сравнения им была взята некая «раскладка продуктов для санаторных на 1-го чел. на 1 день» (о каком санатории идет речь, из документа неясно, но очевидно для сотрудников ГПУ): «Хлеба — 1 ф. 60 зол. Мясо — 1 ф. 12,8 зол. Жиров — 16 зол. Крупы — 48 зол. Сахару — 15,2 зол. Сух. фруктов — 36 зол. Муки подпр. — 4 зол. Соли — 6 зол. Муки картоф. — 8 зол. Яиц — 2 $\frac{1}{2}$ шт. Кофе — 0,8 зол. Мыло — 1,4 ф. На месяц». Из этой раскладки Уншлихт вычеркнул сухофрукты, муку картофельную и яйца. Любопытно, что сначала он вычеркнул и кофе, но потом вернул его¹⁶⁵.

По представленной 26 августа 1922 г. Андреевой и утвержденной тогда же Самсоновым и Уншлихтом новой раскладке, заключенным эсерам предполагалось выдавать: «Хлеб — 2 ф. Мясо — 52,4 з. Жиров — 11 зол. Крупы — 24 зол. Сахару — 12,5 зол. Муки подпр. — 2 зол. Соли — 6 зол. Кофе — 0,8 зол. Мыло — $\frac{1}{4}$ ф. на м-ц»¹⁶⁶. Из первоначальной раскладки Самсоновым были вычеркнуты: сухофрукты — 18 зол., мука картоф. — 4 зол., яйца — 1 шт. В сопроводительной записке Андреевой отмечалось, что «в переводе на калории на одного человека приходится — 2500 калорий. Эта норма питания совершенно достаточная для человека, работающего физически. В счет не вошли яйца, соль, кофе, мыло как продукты, не дающие калорийности»¹⁶⁷. На документе стояла резолюция Самсонова от 29 августа 1922 г. — «Андреевой. К исполнению».

Но изменения продолжали вноситься. На одном из черновиков с расчетами, очевидно, сделанных Андреевой, предполагалось последнюю раскладку обогатить 1 фунтом овощей и 3 золотниками лука¹⁶⁸. Представленная 1 сентября 1922 г. на утверждение Уншлихта раскладка вновь подверглась изменениям — он собственноручно вставил в нее 400 шт. папирос и 3 коробка спичек в месяц. Но овощи, фигурировавшие в предложениях Андреевой 29 августа, в предложенный Уншлихту вариант не попали. Г. Ягода поддержал эту раскладку, наложив 1 октября 1922 г. следующую резолюцию: «Согласен. Для всех политзаключенных. Провести через Наркомпрод». Кроме этого он увеличил в два раза норму мыла с $\frac{1}{4}$ до $\frac{1}{2}$ фунта в месяц. После всех вытарств и утверждений раскладка стала выглядеть так (по ней стали кормить «осужденных с.-р.» уже с 1 сентября 1922 г.): «Хлеба — 2 ф. Мяса — 52,4 зол. Жиров — 11 зол. Крупы — 24 зол. Сахару — 12,5 зол. Муки подправочн. — 2 золот. Соли — 6 зол. Кофе — 0,8 зол. Мыла — $\frac{1}{2}$ ф. на мес. Папирос — 400 шт. в мес. Спичек — 3 кор. в мес.»¹⁶⁹.

Таким образом, мы видим, что хотя окончательные размеры пайка оказались выше, чем в первоначальном варианте Андреевой, они, конечно же, были существенно ниже (кроме хлеба), чем санаторные пайки. Отметим это особо, потому что сравнение с санаторной раскладкой так запало в душу чекистам, что позже, когда цифры из памяти изгладились, они стали говорить о курортном питании заключенных. Напомним также, что из запланированного на 2500 калорий пайка была изъята часть продуктов (сухофрукты — 1 фрукт, мука картоф. — 4 зол., 1 яйцо)¹⁷⁰.

Переведем эту раскладку на более привычную нам меру веса, для того чтобы можно было проследить эволюцию тюремного пайка политзаключенных, сравнив раскладку 1922 г. с раскладкой 1925 г., выполненной уже в граммах. В пересчете на граммы (золотник — 4,2 грамма, фунт — 410 граммов) раскладка 1922 г. выглядит следующим образом (сотые доли округляем): хлеба — 820 гр., мяса — 220 гр., жиров — 46,2 гр., крупы — 100,8 гр., сахара — 52,5 гр., муки подправочн. — 8,4 гр., соли — 25,2 гр., кофе — 3,36 гр., мыла — 205 гр. на мес.

А вот как выглядели нормы питания политических заключенных, утвержденные начальником тюремного отдела ОГПУ Дукисом 9 октября 1925 г.¹⁷¹: хлеб черный — 600 гр., мясо, рыба, сельди — 200 гр., жиры (масло животн. и растительное) — 34 гр., крупа (пшено, ядрица и рис) — 136 гр., овощи (картофель, капуста) — 400 гр., соль — 25 гр., мука подправочная — 10 гр., перец — 1/2 гр., лавровый лист — 1/2 гр., лук — 5 гр., чай — 3 гр., сахар — 34 гр., папиросы — 400 шт. в месяц, спички — 3 коробка в месяц, мыло — 200 гр. в месяц.

Исследовавший питание в лагерях и тюрьмах Советской России А. С. Смыкалин пишет: «Из доклада начальника Камышловского исправдома от 12 октября 1924 г. видно, что „пища заключенным выдается следующим порядком: в 6 часов утра хлеб, после хлеба кипяток, в 12 часов суп, в 5 часов кипяток...“. Так обстояло дело фактически, а теоретически на бумаге все выглядело не так удручающе. Нарком юстиции Д. И. Курский 7 октября 1922 г. подписал Циркуляр № 96 „О нормах питания заключенных“, согласно которому на одного человека в день должно было отпускаться следующее количество продуктов.

№ п/п	Наименование	Количество продуктов	Энергетическая ценность (в кал)
1	Хлеб	1 фунт (409,5 г)	840
2	Крупа	32 золотника (136,5 г)	486
3	Мука подправочная	11,6 золотника (49 г)	24
4	Мясо	32 золотника (136,5 г)	188
5	Корнеплоды	48 золотников (204,8 г)	86
6	Картофель	1 фунт (409,5 г)	384
7	Жиры	4,8 золотника (20,5 г)	156
8	Чай	0,2 золотника (0,9 г)	—
9	Сахар	3,2 золотника (13,7 г)	56
10	Соль	3,2 золотника (13,7 г)	—
11	Лук	2,0 золотника (8,5 г)	—
Итого			2220

Для заключенных, занятых трудом (не исключая и хозяйственные бесплатные работы), вышеуказанная норма питания увеличивалась дополнительной выдачей каждому работнику: хлеба — 0,5 фунта (204,8 г), мяса — 16 золотников (68,3 г), овощей — 0,5 фунта (204,8 г).

В первые годы Советской власти большевики сохраняли еще „трегательную заботу“ о своих политических противниках, а точнее, бывших соратниках по революции 1917 г. <...> Таким образом, согласно Цирюляру,

питание политических заключенных было не только более калорийным, но и более разнообразным. Правда, возникает сомнение: выполнялся ли когда-нибудь этот Циркуляр»¹⁷².

Действительно, сами по себе раскладки (хоть дореволюционные, хоть советские) еще не гарантировали, что будет закуплено (в царское) или получено (в советское время) подобающее количество продуктов подобающего качества, что продукты не будут разворованы тюремным персоналом (или втайне от администрации, или в сговоре с ней). В советское время тюремные повара, опасаясь наказания за прямое расхищение продуктов, порой находили достаточно хитроумные способы. Так, например, в одном из заявлений Ф. Ф. Федоровича, когда цекисты находились еще в, можно сказать, элитной Внутренней тюрьме ГПУ, указывалось, что несмотря на наличие в супе волокон мяса, говорить о мясном бульоне не приходится. Проще говоря, повар долго вываривал мясо, оставляя его заключенным, а большую часть бульона забирал себе, разбавляя остатки кипятком. Таким образом, схватить повара за руку было непросто, так как внешне суп с плавающими в нем волокнами мяса выглядел вполне пристойно, а по сути все самое ценное из него было уже украдено. О степени калорийности такого бульона нетрудно догадаться.

Конечно же, политзаключенных спасали передачи родных, ухитрявшихся в это голодное время находить деликатесы. Вот какие продукты собирались передать 22-м осужденным по делу ЦК ПСР их родственники, ссылаясь на то, что «если в получаемом тюремном пайке и достаточное количество калорий, то однообразие его при отсутствии движений неизбежно должно повлечь за собой целый ряд заболеваний в виде цинги и болезни обмена веществ»: масло, сыр, мясо или колбасу, чай, сахар, кофе, консервированное молоко (лучше и дольше сохраняется), белый хлеб, сухари, лук, чеснок, яблоки, селедка, горчица, перец, уксус, порошок рыбий жир. Любопытно, что им было запрещено передавать консервированное молоко (возможно, потому, что молоко можно применять для тайнописи), а уксус из перечня вычеркнут не был, хотя в концентрированном виде он весьма успешно мог быть применен для самоубийства¹⁷³.

Попробуем сравнить питание политзаключенных 20-х гг. с каторжным рационом царского времени. Бывшие каторжанки Радзиловская и Орестова в своих воспоминаниях приводят нормы, по которым кормили каторжанок в 1907—1917 гг.: «Официальная раскладка для приготовления пищи в тюрьмах Нерчинской каторги на одного человека (неработающего) в сутки показывала: хлеба — ок. 1 кг., мяса — 130 гр., крупы гречневой — 30 гр., картофеля — 100 гр., соли — 35 гр., сала топленого — 10 гр., луку репчатого — 12 гр., чаю — 4 гр., перцу — 2 гр. на 10 человек, лаврового листа — 1 гр. на 10 человек, капусты — 100 гр.

Фактически же, кроме ржаного хлеба, казенная порция к обеду сводилась к щам из гнилой капусты с микроскопическим кусочком супного мяса, большей частью с душиком. На ужин была гречневая каша, скорее похожая на густой суп, а в холодном виде на кисель. Только по большим праздникам каша заменялась пшенной кашей¹⁷⁴.

А вот как каково было питание в столичном Доме предварительного заключения в 1894 г., по свидетельству эсера Л. К. Чермака, вспоминавшего об этом уже в советское время: «В первый же день мне принесли синюю бумажку с пометкой суммы денег, отобранных у меня в крепости, список вещей, взятых в цейхгауз на хранение, и мое постельное белье. Тут же мне объяснили, что я могу пользоваться моими деньгами при заказе обеда, покупке

различных продуктов и вещей. Так как денег у меня было немного, то я брал обед из кухмистерской, стоивший 30—35 коп., раза 3—4 в неделю, а в остальные дни ел казенный обед, обычно состоявший из похлебки с кусочками неважного мяса и каши, далеко не такой вкусный, как в крепости. Но и первое и второе было много лучше, чем теперь в закрытых столовых»¹⁷⁵.

§ 3. ПЕРВАЯ ФАЗА БОРЬБЫ: «ВОЙНА ЗАЯВЛЕНИЙ» (август 1922 г. — январь 1923 г.). СЛУХИ О САМОУБИЙСТВЕ Е. М. ТИМОФЕЕВА И ДАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ ЗАПАДА

Подробно разбиравшаяся выше инструкция по содержанию «особо-изолированных» тотчас же пришла в противоречие с действовавшими до того нормами, на что немедленно отреагировали заключенные. Будучи изолированы друг от друга, борьбу они начали каждый самостоятельно.

Так, уже 18 августа 1922 г. М. Я. Гендельман в своем заявлении в Верховный Трибунал дал весьма колоритное описание тюремного режима, считая его «ни чем иным, как применявшимся лишь в виде наказания к заключенным карцерным режимом старого строя». Он писал: «В отношении нас, осужденных по делу Ц.К. П. С. -Р., во Внутренней тюрьме Г. П. У. установлен режим, специально, видимо, приноровленный к тому, чтобы вынудить нас на голодовку, с целью, надо думать, внести этим корректив в постановление Президиума ВЦИК о приостановлении исполнения над нами смертного приговора.

1. Во Внутр[еннюю] тюрьму нас доставили непосредственно из зала заседаний Трибунала после приговора. Нам не дали, так[им] обр[азом], возможности захватить с собой самые необходимые из вещей, оставшихся в тюрьме на Кисельном пер[еулке] и до сих пор нам не возвращенных.

Более того: случайно оказавшееся при мне полотенце было у меня отобрано, а взамен мне было предоставлено висевшее в камере грязное полотенце с явными следами употребления его моим предшественником по камере. Койка была покрыта такой же унаследованной от предшественника, только еще более грязной простыней. Мое полотенце мне возвращено было только на девятый день.

Нет возможности сменить грязное носильное белье, так как мы лишены права получать передачи от родных с воли и передавать им обратно белье для стирки.

2. Мы лишены свиданий с родными и лишены возможности узнать что-либо об их здоровье и судьбе.

3. Мы лишены книг, газет, письменных принадлежностей для занятий. Если все это, не исключая даже газет, предоставлялось нам во время предварительного следствия, то тем менее может быть оправдано такое лишение после суда.

4. После двухмесячного всякого лишения нас прогулок во время процесса мы лишены их и теперь и принуждены круглые сутки проводить в камере без движения. Прежде мы прогулками во Вн[утренней] тюрьме пользовались.

5. Но и этого показалось мало для тех, в чьем ведении мы находимся. На десятый день моего пребывания на окно моей камеры навешен железный щит, хотя повода к этой мере я не давал. Так как окна и без того были замазаны, то в камере постоянный недостаток света.

6. Тогда как во время прежнего пребывания в этой тюрьме, нас выпускали в уборную три раза в день, теперь выпускают только один раз, так[им] обр[азом], зловонная параша круглые сутки отравляет воздух камеры. Других заключенных выпускают не менее двух раз в сутки, утром и вечером.

7. Пищевой режим состоит из хлеба и воды, так как в обед и ужин дают по миске грязной воды, на дне которой можно найти 1, самое большее 2 ложки гороха и рыбью кость. Но здесь я не возбуждаю никакого вопроса об изменении режима, так как для заключенных гораздо большую важность имеет вопрос о свиданиях и книгах, и так как тут приходится по видимому, наталкиваться на непреодолимую традицию: сначала из обеда для заключенных подкармливают тюремный персонал, а остатки доливают горячей водой, и в таком виде представляют заключенным.

8. Я не стану перечислять всей системы мелких, но злостных ущемлений, имеющихся, видимо, единственную цель — вызвать заключенных на эксцессы. Для примера укажу на самое невинное: когда я вчера передал через ст[аршего] надзирателя просьбу дать мне бумаги и чернила для заявления в Трибунал, мне было в этом отказано и только сегодня после обхода камер начальником тюрьмы моя повторная просьба была удовлетворена, при чем ко мне каждый раз шлют надзирателя с требованием кончать скорее заявление.

...Ввиду изложенного я вижу себя вынужденным начать голодовку, если не будет дано разрешение на свидание с родными, на передачи, на пользование своими книгами, газетами и письменными принадлежностями для занятий.

Голодовку начну во вторник, 22-го августа, с утра»¹⁷⁶.

Насколько нам известно, этой голодовки не было. Очевидно, товарищи Гендельмана отговорили его от нее, справедливо полагая, что время этого крайнего средства еще не пришло.

25 августа 1922 г. М. А. Веденяпин в заявлении, адресованном Верховному революционному трибуналу, писал: «Прошу Верх. триб. разъяснить, имеется ли в приговоре постановление о реквизиции моих вещей или нет? Мой вопрос вызван тем, что начальник тюрьмы заявил, что у осужденных не может быть никаких собственных вещей, и вещи, находящиеся в тюрьме, мне не выдаются. Я прошу Верх. триб. указать законный способ получить мне что-либо из одежды, так как я в одной рубашке, как был в суде, так нахожусь и до... (1 слово не разобрано. — К. М.) и мне не выдается ничего, могу ли я получить свой головной убор, могу ли я получить соль, которая у меня имеется в вещах, так же сахар и сухари? В бытность на царской каторге все продукты выдавались арестованному и никогда не реквизировались. Кроме того, прошу выдать из моих вещей кружку или стакан, до сих пор я не имею ровно никакой посуды для питья. Обращаюсь с означенной просьбой к Вам, потому что представитель ГПУ Самсонов, посетив нас 17 и 19 августа заявил, что вещи и книги нам будут выданы, так что очевидно ГПУ не имеет препятствия, а так как мы цсимисы и за Верх. тр., то очевидно, что Верх. триб. сделал соответствующее предписание. До сих пор означенные меры не употреблялись, но, может, это специально применено к социалистам, в таком случае прошу посодействовать получить квитанцию на реквизированные вещи и как-либо сочетать это постановление с особым декретом, в котором говорилось, что у бывших полит. каторжан вещи не подлежат реквизиции. Так же прошу известить меня, имеется ли особое постановление о лишении права читать мне книги? Если такового нет,

то прошу указать, как я могу получать книги? У меня мои книги взяты, насчет тюремных мне заявлено, что здесь только детские, и их мне не выдают...»¹⁷⁷.

Заявление Веденяпина не достигло Верхтриба, а после ознакомления с ним Самсонова и Уншлихта было подшито к делу¹⁷⁸. Такая же судьба ждала все заявления заключенных эсеров, куда бы они их не адресовали — в Верхтриб, в Президиум ГПУ, наркому юстиции или еще куда-то. Чекисты не желали, чтобы в их дела кто бы то ни было вмешивался. Так, например, 28 августа 1922 г. Гендельман написал заявление в Президиум ГПУ: «I. Около двух недель тому назад гражд. Самсоновым было указано, что книги нам разрешены. Между тем до сих пор я не получил ни одной из моих книг, пересланных сюда из тюрьмы в Кисельном пер., ввиду чего прошу о скорейшей выдаче мне указанных моих книг.

II. До полного разрешения вопроса о передачах прошу разрешить теперь же хотя бы передачу раз в неделю одной смены белья.

III. Прошу выдать мне из моих вещей две фотографических карточки моих родных, в свое время просмотренные и допущенные»¹⁷⁹. Самсонов начертал на заявлении резолюцию: «г. Андреевой. Почему вы не дадите книг?», но отправлять заявление адресату ни он, ни Андреева не стали, очевидно не желая посвящать Президиум ГПУ в свои недоработки.

Еще примечательнее была реакция чекистов на заявление Д. Ф. Ракова, писавшего 29 августа 1922 г. наркому юстиции: «По окончании судебного заседания [мы] были немедленно отправлены во Внутреннюю Тюрьму ГПУ. Лишь сегодня от начальника этой тюрьмы мы узнали, что имевшиеся в нашем распоряжении — табак, сухари, чай, кофе — полученные нами в форме передач, оказались конфискованными.

Так как подобные вещи не составляют имущества, подлежащего конфискации для осужденных по 60 ст. Уголкодекса, то прошу распоряжения о выдаче этих вещей для моего личного потребления, так как лишенные совершенно каких-либо передач с воли, мы на одном казенном пайке буквально голодаем»¹⁸⁰. Пересланное Самсоновым Уншлихту заявление Ракова вновь к нему и вернулось с резолюцией Уншлихта: «т. Самсонову. Полагаю выдать. Коменданта взгреть за информацию»¹⁸¹, после чего было подшито к делу.

Не дошло до адресата и совместное заявление Г. Л. Горькова-Добролюбова и М. И. Львова в Наркомат юстиции (копия — в ГПУ) от 8 сентября 1922 г., в котором они описывали условия во Внутренней тюрьме ГПУ:

«1. Окно нашей камеры целиком замазано масляной краской и сверх того закрыто сплошным железным щитом, едва пропускающим свет и воздух. Таково же и ночное освещение слабой лампочкой, находящейся слишком высоко, чтобы хоть изредка заниматься чтением, вследствие чего у одного из нас начался процесс ослабления зрения, а у другого возобновился излеченный было процесс воспаления сетчатки.

2. Мы совершенно лишены не только газет, но и книг, если не считать двух из нашей собственной библиотеки, отобранной у нас, гражд. Самсоновым было указано, что книги нам разрешены. Между тем до сих пор я не получил ни одной из моих книг, выданных на манер пищевого довольствия по норме; книг читанных и перечитанных нами раньше. У нас отнята возможность получать книги с „воли“ из частных библиотек и учреждений; взамен чего ГПУ предполагает организовать библиотеку из наших собственных книг, уже прочитанных нами, что нас не только не может удовлетворить, но и не позволит нам заниматься регулярно ни одной

научной работой, так как книги по различным отраслям наук получались ранее нами из вышеперечисленных, ныне закрытых для нас источников. При таких условиях мы обречены на медленное умственное умирание.

3. Пищевое довольствие, хотя и улучшенное с 1/IX и 5/IX, недостаточно (кроме хлеба, когда он бывает съедобен), и лишение нас „продовольственной“ помощи с „воли“ или из Полит[ического] Кр[асного] Кр[еста] обрекает на хроническое недоедание и без того уже ослабленных долгим содержанием в тюрьмах.

4. Мы лишены до сих пор свиданий с родственниками.

5. Мы получаем получасовую прогулку (фактически меньше), что при слабом доступе воздуха в камеру и присутствии „параши“ даже для здоровых — недостаточно.

6. У нас отобраны все принадлежащие нам вещи, из которых выданы на руки лишь по две пары белья да валенки для ревматика; все же остальные теплые вещи и постельные принадлежности не получены, и мы мерзнем ночью и кутаемся в легкие казенные одеяла днем.

7. Посему просим высший орган юстиции в Республике сообщить нам, входят ли все перечисленные выше условия нашего заключения в понятие „строгая изоляция“ или это явления иного порядка. Если это необходимое дополнение к строгой изоляции, то мы охраняя свое умственное и физическое существование вынуждены будем прибегнуть к единственному у всех заключенных способу борьбы за свою духовную и физическую жизнь»¹⁸².

Н. Н. Иванов в своем заявлении 4 сентября 1922 г. во ВЦИК отмечал, что несмотря на то, что «советская власть неоднократно заявляла, что идея „наказания“ преступника совершенно чужда советскому правосознанию», те условия, в которых содержатся осужденные по процессу 1922 года эсеры (отсутствие свиданий и переписки с родными, лишение книг, а затем выдача по одной и то случайно выбранной тюремщиками из числа ранее отобранных у заключенных, лишение вещей и замена их казенными (подушка, одеяло, белье), невозможность починить порвавшиеся вещи из-за отсутствия иголки и ниток, скудный паек, недавно, правда, несколько улучшенный, но «только настолько, что мучительное чувство голода, которое было раньше, сменилось чувством просто голода» и при этом конфискация всех продуктов вместе с личными вещами арестованных, а также «режим невероятных (даже для внутренней тюрьмы) придинок»: запрещение разговаривать с самим собой, напевать, делать гимнастику, быстро ходить по камере, стоять у закрытого щитом окна), свидетельствуют о том, что цель данного режима «не „изоляция“, а „наказание“ — месть, месть идущая на все, чтобы только причинить боль своему врагу». Ввиду всего этого Иванов «желал: 1) Получить от ВЦИК'а точный текст его решения по нашему делу, и 2) Узнать от него: с его ли ведома и по его ли повелению творятся с нами все те безобразия, о которых я писал выше или это излишнее усердие „красных“ тюремщиков, старающихся, не без успеха, перещеголять своих предшественников»¹⁸³.

Весьма похожего содержания заявление в Президиум ВЦИК отправил 18 сентября 1922 г. и Утгоф. Он жаловался на то, что «лишен дневного света (окно в камере закрашено масляной краской и, кроме того, во всю высоту заставлено железным щитом с полезным отверстием верху окна в 1 1/2 кв. арш.)», «почти вполне лишен свежего воздуха: прогулка четверть часа 1 раз в день», «подвергнут отмененному РСФСР полному одиночному заключению, чего в приговоре Верхтриба не значитя»,

«воспрещены какие бы то ни было передачи с воли», «лишен свиданий даже с женой и детьми», «лишен переписки опять-таки даже с женой и детьми», «запрещена покупка чего бы то ни было за собственные деньги», «фактически запрещена какая бы то ни было работа, т. к. книги выдаются лишь из числа бывших на руках при переводе во внутреннюю тюрьму и не более 2-х книг в неделю, а бумаги выдается 15 листов в месяц с отобранием испанской», администрация «решительно отказывается» сообщить заключенным, на основании каких правил они содержатся.

«Особенно бессмысленно жестоким» Утгоф считал лишение его возможности знать что-либо о судьбе жены и детей и лишение возможности работать. Кроме того, он подчеркивал, что «сидел в Петропавловской крепости, 4 года подряд провел в одиночном заключении, но никогда в царское время не подвергался режиму, подобному установленному ГПУ», выражал уверенность, что «Президиум ВЦИК не может разделять мнение гр-ки Андреевой (помощ. зав. секр.-опер. отделом), что для социалистической республики не обязателен по отношению к политическим заключенным даже тот минимум гуманности, который и в Петропавловской крепости считало необходимым проявлять царское правительство Столыпина», и просил Президиум ВЦИК «отменить незаконные распоряжения коллегии ГПУ» и предписать применять к осужденным эсерам «тот режим „тюремного заключения со строгой изоляцией“, который установлен законами Советской Респуб[лики] и применяется ко всем вообще политическим заключенным»¹⁸⁴. Как и прочие подобные документы заключенных, заявление Утгофа осело в чекистском архиве.

Безусловно, многие новшества, введенные чекистами, не имели ни малейшего отношения к проблеме изоляции заключенных от внешнего мира и являлись, по точному выражению С. В. Морозова, «совершенно ненужной и ничем не оправдываемой жестокостью», которой, прежде всего, и отличался режим содержания в чекистской тюрьме от самых суровых тюрем и каторжных централов царского времени¹⁸⁵.

Для понимания, с одной стороны реалий тюремного быта, а с другой — того, как шла на этом этапе борьба за режим, огромный интерес представляют требования заключенных по улучшению условий своего содержания и реакция на это чекистов. По установленному порядку эсеры передавали свои требования пом. нач. СО ГПУ Андреевой, а та — на решение Уншлихту. Вот два подобных документа (не датированных) в том порядке, в каком они отложились в тематическом деле «Материалы по охране и содержанию осужденных за 1922—23 гг.». В первом, датируемом предположительно августом — сентябрем 1922 г., Андреевой были изложены требования заключенных и ответы Уншлихта, вписанные ручкой напротив каждого пункта (в тексте они выделены курсивом. — К. М.):

1. Выдать подушки собственные и теплое белье и платье. *Выдать.*
2. Белье меняется 2 раза в месяц — находят мало. *Можно 4 раза.*
3. Просят отремонтировать обувь или разрешить получить с воли. *Обувь или будет ремонтир., или выдаваться* (далее слово не разобрано. — К. М.).
4. Дается 2 коробки спичек на месяц просят увеличить. *Можно 3.*
5. Чаю совершенно не выдают, просят дать. *Заменить кофе чаем.*
6. Лихачев (так в документе, следует Лихач) просит вернуть или возместить отобранное при переводе из Кисельного патентованное средство (желудочное). (Два слова не разобраны. — К. М.) *врача.*
7. Просят пересмотреть вопрос о конфискации продуктов, оставленных на Кисельном. *Продукты переданы в* (далее слово не разобрано. — К. М.).

8. Просят дать список книг, чтобы знать, что можно получить. *Скоро будет готов.*

9. Просят парикмахера или безопасную бритву. Я давно требую парикмахера (далее не разобрано. — *К. М.*).

10. Берг просит дать справку сколько будет зачтено пред[варительно-го] заключения, иначе когда кончится срок. *Можно объявить.*

11. Мало соли — просят увеличить. *Считаю достаточно.*

12. Злобин 1) нащитывает (так в документе. — *К. М.*) 5 серьезных болезней и просит еще раз освидетельствовать. 2) просит разрешения работать для кооперативных курсов для чего требуется сношение с т.т. Биценко и Хоменко. *Запросить Наркомзем.*

13. Просят нитки и иголки для ремонта белья и платья. *Нельзя.*

14. Тов. Андреева имеет передать для Морозова учебники. *Выданы только [для] него.*

15. Донской просит разрешить книги по акушерству. *Нет. Когда будет тоже дан* (так в документе. — *К. М.*).

16. Львов и Альтовский просят книг из публичной библиотеки по ест-в. истории. *Нельзя.*

17. Просят увеличить свет ввиду болезни глаз. (Ответ неразборчив. — *К. М.*).

1) О книгах сказано, что могут заказать на волю, но с тем, что они поступят в тюремную библиотеку и на волю не вернуться.

2) О теплых белье и платье, что родственники могут войти в сношение с нами и представить список передаваемых вещей, что можно будет, то разрешится. Я полагаю (слово неразобрано. — *К. М.*) перевести на все полезное»¹⁸⁶.

В другой докладной записке Андреева писала Уншлихту: «При обходе мною камер осужденных по делу ПСР, ими были сделаны следующие заявления:

1) Почти всеми: Давать электричество днем. В камерах действительно так темно, что нельзя записывать, вследствие пасмурной погоды с одной стороны, и заколоченных щитами окон — с другой. Я думаю, что давать свет днем надо.

2) Просят газеты свежие. По инструкции не полагается. Через 6 мес. можно давать.

3) Просят журналы. Я думаю, надо выписать журналы по кооперации, по просвещению — вышедшие до мая — июня с/г.

4) Злобин просит перевести его в больницу.

5) Я не возражаю, поскольку все равно почти ежедневно приходится к нему посылать врача. Никакой опасности со стороны его побега нет.

6) Гоц просит вернуть ему ручку — самописку. Я считаю возможным, поскольку разрешены им бумаги, чернила и перо. Прошу Ваших распоряжений»¹⁸⁷.

24 октября 1922 г. пом. Начальника СО ГПУ Андреева в своем докладе Уншлихту сообщала о требованиях 22-х осужденных по процессу: 1. Осужденные с.-р. жалуются, что свет гасят рано (в 10-ть час.), просят не гасить до 11-ти часов. 2. Просят спустить лампы ниже. Считаю возможным спустить аршина на полтора, т.к. лампочки слабые и у самого потолка. У многих начинают болеть глаза. 3. Просят разрешить в камере ножи и вилки. Я полагала бы отказать. 4. Выпускать второй раз из камер не обязательно перед сном, а по желанию. Думаю, что разрешить надо. 5. Венедяпин просит свидание с дочерью 26/Х (в день смерти его первой жены). Мотив несерьезный, поскольку отказано другим, полагаю тоже отказать и ему»¹⁸⁸.

30 октября 1922 г. Андреева вновь докладывала Уншлихту о требованиях осужденных эсеров:

«1) Агапов, Раков, Добролюбов — специалиста глазника. [Пометка Андреевой] Через санчасть я вызову.

2) Донской и Веденяпин — выдать фотографии родных. [Андреева] Поскольку выданы фотографии Гендельману и Гоцу — нет оснований отказывать остальным. [Резолюция Уншлихта] Согласен.

3) Утгоф просит разрешить сделать ему абажур на лампу из казенной бумаги. [Андреева] Считаю возможным. [Уншлихт] Согласен.

4) Тимофеев просит увеличить сумму взносов на его имя [Андреева] Теперь разрешено 25 миллионов. Думаю, можно уже до 35 милл. [Уншлихт] Можно до 50-ти.

5) Иванов-Громов просит давать ему свидание с матерью не в 5-ом этаже, а в комендатуре, мотивируя болезнью матери. [Андреева] Я просила бы отказать, т. к. для свиданий специально оборудованная комната находится в IV этаже. В комендатуре ничего подходящего нет. [Уншлихт] Согласен.

6) Вновь возбуждают вопрос об обмене книг с воли из общественных библиотек. [Андреева] Я полагала бы отказать — это несомненно будет один из способов связи. [Уншлихт] А как мы их удовлетворяем[?].¹⁸⁹

В начале ноября Андреева обобщила жалобы заключенных: «1. Питание. За исключением Лихача, как на качество, так и на количество пищи никто не жаловался. 2. Прогулки. Все сделали заявление на недостаточность прогулки. 3. Одинокое заключение. Многие просят изменить одинокое заключение на совместное (по два человека). 4. Содержанье во Внутр. тюрьме. На предложение 10 человекам перевода в Ярославскую тюрьму никто не изъявил особого желания. 5. Пользование книгами. Большинство просили права пользоваться книгами из общественных библиотек. 6. Газеты. Большинство просили разрешить пользоваться газетами. 7. Свидания. Тимофеев и Морозов заявили о разрешении свиданий чаще, чем 1 раз в месяц»¹⁹⁰.

Чью сторону занимали тюремные власти и чекисты при стычках заключенных с надзирателями? Вопрос в общем-то риторический. Тем не менее интересен эксперимент, проведенный М. Я. Гендельманом в октябре 1922 г., когда он пожаловался на произвол надзирателя сначала дежурному помощнику, затем начальнику тюрьмы, а затем написал заявление в Президиум ГПУ, т. к. предыдущие начальники брали друг друга под защиту. Суть конфликта состояла в том, что 30 октября 1922 г. во время прогулки надзиратель сказал, чтобы Гендельман ходил только по тропинке, на что тот ответил, что он так и делает. В ответ надзиратель досрочно прервал прогулку. Гендельман восклицал: «Уже одно предположение, что я, как школьник, стану бродить по снегу, унижаясь ради этого до мелкой стычки с мальчишкой надзирателем, упоенным своей властью, жадущим случая проявить ее, достаточно само за себя говорит». Гендельман предложил дежурному помощнику проверить наличие следов в снегу, что тот через какое-то время и сделал в сопровождении надзирателя. Гендельман предположил, что следы, показанные надзирателем, им самим и протоптаны и для подтверждения своей правоты предложил сличить следы. «Но дежурный помощник, — писал Гендельман, — изложил свою точку зрения совершенно ясно: „Это лишние церемонии. Я знаю, что надзиратель никогда не позволит себе сказать неправду, а вы никогда не признаете своей вины“. При такой заранее готовой уверенности, — делал вывод Гендельман, — и опрос претензий тоже „излишняя церемония“. Начальник тюрьмы со своим помощником согласился. Потеря одной прогулки

не столь важна, и я не стал бы из-за этого писать заявление, но меня регулярно спрашивают, не имею ли я претензий, и полученный мною в данном случае ответ побуждает меня выяснить, имеет ли этот опрос какое-либо реальное значение, и целесообразно ли в будущем обращаться с заявлениями, если в том окажется необходимость»¹⁹¹.

Как повел бы себя Президиум ГПУ, остается только гадать, т. к. заявление Гендельмана до него не дошло. Дело в том, что все заявления 22-х осужденных по процессу ПСР шли через руки помощника начальника СО ГПУ Андреевой, которая дальше уже сама решала судьбу каждого заявления. Вариантов было три: заявление направлялось либо начальнику СО ГПУ Самсонову, либо заместителю председателя ГПУ Уншлихту, либо сразу сдавалось в архив (подшивалось к делу). Заявление Гендельмана было в этот же день сдано в архив, поскольку Андреевой не было никакого резона проверять правильность действий надзирателя, дежурного помощника и начальника тюрьмы и вступать с ними в конфликт.

Весьма любопытно, что родственники 22-х осужденных эсеров (да и сами эти эсеры) сначала писали свои заявления в самые разные инстанции, а затем все чаще стали обращаться к тому, кто реально мог принять нужное решение вопреки отказам низового чекистского начальства. Речь идет о председателе ГПУ Ф. Э. Дзержинском, в отдельных случаях, действительно, удовлетворявшем просьбы родственников осужденных. Так, например, С. Н. Гоц от имени жен и родных осужденных просила о передаче им ряда продуктов, теплой одежды и постельного белья. Дзержинский наложил резолюцию: «т. Ягоде. Полагал бы, можно разрешить, но с тем, чтобы не было в камерах лишних вещей и разрешить только на один раз с тем, чтобы каждая передача требовала особого разрешения». Красноречивая резолюция Самсонова: «т. Андреевой. Надо это без затяжки сделать — ничего не поделаешь» — свидетельствовала о том, что решение было принято через их головы¹⁹².

Из таких фрагментов и складывался длительный и изнурительный период борьбы осужденных за т. н. политический режим, которая благодаря настойчивости и опыту заключенных и их родственников дала некоторые результаты.

Как далек был первоначальный режим заключенных от «курортного», видно из письма С. Гоц (жены А. Р. Гоца) Дзержинскому в октябре 1922 г. (она обращалась через Е. П. Пешкову с просьбой о встрече с ним, но тот предложил написать письмо). Письмо Гоц содержало немало ярких примеров тюремного быта заключенных: к Герштейну первое время обращались не иначе как «осужденный к смерти Герштейн»; А. Р. Гоц не получил казенного головного убора и в течение полутора осенних месяцев, выходя на прогулку в дождливую погоду, наматывал «на голову казенные брюки»; Морозов, у которого отобрали свое мыло и не дали казенного, первые три недели не умывался с мылом и полтора месяца не имел расчески, матрац был «с мышами», «из параша текло», а вместо кружки ему дали «ржавую жестянку»; Гендельману после долгих требований дали, наконец, очки — «но с разбитыми линзами»; не всем был объявлен целиком приговор, для этого Иванову пришлось голодать четыре дня. С. Гоц заключала: «На почве плохого питания и недостаточного света, у многих уже началось сильное малокровие (Тимофеев, Злобин, Морозов, Берг, Раков, Либеров и др.). Гендельман, Иванов с отечными лицами, у мужа моего симптомы цинготного заболевания ноги. Особенно тягостно для них вынужденное бездеятельствие и отсутствие книг. Книги выдаются в 2—3 недели не более 2—3 за раз, при этом самого неожиданного подбора. Мужу,

напр., достался учебник по зоологии и „Антропология“ Канта». По словам С. Гоц, сами заключенные считали условия, в которые их поставили, карцерным режимом и ставкой на физическую выносливость.

Под давлением заключенных чекисты вынужденно пошли на удовлетворение их требования ликвидировать одиночную «рассадку», поместив их в камеры попарно. И хотя нам неизвестно, кто из чекистов определял пары, какими соображениями руководствовался и учитывал ли при этом желания самих заключенных (вряд ли), но все равно порядок рассадки крайне интересен. 6 декабря 1922 г. за подписью помнач СО ГПУ Дерибаса начальнику тюремного отдела ГПУ Дукису было предложено «разместить осужденных п. с.-р. в следующем порядке»:

- 1) Гоц и Агапов;
- 2) Лихач и Альтовский;
- 3) Гендельман и Морозов;
- 4) Иванова и Ратнер;
- 5) Тимофеев и Иванов;
- 6) Герштейн;
- 7) Артемьев и Утгоф;
- 8) Федорович и Либеров;
- 9) Добролюбов и Львов;
- 10) Донской и Веденяпин;
- 11) Берг и Раков».

Похоже данное решение было принято без учета пожеланий заключенных и мотивировалось сугубо чекистскими соображениями. Такой вывод можно сделать из рапорта Дукиса, натолкнувшегося на нежелание Гендельмана подчиняться данному распоряжению и резолюции Самсонова.

15 декабря 1922 г. начальник тюремного отдела ГПУ Дукис рапортовал Самсонову: «Доношу до Вашего сведения, что согласно Вашего распоряжения сидевших осужденных ПСР камеры 39а рассадить по отдельным камерам. Приказано было осужденному Гендельману собраться с вещами для перевода в другую камеру. Осужденный Гендельман заявил, я в другую камеру не пойду если хотите то берите — силой, я не подчиняюсь и впредь не буду подчиняться Вашим Президиумским распоряжениям. Что настоящим доношу до Вашего сведения и на распоряжение».

Самсонов наложил следующую резолюцию: «Андреевой. Следует произвести перегруппировку чекистов. Веденяпину дать камеру Морозова или Гоца. 22 /I 23».

В той же записке Дукису от 6 декабря Дерибас приказывал: «Прогулку всем давать по 1/2 часа, в дневное время, начиная с 10 часов утра»¹⁹³.

Несмотря на некоторое смягчение тюремного режима для осужденных эсеров, он оставался по-прежнему суровым. К концу 1922 — началу 1923 гг. возможности смягчения режима путем заявлений со стороны осужденных и их родственников были фактически исчерпаны, т. к. наткнулись на крайне жесткую позицию чекистов (в том числе и среднего звена), считавших, что режим далее ослаблять нельзя. Давление на Политбюро и ГПУ шло по нескольким каналам и направлениям: общественное мнение социалистических и демократических кругов Запада, запросы международного и русского Политического Красного креста, многочисленные жалобы и требования родственников, да и самих осужденных (те их заявления и жалобы, которые не удавалось заволокнуть чекистской бюрократической машине и которые попадали на столы М. И. Калинина, Д. И. Курского и других желавших поучаствовать в процессе «наведения порядка»).

Первым тревожным сигналом для большевистского и чекистского руководства стали появившиеся 2—3 сентября 1922 г. в среде московских рабочих слухи о самоубийстве Е. М. Тимофеева, через несколько дней попавшие на страницы иностранной и эмигрантской прессы. Уже 4 сентября представитель Политического Красного Креста обратился к Цюрупе, обещавшему навести справки в НКЮ и НКВД. Выбранная в этой ситуации тактика умолчания сыграла с большевистским и чекистским руководством злую шутку. Хотя слух был неверен, но основа его — сведения о невыносимых условиях, созданных для заключенных, соответствовала реальности и фактически подливала масла в огонь не затухшей еще на Западе антибольшевистской кампании в связи с преследованиями социалистов. В периодовой статье эсеровской газеты «Голос России» от 6 сентября писалось: «Основанием к усилению распространяемых слухов о смерти Тимофеева послужили сведения о следующих установленных фактах: постоянное грубое издевательство над осужденными, как во время процесса, так и после него со стороны низших агентов госполитуправления и тюремной администрации, новый тюремный режим по рецепту Уншлихта, когда осужденных подвергают ежедневно личному обыску, сопровождающемуся грубыми насмешками и издевательствами, лишение свиданий с родственниками, отмена передачи пищевых продуктов, запрещение двадцатиминутной прогулки на свежем воздухе, ночные проверки на смене караула, когда вновь открываются камеры и чекисты требуют от спящих осужденных встать с койки и производить поверхностный обыск в камере»¹⁹⁴.

Заграничные эсеры проводили прямые параллели с самоубийством Е. С. Созонова. Так, например, В. Фабрикант писал 6 сентября 1922 г. пражским эсерам: «Дорогие друзья, только что узнал из „Temps“ о смерти Е. М. Тимофеева. Телеграфируйте, правда ли это? Надо ли писать вам, какое потрясающее впечатление произвело это известие? Мы переживаем теперь то же, что переживали в 1911 году при известии о самоубийстве Сазонова. Не по тем же ли мотивам, что и Сазонов, покончил с собой Тимофеев? Ждем с лихорадочным нетерпением вашей телеграммы. Мое личное впечатление, что убийство московских товарищей началось — не по судебному приговору и не судом Линча, а застеночным путем»¹⁹⁵.

Подобная оценка ситуации была близка и руководству ЗД ПСР, которое посчитало нужным начать бить в набат. Уже 8 сентября в передовице «Голоса России» «Борьба смертью» прозвучал призыв к социалистическому движению стран Европы «вырвать заложников у палачей большевизма»¹⁹⁶. В этот же день ЗД ПСР послала телеграмму в ЦК РКП(б), СНК и Коминтерн с требованием сообщить о судьбе Тимофеева и о местонахождении остальных осужденных, «пропавших без вести со времени вынесения приговора». Послание ЗД завершалось словами: «Ваше молчание будет равносильно боязни признать совершившееся перед общественным мнением всего мира»¹⁹⁷. Не дождавшись ответа, ЗД ПСР послало Вандервельде следующее сообщение: «На наши запросы о Тимофееве и остальных осужденных большевистская власть молчит. Как это обстоятельство, так и знание условий и тактики власти вселяют в нас тревогу. Обращаемся к вам с просьбой побудить Нансена обратиться к большевистской власти выяснить как правду о заключенных, так и облегчить их положение»¹⁹⁸.

Кроме того, ЗД ПСР разослало циркулярное письмо следующего содержания: «Всем партийным группам. Циркулярно. Предлагается обсудить и организовать на местах гражданские похороны Евгения Михайло-

вича Тимофеева. По поручению комиссии при Заграничной Делегации ПСР с товарищеским приветом Б. Рабинович. P. S. Мы разрабатываем здесь следующий проект: 1) в среду (предположительно) на той неделе помещаем в траурной рамке во всех газетах объявление о гражданских похоронах Ев. Мих. Тим.; 2) снимаем для этой цели большой зал (предполагаем цирк Буша); 3) рассылаем приглашенные билеты (10—12.000) по социалистическим партиям и профес. союзам; 4) входим с их представителями в соглашение относительно ораторов. Внешняя обстановка — строгая, выдержанная, торжественная»¹⁹⁹. Насколько мы знаем, революционная практика не знала подобного рода заочных «гражданских похорон», но, несомненно, эсерам удалось бы превратить их (по крайней мере в Берлине и Праге) в грандиозные политические демонстрации при поддержке большинства социалистических партий.

Только лишь 13 сентября 1922 г. зампред ГПУ И. С. Уншлихт представил И. В. Сталину текст опровержения слухов о самоубийстве Е. М. Тимофеева²⁰⁰. Но несмотря на резкие эпитеты в адрес заграничных эсеров опровержение, безусловно, сильно запоздало. Впрочем, отреагируй власти сразу — для них тоже вышло бы неплохо. Это означало бы, что они реагируют на давление, и следовательно, вело к усилению давления. Безусловно, готовность зарубежных эсеров и западного социалистического мнения к решительным протестам в случае голодовок и смертей заключенных эсеров была тем фоном, на котором и проходили последовавшие вскоре голодовки эсеров. Они начались тогда, когда все остальные способы облегчения режима были исчерпаны.

Сигналом бесполезности подачи дальнейших петиций стала блокировка чекистами и Политбюро попыток ВЦИК и М. И. Калинина облегчить положение или по крайней мере «посетить внутреннюю тюрьму ГПУ». На заседании Президиума ВЦИК 20 ноября 1922 г. осуществить подобное посещение было поручено членам Президиума Смирнову и Курскому. Подобная реакция Президиума ВЦИК на жалобы родственников осужденных эсеров заставила Уншлихта обратиться к Сталину с весьма откровенным заявлением: «Много усилий и трудов стоило нам переломить с.-р. и создать условия, гарантирующие их изоляцию и устанавливающие твердый режим. Посещение тюрьмы представителями ВЦИК поколеблет создавшееся равновесие и вызовет со стороны заключенных ряд невыполнимых требований, что повлечет за собой серьезные осложнения»²⁰¹. Политбюро ЦК РКП(б) на своем заседании 23 ноября 1922 г., будучи вполне солидарно с Уншлихтом в оценке «несвоевременности посещения с.-р. представителями ВЦИК», но очевидно не желая слишком сильно обижать Президиум ВЦИК, приняло гениальное в своем иезуитизме решение: посетить заключенных эсеров и рассказать об их положении Калинину было поручено Уншлихту, а Калинину было предоставлено право осмотреть любые другие помещения в тюрьме «сообразно его желанию»²⁰².

§ 4. ГОЛОДОВКИ ЗИМОЙ—ВЕСНОЙ 1923 г. И СМЯГЧЕНИЕ РЕЖИМА

Уверенность властей, что им удалось «переломить с.-р.», вскоре исчезла. Е. М. Тимофеев и Н. Н. Иванов подали заявления председателю Коллегии ГПУ Уншлихту и в Президиум ВЦИК, где потребовали приведения своих смертных приговоров в исполнение. 24 января 1923 г. Тимофеев

писал: «Председателю коллегии ГПУ гр. Уншлихту. Поскольку я нахожусь в распоряжении Вами возглавляемого учреждения, я считаю необходимым поставить Вас в известность, что сегодня мною подано в Президиум В. Ц.И. К. заявление следующего содержания:

“В Президиум В.Ц.И.К.

В силу полной невозможности существования в условиях, в которых я нахожусь вот уже почти полгода, я вынужден обратиться с ходатайством о приведении в исполнение в части, касающейся меня (подчеркнуто Тимофеевым. — К. М.), приговора Верховного Трибунала от 7 августа 1922 г., — приговора, Президиумом В. Ц.И. К. утвержденного. В поддержание указанного ходатайства я считаю нужным начать с утра 25-го сего января голодовку“. член Ц.К. П. С. Р. Е. Тимофеев».

Похоже звучало и заявление Уншлихту Н. Н. Иванова, датированное этим же днем: «Так как мы числимся за возглавляемым Вами учреждением, то считаю необходимым довести до Вашего сведения нижеследующее:

Мной подается сегодня в Президиум ВЦИК’а заявление с требованием либо создать для нас режим, допускающий человеческое существование, либо привести приговор в исполнение. Впредь до выполнения сего моего требования мною объявляется с утра 25-го янв[аря] 1923 года голодовка».

В своем письме от 24 января 1923 г. в Президиум ВЦИК Н. Н. Иванов подробно изложил свои требования: «Приговором Верховного Трибунала мы были присуждены к высшей мере наказания. Президиум ВЦИК’а своей резолюцией превратил этот приговор для нас в бессрочное содержание в качестве заложников.

Раз так, то мы вправе были требовать создания таких условий заключения, в которых было бы возможно в течение долгого периода предстоящего нам заключения сохранить как физическое, так и духовное здоровье. Если за последнее время режим полугодового существования и лишения нас всех, даже самых необходимых предметов (что практиковалось в первые месяцы заключения) сменился новыми условиями (в частности, в области питания), то в главном сохранились все те черты его, которые делают его совершенно непереносным на более или менее длинный срок. Полная изоляция от товарищей, лишение права чтения газет, невозможность наладить серьезные научные занятия, вместе с совершенно недостаточной прогулкой, отвратительным воздухом в камерах, превращенных буквально в каменные мешки, вот что превращает наше заключение в издевательство и сущую каторгу, перенести которую у меня не хватает более сил. Все это уже давно толкало меня на применение единственного метода арестантской борьбы — голодовки. Инцидент, усложнивший ее начало, является только иллюстрацией невозможности для меня оставаться на прежних условиях: Режим Внутр[енней] Тюрьмы требует от нас полной тишины, запрещает не только пение, свист, но даже разговор полным голосом. Все это делается под предлогом „уберечь режим тюрьмы от разложения“. Так как подчиняться таким требованиям я не в силах, то выход остается один.

Посему я заявляю: либо создадите условия возможного человеческого существования для нас либо, если условия этой тюрьмы (в которой делали опыт четыре раза — содержать нас и каждый раз сами же приходили к выводу о невозможности длительного содержания в ней) не допускают осуществления сих требований, а в распоряжении Сов[етской] Власти нет иных тюрем, где она могла бы нас содержать, приведите свой приговор в исполнение в отношении меня. Не видя другого исхода поддержать это жизненное требование, я начинаю с утра 25 янв[аря] 1923 года голодовку».

Уншлихт немедленно известил об инциденте Сталина: «Прилагая заявления осужденных членов ЦКПСР ТИМОФЕЕВА и Н. ИВАНОВА ГПУ сообщает: за последний месяц осужденные по делу ЦК ПСР начали проявлять большую нервозность, заявляя, что в условиях Внутренней тюрьмы они не могут отбывать дальнейшее наказание.

21/1 протест выразился не в заявлениях, а уже в коллективном свисте, громком разговоре, в чтении вслух.

На предложение не нарушать инструкций Внутренней тюрьмы, ТИМОФЕЕВЫМ и ИВАНОВЫМ поданы настоящие заявления, с добавлением, что в дальнейшем они за себя не отвечают.

Ввиду того, что все осужденные имеют личные часовые свидания (2 раза в месяц), путем перестукивания и др. способами могут договариваться, можно предполагать, что голодовка будет поддержана и остальными 19 человеками.

ГПУ, сообщая о вышеизложенном, просит распоряжений ЦК РКП.

При этом: осужденные „цекисты“ ПСР добиваются перевода в др. тюрьму с целью иметь большую возможность руководить работой на воле, о чем в ГПУ имеются доказательства»²⁰³. Приложив к своему письму, адресованному Сталину, заявления Тимофеева и Иванова и молчаливо предлагая Сталину выбор между возможностью получить грандиозную голодовку эсеров и скандал на весь мир и возможностью ослабления режима, Уншлихт явно подталкивал Сталина к первому варианту.

Неизвестно, на каких условиях Тимофеев и Иванов прекратили свою голодовку (как видно из письма родственников осужденных Калинин, она закончилась до 5 февраля 1923 г.), но 7 февраля 1923 г. полпред РСФСР в Германии Н. Н. Крестинский сообщал Сталину и К. Б. Радеку о том, что вокруг «судьбы Тимофеева начинается новая кампания»²⁰⁴.

5 февраля 1923 г. родные заключенных эсеров обратились с письмом к председателю ВЦИК Калинин. Констатировав, что со времени их первого обращения к Калинин в начале ноября 1922 г. в режим были внесены некоторые изменения, «как, например, разрешение два раза в месяц свиданий и передач, но в общем и целом этот режим и в физическом, и в моральном отношении остался прежним», далее они заявляли: «И этот режим дает себя знать самым решительным образом; отдельные заключенные уже заболели: Злобин лежит в больнице ГПУ, у Веденяпина общий отек и кровохарканье, Раков страдает отеками и расширением вен, больны Тимофеев, Горьков, Берг и другие, а все заключенные изнурены и истощаются так быстро, что ухудшение в их состоянии здоровья заметно от одного свидания до другого. Заключенные: 1) лишены света, окна по-прежнему замазаны, шиты не сняты; 2) отсутствие воздуха: прогулки ограничены полчаса на маленьком дворике, где негде даже присесть отдохнуть; 3) заключенным, сидящим по двое, запрещаются разговоры между собой; 4) в тюрьме практикуются обыски, при которых вооруженные сотрудники ГПУ входят среди ночи в камеры, с окриком „встать“ поднимают заключенных и без дальнейших предупреждений приступают к действиям, из которых только и становится ясною целью их посещения — обыск; не менее тяжело действуют на заключенных непрерывное заглядывание часовых в глазок ночью с зажиганием огня и их окрики с запрещением разговаривать или читать что-либо вслух друг другу, при этом разговоры заключенных между собой в камере и чтение вслух рассматриваются, как нарушение дисциплины ГПУ и сопровождаются угрозами наказания; в результате подобного режима создаются конфликты, влекущие за собою тяжелые осложнения, объявление голодовок (так, голодали

Е. М. Тимофеев и Н. Н. Иванов) и даже более, было требование со стороны последних приведения приговора в исполнение; 5) отсутствие необходимых книг для систематических занятий и полное отсутствие физического труда; 6) отсутствие действительной медицинской помощи. Таковы только некоторые из тех специальных условий, которые созданы ГПУ для наших родных и действие которых уже достаточно сказалось. Если со стороны властей не преследуется цель физического уничтожения заключенных, наших родных, то условия необходимо изменить на нормальные тюремные. Принимая во внимание, что коренное изменение условий заключения, как показал 6-ти месячный опыт, в стенах внутренней тюрьмы ГПУ невозможно, мы настаиваем на переводе наших родных в какую-либо другую из Московских тюрем, в коей они могли бы быть поставлены в нормальные тюремные условия»²⁰⁵.

На этом письме Калинин написал обращенную к Дзержинскому резолюцию-размышление: «Я думаю, можно бы внести какие-либо улучшения в положение арестованных», и передал его представителю ГПУ при председателе ВЦИК Скрамэ. Отправленное последнее Дзержинскому, оно без комментариев было им переадресовано Г. Ягоде, а последним, также без комментариев, — Самсонову²⁰⁶. Последний же написал 11 марта 1923 г. служебную записку Уншлихту, где заявлял: «Полагаю, что обращение жен осужденных цекистов ПСР следует оставить без рассмотрения, т. к. мы и без них ослабили режим до самых крайних пределов». Любопытно, что Уншлихт не стал с ним спорить или соглашаться, а напомнил о невыполнении ранее решенных мер к смягчению режима: «Когда будет часть эсэров переведена в Бутырки? Когда будут вставлены спец. стекла и сняты щиты? Давно дано распоряжение и указана срочность»²⁰⁷.

Все это происходило на фоне очередной антибольшевистской кампании, развернутой эсерами-эмигрантами. Поводом к ней послужило сообщение рижского корреспондента эсеровской газеты «Дни», 23 февраля 1923 г. сообщившего со ссылкой на источник в Москве о следующем заявлении Н. В. Крыленко во время встречи с представителями коллегии правозащитников: «Я вполне понимаю болезненное и нервное состояние Ратнер, Гоца и Тимофеева, вызванное продолжительным тюремным заключением и бывшим процессом; насколько мне известно, советское правительство было бы не прочь отпустить Ратнер, Гоца и Тимофеева на один год за границу, если вместо уехавших добровольно явятся в Россию члены Центрального Комитета партии эсэров, находящиеся сейчас за границей»²⁰⁸.

В этот же день, 23 февраля 1923 г., Заграничная делегация ПСР за подписями С. П. Постникова, Н. Русанова, В. М. Чернова, Г. Шрейдера публично обратилась к трем Интернационалам с просьбой о посредничестве в этом вопросе: «Если переданные телеграфом слова Крыленко верны, они не вносят в характеристику правосознания Кремля ничего нового: те, кто готов торговать людьми и воскрешать посреди мирного времени первобытные институты коллективной ответственности, взаимной уголовной круговой поруки и заложничества, не могут упасть еще ниже, требуя за временное освобождение захваченных заложников — их заместителей. Мы ни на один момент не считаем возможным своими действиями как бы санкционировать эту чудовищную варваризацию правовых понятий и приемов политической борьбы. И тем не менее, в высших интересах человечности, перед лицом беспримерно тяжелого положения товарищей, которые по свидетельству самого Крыленко не раз приводились на грань самоубийства, мы, члены 3. Д. партии с.-р., за себя и за

своих организованных товарищей по партии за границей заявляем, что в любой момент готовы представить возглавленный нами список заместителей за всех двадцать двух осужденных московского процесса.

Мы готовы быть за них заложниками в полном и точном смысле этого слова. Мы явимся и сядем за них в тюрьму. Это не будет означать признания нами права за руководителями кремлевской власти лишать нас свободы и судить нас. Мы заранее категорически отказываемся давать им какие-либо объяснения или показания. В этом отношении мы в точном смысле этого слова явимся „залоговой вещью“, обеспечивающей их лишь в том, что выпущенные ими из своих когтей полужамученные жертвы не ускользнут от них навсегда. Ныне сидящие наши товарищи взамен нас будут пользоваться всею той свободой действий, какой доселе пользовались мы. Мы просим Вас убедить наших заключенных не противиться этому обмену, поняв естественное желание товарищей на воле принять на свои плечи хоть часть их тяжелой ноши, преодолев чувство естественного отвращения перед придуманной властью сделкой и поставив выше своего морального самочувствия исполнение обращенного к ним призыва партии. Мы прекрасно понимаем, что это для них будет более тяжелой моральной жертвой, чем та, на которую идут согласные стать их заместителями в тюрьме, но мы просим, мы требуем от них принесения этой жертвы.

Мы просим три существующие ныне в Европе интернациональных объединения рабочих социалистических сил (Венское, Амстердамское и Лондонское) взять на себя все переговоры с кремлевскою властью, необходимые для осуществления хотя бы временного освобождения заключенных по московскому процессу, если оно возможно тою ценою, о которой говорил главный прокурор кремлевской власти Крыленко <...>²⁰⁹. По этому поводу нач. отделения Иноинформации Информационного отдела ГПУ Басов и начальник Информационного отдела ГПУ Ашмарин информировали СО: «Уотерс и эсеры. Бывший в России с Вандервельде бельгиец Уотерс, брат редактора ЦО Бельгийской социалистической партии, заявил о своем желании присоединиться к Керенскому и др. как заложник на смену осужденным с.-р. цекистам. Поскольку, — пишет Уотерс, — это мое предложение будет принято, прошу о помещении в одной из тюрем Южной России ввиду слабости здоровья. „Работник“ восхваляет это комедианство, как „античный стоицизм, муки первых христиан“ (“Работник“ 13/III)»²¹⁰.

Они же посылали и тексты заявлений А. Ф. Керенского и Е. К. Брешко-Брешковской, распространенные эмигрантскими и иностранными газетами. Заявление А. Ф. Керенского гласило: «Присоединяюсь к письму В.М.Зензинова по поводу заявления г. Крыленко. Не подобает сейчас препираться о словах и формах. В тюрьмах погибают живые люди разных партий и состояний. Заявляю: если есть возможность любого из них освободить заменой других, то для этого предоставляю себя. А. Керенский».

Обращает внимание, что он в отличие от членов Заграничной делегации ПСР говорит уже о заключенных «разных партий и состояний». Подобное же сделала и Е. К. Брешко-Брешковская: «Я, Катерина Брешковская, заявляю свою готовность теперь же обменяться своим положением с одной из женщин, приговоренных советским правительством по политическому делу к пожизненному заключению (“Дни“, № 105, 4/III)»²¹¹.

Партийное руководство потребовало от Н. В. Крыленко письменных объяснений. 10 марта 1923 г. он отвечал Политбюро: «На Ваш запрос, относительно помещенного в № 99 газеты „Дни“ воззвания заграничной

делегации ПСР сообщают: заявление эсэров представляет собой сплошной вымысел. Нигде никогда, а тем более на собрании „коллегии правозаступников“ (я еще не такой идиот) мною никаких заявлений по поводу заключенных эс-эров не делалось. Источник этого заявления мне не известен»²¹².

Попробуем разобраться, откуда взялась эта «инициатива Крыленко». Очевидно, что ни Политбюро, ни ГПУ к ней отношения не имеют. Остаются три варианта. 1-й вариант — «московский источник» эсеровского корреспондента выдал слух за чистую правду (и поныне весьма распространенная ситуация в журналистике). 2-й вариант — Крыленко все же сделал подобное заявление, но, увидев, чем оно ему грозит, отрекся от него. 3-й вариант — все это было инспирировано эсеровской эмиграцией для развертывания очередной антибольшевистской кампании и саморекламы собственной храбрости. Представляется, что самыми реальными являются 2-й и 1-й варианты. Следует иметь в виду фон всего происходящего. А им было: объявление 22-х осужденных заложниками, ведение К. Б. Радеком (во исполнение решения Политбюро) переговоров об обмене немецкого коммуниста М. Гельфера на Е. М. Тимофеева, а самое главное — большевистское руководство к этому времени неоднократно и наглядно продемонстрировало свою способность к лихим экспериментам в области права и морали (исповедуя приоритетность «политической целесообразности»). На этом фоне легко объяснимы и появление подобных слухов, и логика заявления Крыленко, лишь развивавшего логику всей позиции Политбюро в этом вопросе, но отнюдь не выходявшего за ее пределы. Но на этом фоне заявления эсеровских лидеров были для них отнюдь не безопасны. Даже если эсеры-эмигранты блефовали — зная непредсказуемость советского руководства, они не могли быть уверены, что их предложение отвергнут. Действительно, у Политбюро и ГПУ появлялся определенный искус пренебречь приличиями, когда репутация уже и так подмочена, но «пощупать» на крепость нервы виднейших деятелей ПСР, что сулило в случае их отказа держать свое слово серьезные политические дивиденды. В то же время, вероятность того, что власти согласятся принять «заместителей» была, а отказ от поездки во Внутреннюю тюрьму для Зензинова, Чернова, Керенского, Русанова, Постникова и Шрейдера означал бы для них политическую смерть. Но тогда цена их игры становилась вполне весомой: или политическая смерть или вполне реальная (только растянутая во времени), так как уж Чернова или Керенского назад бы власти не выпустили — их имена к этому времени были уже символами. Представляется, что это был искренний поступок эсеров-эмигрантов, испытывавших муки совести. Из перхваченных чекистами в 1920—1921 гг. писем российского ЦК ПСР к заграничным товарищам видно, что они многократно требовали от всех членов ЦК немедленного возвращения в Россию, так как за рубеж их посылали лишь в командировку, а согласно принятым решениям, ЦК обязан был находиться в стране. В частности, от Чернова члены ЦК несколько раз требовали вернуться назад. Но с полным правом это распространялось на всех избранных в члены ЦК ПСР на четвертом съезде ПСР в конце 1917 г. (все 10 членов, доизбранных на 9-м Совете партии и кооптированных в 1920 и 1921 гг. были арестованы) и находившихся в это время за границей: В. М. Чернова, В. М. Зензинова, Н. Русанова и Сухомлина (на 4-м съезде был избран кандидатом в члены ЦК ПСР). Возможно, для тех из них, кто согласился сесть в тюрьму — «по обмену» — это, с одной стороны успокаивало совесть, а с другой — столь демонстративный и сенсационный способ ока-

заться во Внутренней тюрьме был более привлекателен, чем просто отправиться на подпольную работу в страну, а максимум через полгода попасть туда же, но уже не находясь в эпицентре всеобщего внимания. Но тем не менее подобный поступок с их стороны свидетельствовал об их мужестве. Впрочем, следует оговориться, что в таком щепетильном и закрытом от посторонних взоров вопросе ничего нельзя утверждать наверняка.

Нежелание чекистов смягчать режим и невыполнение ими ранее взятых на себя обязательств спровоцировало новую череду голодовок. В середине марта голодовку объявили Е. Ратнер и Е. А. Иванова-Иранова. 16 марта 1923 г. чекисты попытались провести их освидетельствование с помощью зав. Психиатрической секцией Мосздрава В. Громбаха и врача психиатра Е. Красецкого. Но заключенные «от всякого освидетельствования врачей, а равно и от всякой медицинской помощи» отказались, о чем был составлен акт, где расписались пом. Нач. СО ГПУ Дерibas, нач. санчасти ГПУ Кушнер, два врача-психиатра, а также Е. Ратнер и Е. А. Иванова-Иранова. Из слов отдельного акта, написанного врачами-психиатрами, становится понятной цель и мотивы их приглашения к голодающим заключенным. Они заявляли: «Короткий разговор с ними позволяет только предположить, что голодовка или голодовка-протест или выражение болезненного влечения к смерти, диссимилируемого (так в тексте. — К. М.) (скрываемого и преображаемого ими как здорового процесса) ими. На это последнее соображение наводит то обстоятельство, что врач Красецкий около 1 году тому назад наблюдал у Ратнер приступ циклонической депрессии в Бутырской тюрьме. Для решения вопроса о их психическом здоровье необходимо дальнейшее наблюдение их. Состояние их в настоящий момент не дает указаний на применение каких-либо психиатрических мер насилия (как то — помещение в лечебницу, искусственное кормление, насильственная дача лекарства и т. д.) при нарастающей болезни, а именно при (два слова не разобрано. — К. М.) психической депрессии таковые показываются»²¹³.

Трактовка этими психиатрами «голодовки-протеста» как «болезненного влечения к смерти» была, наверное, первым шагом по тому пути, идя по которому полвека спустя, их коллеги само инакомыслие будут рассматривать как психическое заболевание, требующее борьбы с ним медикаментозными средствами. В данной ситуации, насколько можно понять из документов, чекисты попытались договориться с Е. Ратнер и Е. А. Ивановой о прекращении голодовки, перевезя их в совхоз ГПУ, куда должны были привезти затем детей Е. Ратнер. Во всяком случае, что-то подобное вытекает из заявлений Е. А. Ивановой и Е. Ратнер Самсонову и Катаняну от 20 мая 1923 г. (письма написаны Е. М. Ратнер от своего имени, но подписаны также и Е. А. Ивановой). В первом они просили не привозить на дачу ее семью, пока «не будет урегулирован целый ряд вопросов, касающийся условий нашего пребывания здесь. Они оказываются совершенно неудовлетворительными, особенно в отношении Ивановой, что вынуждает нас продолжать начатую голодовку»²¹⁴.

В заявлении же, адресованном «прокурору при ГПУ» Катаняну, они выразились значительно жестче: «Условия, найденные нами на месте, совершенно не соответствуют описаниям. Много, вероятно, можно было бы исправить при помощи переговоров, но во всяком случае перевозить сюда мою семью до окончательного выяснения всего нельзя. Но так как я знала, что новой же „хитростью“ Самсонова будет воздействовать при помощи родственных чувств, то для меня несомненно, что он привезет сюда детей немедленно, чтобы парализовать нас. Поэтому приходится

начинать с конца и просто продолжать начатую голодовку. При этом, если этот трюк все-таки будет пушен в ход, и детей привезут во время голодовки, то мы будем продолжать ее и при них, а весь ужас положения будет на совести создавших его»²¹⁵.

18 апреля 1923 г. группа осужденных цекистов объявила голодовку, о которой председателю ГПУ Уншлихту от их имени сообщили А. Гоц и Е. Тимофеев: «Неоднократно уже нами в разговорах с представителями ГПУ и прокуратуры за последнее время указывалось на необходимость изменения режима, установленного для нас во Внутр[енней] тюрьме. **Бесплодность** всех подобного рода заявлений вынудила нас — с.-р., осужденных по делу „22“ и содержащихся во Внутр[енней] тюрьме, прибегнуть к голодовке, начатой нами с 18 сего апреля»²¹⁶. На следующий день А. Гоцем и Е. Тимофеевым было написано заявление в Президиум ВЦИК, в котором значилось: «18 сего апреля мы, группа заключенных с. р., осужденных по делу „22“, после неоднократных обращений в Г. П. У. вынуждены были объявить голодовку, настаивая на изменении условий нашего содержания: а) на длительной прогулке, б) на предоставлении нам общения между собой, и с) на учащении свиданий.

19 апреля посетившие нас Помощ[ник] Прокурора Республики гр. Катаньян и Начал[ьник] Секр[етного] Опер[ативного] От[дела] гр. Самсонов, не возражая против последнего пункта (об учащении свиданий), заявили нам, что вопрос об общении лежит вне их компетенции ввиду имеющегося в постановлении Президиума В. Ц. И. К. относительно нас указания на „строгую изоляцию“, и указали нам на необходимость обращения к Президиуму В. Ц. И. К. за разрешением этого вопроса.

Выдвигая вышеупомянутые требования, мы полагали, что сущность их не стоит ни в каком противоречии с окончательным постановлением, вынесенным В. Ц. И. К. по нашему делу, ибо из всего политического и юридического характера этого постановления с очевидностью явствует, что в нем речь идет о строгой изоляции нас от „воли“, с целью лишения нас возможности участия в политической жизни страны, а не об изоляции нас друг от друга (в пределах группы „22“).

Такое наше понимание „строгой изоляции“ подкреплялось и практикой органов, ведавших условиями нашего заключения. Так, напр[имер], в камерах мы сидим все по двое, а кроме того половине из наших т.г.[.] перевезенных в Бутырскую Тюрьму и осужденных также на режим „строгой изоляции“, было предоставлено общение между собой.

Обращаясь ныне, согласно указанию Пом[ощника] Прок[урора] Респуб[лики] в Президиум В. Ц. И. К. за установлением более точных форм нашего тюремного содержания, мы, вместе с тем, считаем нужным указать Президиуму В. Ц. И. К. что дальнейшее пребывание в условиях настоящего заключения является невозможным, и мы вынуждены продолжать голодовку»²¹⁷.

Помимо Е. Тимофеева и А. Гоца 20 апреля 1923 г. заявление в Президиум ВЦИК написал от своего имени и член ЦК ПСР Д. Ф. Раков, который восклицал: «Почти девять месяцев мы, осужденные по делу Ц.К. П.С.-Р. содержимся во внутренней тюрьме ГПУ в условиях исключительно тяжелых, в некоторых отношениях превосходящих своей суровостью и жестокостью историческое заключение народовольцев в Шлиссельбургской крепости.

Почти девять месяцев мы сидим без достаточного количества света и воздуха. Долгое время окна наших камер были закрыты железными шитами. Теперь шиты заменены гофрированными стеклами, но они также очень

скудно пропускают солнечный свет и совершенно не пропускают солнечной теплоты. Прогулки по-прежнему продолжаются не больше 15—20 минут в сутки на маленьком дворе, совершенно недоступном солнечным лучам, тем более, что на прогулку нас выводят сплошь и рядом поздно вечером.

Казенная пища дается скудная настолько, главное настолько скромная и однообразная, что организм просто отказывается принимать ее. Мы питаемся исключительно передачами родных. Для последних, людей совершенно не обеспеченных и вконец разоренных нашим бесконечным тюремным сидением, становится, наконец, непосильной тяжестью.

Фактически мы совершенно лишены возможности пользоваться книгами и журналами. Правда, нашим родственникам разрешено передавать нам книги и журналы, но без права обратной их передачи. Стало быть, они могут передавать нам книги, только купленные на собственные средства, а это равносильно при нынешних условиях полному лишению нас нужных нам книг и журналов. В последнее время нам предлагалось выписать для себя книги из библиотеки НКЮ по каталогу 1914 года. Но 1) предлагаются книги, лишь изданные больше десяти лет назад; 2) книги эти почти исключительно юридического содержания; 3) до сих пор из этой библиотеки я не получил ни одной из тех книг, которые выписывал.

Все время по отношению к нам применяются исключительно строгие и совершенно нетерпимые меры к изоляции друг от друга. Постановлением ВЦИК мы приговорены „к строгой тюремной изоляции“, т. е. к возможно полной изоляции от внешнего мира. Тюремная администрация проводит это с неукоснительной строгостью. Свидания с родственниками так обставлены, что нарушить эту изоляцию нет никакой возможности. Но какой смысл нас изолировать друг от друга? В период следствия такая изоляция была бы до некоторой степени понятна. Но теперь, когда мы уже осуждены Верховным Трибуналом и приговор утверждён ВЦИК, юридические аргументы по этому поводу отпадают. Представитель ГПУ заявил нам, что такое тщательное изолирование нас друг от друга имеет своей целью парализовать возможность нашего влияния на партийную работу на воле. Вообще влияние на партийную работу из-за тюремных решеток — бессмыслица, которая станет совершенно очевидной для всякого, если принять во внимание все те меры изоляции от внешнего мира, которые применяются к нам. Допускать же, что мы окажем руководящее влияние на партийную работу путем устной передачи наших мнений через наших родственников, людей, к политике никакого отношения не имеющих, значит, допускать нечто совершенно невозможное и ни с чем несообразное, значит страдать какой-то специфической маниакальностью агентов государственной охраны. Между тем, общение друг с другом для нас, спянных многолетними совместными страданиями, имеет огромное значение, лишение такого общения граничит с необычной жестокостью по отношению к тем из нас, кто сидит под угрозой вынесения и исполнения смертного приговора.

Наконец, по отношению к нам применяется мера, с точки зрения элементарных моральных соображений, совершенно недопустимая: одних из нас без всяких объективных, видимых оснований, как болезнь, нервное расстройство и т. п., переводят в Бутырскую тюрьму, в условия более сносные, чем здесь, а других продолжают держать в прежних жестоких условиях. Без объяснений понятно, какой моральной пытке подвергаются те, кто попадает в число привилегированных.

Все вышеупомянутое усугубляется и принимает злоеший характер в силу того обстоятельства, что большинство из нас имеет в недалеком прошлом многие годы ссылки, тюрьмы, каторги, от которых лишь на короткое время освободила революция, среди нас есть товарищи, которые сняли кандалы лишь в 1917 году (Тимофеев, Морозов), которые почти непрерывно провели в тюрьме больше тринадцати лет. Неудивительно, что среди нас начались тяжелые физические заболевания (Злобин, Горьков), заболевания нервные (Е. Ратнер, Е. Иванова). Тот тюремный режим, в котором нас содержат, принимает характер бессмысленного, жестокого истязания, из которого лишь один исход — голодная смерть.

Поэтому я настаиваю:

1. Поставить нас в такие условия, чтобы мы могли пользоваться в достаточной мере чистым воздухом, солнцем и светом.

2. Улучшить качественно наше питание.

3. Обеспечить нас в той или иной форме достаточным количеством книг и журналов.

4. Разрешить общение друг с другом хотя бы в форме более или менее продолжительной общей прогулки.

5. Не применять к нам таких морально тяжелых мер, как перевод одних в более легкие условия по сравнению с другими.

Все эти требования по меньшей мере скромны и элементарны, но неудовлетворение их равносильно намерению продолжать непонятное, бессмысленное истязание нас, равносильно решению содержать нас в условиях, заведомо непереносимых. Поэтому я, если в ближайшие дни не последует положительного ответа на настоящее мое заявление, со вторника 24 апреля текущего года начинаю голодовку²¹⁸.

21 апреля 1923 г. И. С. Уншлихт, поставив И. В. Сталина в известность о голодовке 11 осужденных эсеров, заявлял, что «все возможное в смысле облегчения режима в рамках приговора было сделано». Считая, что возможность «общения между собой и перевод в другую тюрьму облегчает им как побег, так и возможность руководить партработой», Уншлихт был категоричен: «ГПУ полагало бы требования, предъявленные с.-р., отклонить»²¹⁹. В тот же день опросом по телефону членов Политбюро было принято постановление разрешить голодающим эсерам длительные прогулки и учащение свиданий. Позиции ГПУ об отказе во всем придерживались Сталин и Рыков, пункт об общении заключенных между собой не поддержал никто, за удовлетворение остальных требований высказались Зиновьев, Каменев, Троцкий и Молотов. Примечательно замечание Зиновьева: «голосую за удовлетворение требований № 1 и 3, ибо иначе придется уступить через несколько дней»²²⁰.

Естественно, решение Политбюро не могло быть предъявлено заключенным эсерам в «чистом», незамаскированном виде, и было доведено до них в качестве постановления Президиума ВЦИК от 21 апреля 1923 г., которое гласило: «Разрешить ГПУ увеличение прогулки и участие свидания для заключенных с.-р. Перевести в другие тюрьмы некоторых из числа заключенных, по усмотрению ГПУ; в предоставлении же общения заключенных между собой — в просьбе **отказать**». Любопытно, что в выписке из протокола № 24/А/с заседания Президиума ВЦИК, подписанной секретарем ВЦИК Сапроновым, в графе «кому» значилось «ГПУ, нач. СО ГПУ Самсонову», а в графе «для» — «исполнения»²²¹.

23 апреля 1923 г. А. Гоц в заявлении на имя Катаняна и Самсонова писал: «В ответ на постановление Президиума ВЦИК, предъявленное нам сегодня (т. е. 23 апреля) гр. Катаньяном и гр. Самсоновым, и на личные

разъяснения, данные нам гр. Самсоновым и Катаньяном, заявляем, что в случае официального подтверждения слов, переданных мне женой на свидании от имени Председателя ГПУ гр. Уншлихта о том, что свидания нам будут разрешены еженедельно, мы голодовку прекращаем. Кроме того прошу разрешить мне передать через администрацию тюрьмы записку о прекращении голодовки всем голодающим. Без этого т.т. голодовки не прекратят»²²².

Такая записка была Гоцу разрешена и 24 апреля 1923 г. он в ней написал: «Дорогие друзья, прекращайте голодовку, приятного аппетита! Условия соглашения таковы: 1) Свидания еженедельные. 2) Прогулка увеличена до 2 часов.

В общении ВЦИК отказал.

Из более мелких пожеланий удовлетворены следующие:

1) Свет будет тушиться по желанию.

2) Будут даны нож, вилки. Может быть разрешат и жилет (речь идет о марке безопасной бритвы. — *К. М.*).

3) Тем т.т., у которых жены вне Москвы, будет разрешена более частая переписка.

4) Передача 1 раз в неделю.

5) Из камеры в камеру по желанию можно переходить не чаще раза в 2 месяца»²²³.

Эволюцию тюремного режима, а также быт и развлечения заключенных хорошо описал, уже находясь в ссылке, Г. Л. Горьков, который 24 декабря 1923 г. писал: «После приговора всех нас увезли во внутреннюю тюрьму, разместив смертников по одному, а прочих по двое, причем отобрали буквально все, что было у каждого при себе. Режим вначале был до чрезвычайности суровым — без вещей, без книг, без прогулок, без свиданий, кормили плохо, передач не было, окна завесили железными щитами. Так продолжалось приблизительно месяца два—три, а потом режим стал несколько мягче, стали выводить на получасовую прогулку, лучше кормить, большинство получили и свидания с родными, но только раз в две недели, выдали тетради для работы и некоторые книги из нашей библиотеки, кое-что выдали из вещей. Конечно, дело не обошлось без голодовок. Спустя полгода условия совершенно [изменились и] стали таковы: свидания с родными и передачи раз в неделю (свидания часовые и без посторонних), 1 1/2 часов[ые] прогулки, право пользоваться книгами из любой библиотеки в Москве, а также беспрепятственная пересылка книг с воли вообще, щиты с окон сняли, электричество спустили ниже. Кроме этого разрешили каждому из нас через каждые два месяца обмениваться, с кем пожелает. Когда проводились эти реформы, часть наших товарищей, по предложению администрации, перебралась в Бутырки, сделав этим, впрочем, большую ошибку. Все мы, оставшиеся во внутренней тюрьме, разместились по двое в камере и камерами ходили на прогулку. Первое время, до реформы, прогулка была обставлена очень строго, следили за каждым нашим движением, заставляли ходить парно и (одно слово не разобрано. — *К. М.*) в одну сторону круга. Гуляли мы на специально для нас устроенном дворе (далее два слова не разобрано. — *К. М.*), в феврале характер нашей прогулки изменился, нам дали лопаты, с помощью которых мы построили из снега такой дворец, что одно только загляденье.

Делали мы так — одни (1 слово не разобрано. — *К. М.*), другие (одно слово не разобрано. — *К. М.*), причем каждый непременно вкладывал что-нибудь особенное. Помимо дворца, некоторые товарищи лепили разные фигуры и статуи <...> мною была вылеплена фигура Шишиги

(шишигами на русском Севере звали одну из разновидностей чертей: там различали маленьких шишек, шикун и шишиг, каждый имел свой нор. Такое прозвище имел М. А. Веденяпин, так что не совсем ясно, чью фигуру вылепил Г. Л. Горьков — мифического шишиги или своего товарища, но, похоже, все-таки последнего. — *К. М.*). Весною нам привезли садовой земли, (одно слово не разобрано. — *К. М.*), выдали железные лопаты и грабли, а через небольшой промежуток времени наш двор был засеян и засажен разного рода семенами и цветами, доставляемыми нам с воли. Несмотря на скверную погоду, летом наш двор был весь в зелени и цветах. Из овощей росли редиска, репа, (два слова не разобрано. — *К. М.*), лук, салат и пр., не удались только огурцы — погибли их цветы, а из цветов красовались георгины, астры, гвоздики, настурции, (одно слово не разобрано. — *К. М.*), левкой, мак и многое др. Каждый из товарищей на свидание непременно преподносил букет цветов своим родным.

Кстати, у меня в книге сохранилась белая астра из нашего цветника, которую я Вам и посылаю на память. Вам, конечно, небезынтересно знать, кто чем из нас занимался у себя в камере. Первое время большинство из нас набросилось на изучение иностранных языков и на их усовершенствование, если кто плохо знал ранее. И могу сказать, что многие за короткое время успешно овладели по одному иностранному языку, по крайней мере настолько, что могли свободно читать несложную литературу. В общем же, большинство владеет двумя языками, а некоторые даже тремя, затем чтобы заниматься каждому по своим склонностям.

Так, Абрам (А. Р. Гоц. — *К. М.*) ведет работу главным образом по политическим и философским вопросам, Евгений (Е. М. Тимофеев. — *К. М.*) по истории, Митяй (Д. Ф. Раков. — *К. М.*) по финансовому вопросу, причем очень много пишет, Флориан (Ф. Ф. Федорович. — *К. М.*) по экономике, Лихач по рабочему вопросу и кооперации, Герштейн по естествознанию и много читает иностранной литературы (он знает три языка), Либеров по кооперации, Иванов по геологии (он хорошо знает этот предмет и любит), Альтовский по математике и электротехнике, Донской по медицине, Агапов как классик много работает по истории Рима и Греции, а также по психологии. Кстати, Агапов мой самый добрый друг. Что касается меня, то я много времени уделяю чтению иностранной литературы, главным образом английской, а также изучению некоторых вопросов из естествознания. Точно не знаю, чем занимались товарищи в Бутырках, но думаю, что Львов, наверное, занимался математикой, а Шишига (М. А. Веденяпин. — *К. М.*) по аграрным вопросам. Само собой разумеется, каждый из нас непременно прочитывал все новинки, какие только поступили к нам, будь то по беллетристике, или по какому-либо научному вопросу. Я хотел заметить, что у нас, до моего увоза, образовалась довольно солидная библиотека, не менее 1000 томов. Библиотекой этой, однако, не мы заведовали, а администрация от ГПУ. Выдачи книг и обмен производили, впрочем, довольно аккуратно. Что касается физического состояния товарищей, то в общем удовлетворительное, за исключением Ракова и Злобина. Впрочем, одно время у многих болели глаза, исключительно (два слова не разобрано. — *К. М.*), а мне даже пришлось поневоле побывать в Бутырской больнице. К счастью, болезнь эта скоро прошла и без последствий. Настроение у большинства товарищей обычное, ровное.

Со всеми товарищами я связан, хотя (одно слово не разобрано. — *К. М.*) от них и (одно слово не разобрано. — *К. М.*) довольно туго — никак не наладим более или менее регулярную переписку. На днях мне сооб-

шили, что вследствие весьма продолжительной голодовки Женя и Ник. Иван. (Н. И. Артемьев. — К. М.) находятся в очень тяжелом положении, плохо чувствует себя также Шишига. Это известие очень меня беспокоит. Обещали сообщить подробности»²²⁴.

Попытки «Помощи политическим заключенным» вмешаться в схватку заключенных и власти последней зачастую игнорировались. Так, 13 июня 1923 г. в Президиум ГПУ обратилась с письмом «Помощь политическим заключенным», в котором говорилось: «Ввиду того, что заключенный во Внутренней тюрьме Иванов Николай уже 12 дней как голодает — “Помощь политическим заключенным“ просит удовлетворить его требование и разрешить свидание с его женой Ивановой, принимая во внимание его расстроенные долгим сидением нервы». Подписавший это письмо М. Л. Винавер дописал на машинописном экземпляре от руки «Срочно». Свое отношение к «срочности» заботы о расстроенных нервах Н. Н. Иванова Уншлихт, к которому это письмо попало в этот же день, выразил в весьма краткой резолюции «т. Дерибасу. К делу». Дерибас повторил резолюцию начальника, отправив на исполнение Решетову²²⁵.

На самом деле к этому времени голодовка длилась уже 14-й день. Это можно понять из коротенькой записки «дежурного лекпома» начальнику Внутренней тюрьмы ГПУ от 10 июля 1922 г. «Голодающий из 53 км. 11 день Иванов; состояние здоровья удовлетворительное»²²⁶. На записке оставил свой автограф Дерибас, отправивший ее Решетову.

Таким образом, мы можем констатировать, что эту фазу противостояния заключенным социалистам удалось выиграть вопреки чекистам, продолжавшим занимать жесткую позицию. Эта победа оказалась возможной благодаря «оппортунизму» большинства членов Политбюро ЦК РКП(б), считавших ее меньшим злом, чем потеря своего имиджа «свободного демократического государства» на международной арене.

§ 5. «МОЙ ПУТЬ ОКАЗАЛСЯ МНЕ НЕ ПО ПЛЕЧУ, Я УХОЖУ, НО С СОЗНАНИЕМ ИСПОЛНЕННОГО, НАСКОЛЬКО ПОЗВОЛЯЛИ СИЛЫ, ДОЛГА И ЧЕСТНО ПРОЖИТОЙ ЖИЗНИ»: САМОУБИЙСТВО С. В. МОРОЗОВА И МАНЕВР ВЛАСТИ

Чекисты, вынужденно подчинившиеся решению Политбюро о смягчении режима, стали свидетелями того, как их «карцерный» режим начал рассыпаться под дальнейшими ударами заключенных. Фактически чекисты повторили тот путь, который многократно проделывали их предшественники — путь сдачи позиций. Через полгода В. Р. Менжинский и Дерибас сообщали В. М. Молотову о голодовке с 17 ноября 1923 г. части заключенных из числа переведенных в Бутырки, потребовавших открыть двери их камер для свободного передвижения, а также «организации физического труда и права продажи их изделий в их пользу». Чекисты констатировали, что «содержащиеся во внутренней тюрьме часть осужденных ГОЦ, ТИМОФЕЕВ, МОРОЗОВ и другие еще не объявили голодовки, но по категоричности заявлений их об общем изменении режима, тождественности предлагаемых ими изменений с предъявленными бутырцами требований и по недвусмысленным угрозам о возможности шлиссельбургской кровавой драмы — можно с уверенностью предположить, что

объявление голодовки, или какой-либо другой формы поддержки тех же требований остальными осужденными, — вопрос двух-трех дней. Мнение ГПУ, что уступки немыслимы, ибо они вызовут ряд новых хорошо организованных и согласованных требований. Кроме того удовлетворение первого требования практически разрешает основной вопрос об изоляции вообще»²²⁷.

Чем закончилась эта голодовка, можно только догадываться, но фактически это было уже агонией чекистского тюремного эксперимента, последний удар по которому нанес покончивший жизнь самоубийством 20 декабря 1923 г. С. В. Морозов. В своем предсмертном письме от 20 декабря 1923 г., адресованном близким, он писал: «Мои дорогие, родные, милые, знаю, как будет Вам тяжело и бесконечно больно узнать о моей смерти; мысль о Вас долго заставляла меня жить, я боролся с собой насколько мог и, как видите, оказался слаб. Не под влиянием тяжелой минуты и настроения поступаю так, нет. В течении последних месяцев не было кажется, дня, чтобы не приходилось делать усилия удержаться от этого шага. Не не хочу, а не могу, нет сил больше жить такой жизнью, как моя. Годы каторги и прошлых лет тюрьмы, очевидно, сделали свое дело. Устал от тюрьмы, тюремных невзгод, а впереди все тоже и тоже. Но в прошлом своем я не раскаиваюсь. Судьба не раз предоставляла мне возможность изменить свою жизнь, но освобождаясь из тюрьмы я всегда шел снова той же дорогой, какой, простите, пошел бы и теперь. Это было жестоко по отношению Вас, не было возможности заботиться о Вас, давать Вам радость, но иной жизнью я жить, очевидно, не мог. Мой путь оказался мне не по плечу, я ухожу, но с сознанием исполненного, насколько позволяли силы, долга и честно прожитой жизни. И только мысль о Вас меня тяготит. Милые мама и папа, Вы редко жаловались мне, мама-таки никогда, на свою жизнь. Но, любимые мои, неужели вы думали, что я не знаю, как беспроблемно тяжка она. Что часто кусок черного хлеба заменяет Вам обед и ужин. Однажды мне приснился сон, что умираете Вы от голодной смерти, и сейчас я знаю — недалеко это от действительности. И вот, вместо возможности когда-нибудь помощи, а может быть, радости и счастья, я приношу Вам сейчас горе и боль. Мама, милая мама, ты видишь, я сознаю, что делаю, но скажи, голубка, если б у меня нашлись силы, если я смог отложить еще хотя на некоторое время, разве, родная, я, зная тебя, не сделал бы этого. Ты меня знаешь и, я уверен, не обвините в забвении тебя. Милая, если Вам передадут мои вещи, я очень прошу тебя мое белье и шубу перешить себе. Голубчик Боря, мама будет отказываться, но ты родной, заставь ее сделать. Так дорогая Клавдия, когда позволит Вам время, посмотрите за мамой, она в прошлую зиму по нескольку месяцев не меняла „из экономии“ белья, пыталась стирать сама, но толку, конечно, от этого мало. Левочку крепко за меня целуйте. Мама, когда будешь иметь адрес Лидии Семеновны, сообщая ей обо мне, напиши письмо потеплее, она совершенно одинока и ей тяжело будет узнать о моей смерти. Скажи ей, я с глубокой благодарностью вспоминаю ее, много светлого внесла она в мою жизнь. Прошайте и простите меня, горячо, горячо благодарю Вас всех за заботы, ибо мне, ласку, тепло и радость, мне данные. Крепко, крепко обнимаю и целую. Мама, милая мама, как безумно тяжело тебе делать боль, прости, голубка родная, и ты, папа, прости. Сергей 20/XII — 23. Четверг.

Передавайте, пожалуйста, моим товарищам, что горячо их благодарю за доброе, сердечное ко мне отношение, заботу и внимание. Крепко их

и их родных обнимаю. С. М. Я в письме не называю ни Жени, ни Николая, Нау. Вас. Ан. — адресую его ко всем родным, близким. Дорогая Клавдия, передайте привет всем Вашим.

Я вполне спокоен, уложил вещи, написал заявл[ение] в ГПУ об их выдаче. Еще раз крепко всех обнимаю. Ваш Сергей.

Мысль, что может, я поддался настроению и не сделал бы если бы поборол себя, может быть для Вас тягостной, вот Вам доказательство, что я и кончаю, т. к. нет сил больше жить в тюремной обстановке, а не под влиянием настроения, я только что принял яд, кот[орый] оказался не действительным и хочу попробовать вскрыть Артерии. Простите за эту приписку, но, может, она поможет Вам ... пережить. Целую горячо и обнимаю»²²⁸. 31 января 1924 г. Г. Е. Зиновьев писал Ф. Э. Дзержинскому: «Все „соцгазеты“ полны росказней о смерти Морозова. Говорят, что он, как Евг. Сазонов, принес себя в жертву и пр. По-моему, крайне важно опубликовать сведения о действит[ельных] причинах его самоубийства. Очень советую заняться этим. Дайте материалы. Мы двинем тогда их в загр[аничную] печать»²²⁹.

Через пять дней Г. Е. Зиновьев отказался от этой идеи, заявив Дзержинскому, что по его и Н. И. Бухарина мнению, письмо Морозова «печатать никак нельзя» и предложил «дать совсем короткое извещение от ГПУ сухого формального характера с указанием, что самоубийство вызвано чисто личными интимного характера причинами. Часть поверит — другая — нет. Но тут уж ничего не поделаешь»²³⁰.

В своем ответном письме Зиновьеву Дзержинский в начале февраля писал: «16/XI при очередном обходе Нач. СООГПУ ДЕРИБАС и пом. прокурора при ОГПУ т. КАТАНЬЯНА, зайдя к МОРОЗОВУ было предложено воспользоваться совхозом ввиду его неважного состояния здоровья по определению врача. МОРОЗОВ отказался, но просил ему дать анализ его мокроты.

В конце ноября во время голодовки в Бутырках и Внутрен. тюрьме заключенных ГОЦ сообщил между прочим, что Морозов нервничает и предложил соединить его на прогулку с кем-либо более спокойным, чем Гендельман, но когда ГОЦУ было предложено взять МОРОЗОВА в свою группу (Гоц, Тимофеев, РАТНЕР) он просил пока этого не делать, а когда это будет можно сделать он, Гоц, сам об этом скажет.

После голодовки РАТНЕР из Бутырки была переведена во внутреннюю тюрьму, и ей было предложено поселиться в двойной камере с кем либо из своих сопросец[с]ников. Она поселилась с Гоцем и Тимофеевым. ГПУ полагало, что она поселится с МОРОЗОВЫМ.

Накануне самоубийства, т. е. 19/XII, его посетила в обычном порядке Зам. Нач. СООГПУ т. АНДРЕЕВА и, осведомившись, нет ли заявлений и получил ли он просимый анализ мокроты — получила ответ, что заявлений нет, анализ получен и что теперь он спокоен за свои легкие (анализ был хороший). По свидетельству врача, он в последнее время стал довольно внимательно относиться к своему здоровью.

20/XII он покончил самоубийством, приняв ряд мер, которые не давали возможности помешать ему, например, собранные аккуратно в мешок вещи были повешены на стене с таким расчетом, чтобы кровать в волчек не была видна полностью.

При утренней проверке он был обнаружен со слабыми признаками жизни.

Никаких требований для себя или других до самоубийства он не предъявлял.

В оставленном письме на имя родных и заявлении на имя ГПУ никаких замечаний партийного порядка нет, и то и другое исключительно личного содержания.

Все изложенное является почти стенографически точной фиксацией событий, но ГПУ полагает, что все касающееся прямых намеков на личное переживания МОРОЗОВА в связи с Е. РАТНЕР не может быть использовано в печати.

Необходимо принять также во внимание и заявление ГОЦА после объявления ему о самоубийстве МОРОЗОВА: «Я бы очень просил не трепать его имени в печати». На это ему было отвечено, что если в заграничной прессе не появится никаких инсинуаций по поводу его смерти, то ГПУ не будет иметь никаких оснований это делать.

По мнению ГПУ проект извещения в наших газетах, если в таком есть нужда должен быть примерно нижеследующим:

ПРОЕКТ ИЗВЕЩЕНИЯ

«20 Декабря 1923 года осужденный по процессу ЦК ПСР С. В. МОРОЗОВ покончил жизнь самоубийством. О причинах личного характера можно догадываться по оставленному на имя родственников письму и заявлению его...»²³¹.

Представляется, что Дзержинский и Зиновьев явно лукавят, предлагая ухватиться за версию о причинах личного характера, дабы переложить ответственность с себя на самого Морозова. Знакомство с письмом Морозова убеждает, что Зиновьев и Бухарин отказались от мысли опубликовать его не из явно не свойственного им целомудрия, а из чисто политических соображений. Письмо С. В. Морозова — это яркое свидетельство несломленной воли борца, уставшего жить и бороться, но не предающего свои идеалы. Нам кажется, что несмотря на свою патетичность более верна оценка происшедшего, данная в листовке Московского Бюро ПСР в начале 1924 г.: «Не мы его убили, не мы... он сам... смотрите, потрясая последней запиской мученика перед глазами его товарищей, истерически кричали следователи-чекисты. Нет, Вы, вы и Центральный Комитет Коммунистической партии. Вы убийцы и на Вас эта кровь. Кровь борца за свободу народа. На вашей совести...»²³². И хотя Г. Е. Зиновьеву не нравилось, что в «соцгазетах» С. В. Морозова сравнивали с Егором Созиновым, привлекая своим самоубийством внимание общественности и заставившим тюремщиков отступить, но именно самоубийство С. В. Морозова и боязнь, что его примеру последуют другие, заставили чекистов капитулировать и, отказавшись от политики «завинчивания гаек», выступить с инициативой смягчения приговора, с которой руководство ГПУ обратилось в начале января 1924 г. в ЦК РКП(б). То, что именно чекисты, а не Президиум ВЦИК, издавший 11 января 1924 г. подобное постановление, и не члены Политбюро пошли на этот шаг, показывает, что чекистская верхушка первой увидела тупиковость и опасность для себя дальнейшего противостояния с осужденными эсерами. Это видно из мотивировочной части первого варианта письма ГПУ в ЦК РКП(б), которое было написано, очевидно, по поручению начальства пом. Нач. 3-го отделения СО ГПУ В. Брауде. Окончательный вариант, отправленный в секретариат ЦК РКП(б), был подписан Дзержинским и Дерибасом и саморазоблачительной мотивации В. Брауде уже не содержал.

Проект письма, написанный В. Брауде, получил поддержку Дзержинского, Ягоды и Дерибаса. Последний выкинул из него (ставшего основой официального обращения ГПУ) мотивировочную часть, ярко рисующую

бессилие чекистов. По мнению В. Брауде, объявление приговоренных к высшей мере наказания «бессрочными заложниками на случай вооруженных и террористических выступлений партии с.-р. против Соввласти» обернулось негативными последствиями: «...неопределенность положения объявленных заложниками, не видящих конца своего содержания в тюрьме и не имеющих надежды когда бы то ни было окончить свой срок, создало у осужденных крайне повышенную нервозность, ведущую к тяжелым конфликтам. Так, например, в декабре [19]23 г. покончил жизнь самоубийством член ЦК ПСР Морозов, указав, как на главный мотив то, что он не может более переносить бессрочное тюремное заключение. Среди осужденных создались такие настроения, что можно ожидать, что примеру Морозова последуют еще несколько человек.

Большое, конечно, влияние на повышенную нервозность осужденных имеет и то обстоятельство, что почти все они слишком большую часть своей жизни провели в тюремных условиях; большинство из них отбывали много лет заключения при самодержавии, кроме того, почти все из них и при Советской власти уже отбывали по 3—4 года предварительного тюремного заключения.

Создалось такое положение, что даже применяемый к осужденным небывалый по своей мягкости тюремный режим, который можно назвать скорее санаторным режимом (прекрасное питание, которое имеют, наверное, только московские нэпманы, обилие книг и газет, совместное содержание по собственному выбору, длительные прогулки, еженедельные часовые свидания с родственниками без присутствия администрации, периодические отправки на дачу и т. д.) не может уравновесить психику арестованных и предотвратить все учащающиеся конфликты.

В [19]22 году имело смысл объявить заложниками членов ЦК ПСР для предотвращения активных выступлений партии с.-р. против Соввласти. В настоящее время, когда партия эс-эров совершенно разложилась, когда она в СССР фактически не существует, говорить о таких опасениях не приходится и отпадает самый смысл заложничества. В то же время повторение длительных голодовок и самоубийств осужденных создает почву для демагогической антисоветской агитации, главным образом, за границей.

Письмо председателя ОГПУ Ф. Э. Дзержинского и начальника СО ОГПУ Дерibasа в ЦК РКП(б) было отправлено в начале января 1924 г. в следующем виде: «В августе [19]22 г. Верховным Трибуналом по процессу ЦК ПСР были приговорены к высшей мере наказания 9 членов ЦК ПСР, а именно: ГОЦ А. Р., ТИМОФЕЕВ Е. М., ГЕНДЕЛЬМАН М. Я., ЛИХАЧ М. А., РАТНЕР Е. М., ДОНСКОЙ Д. Д., ИВАНОВ Н. Н., ГЕРШТЕЙН Л. Я., МОРОЗОВ С. В.

Кроме того были приговорены к высшей мере наказания за участие в террористической работе и в участии в покушении на тов. ЛЕНИНА член боевой организации ЦК ПСР ИВАНОВА Е. А. и за участие в военной работе ПСР в 1918 году члены ПСР АЛЬТОВСКИЙ А. И. и АГАПОВ В. В.

Члены ЦК ПСР ВЕДЕНЯПИН М. А., РАКОВ Д. Ф., ФЕДОРОВИЧ Ф. Ф. и АРТЕМЬЕВ Н. И. были осуждены на 10 лет, а также член МК ПСР ЛИБЕРОВ А. В.

Члены ПСР ЛЬВОВ М. И., БЕРГ Е. С. и УТГОФ В. Л. были осуждены на 5 лет.

Приговор Верховсуда в отношении присужденных к высшей мере наказания постановлением ВЦИК был изменен, и они были объявлены бессрочными заложниками на случай вооруженных и террористических выступлений С. -Р. против Соввласти.

В настоящее время ОГПУ полагает целесообразным смягчить приговор по делу ЦК ПСР, а именно:

Присужденным членам ЦК ПСР к высшей мере наказания и объявленным бессрочными заложниками ГОЦУ, ТИМОФЕЕВУ, ДОНСКОМУ, ЛИХАЧУ, ГЕНДЕЛЬМАНУ, ГЕРШТЕЙНУ, РАТНЕР, ИВАНОВУ, а также боевичке ИВАНОВОЙ заменить бессрочное заложенность 10 летним тюремным заключением. Уменьшение по отношению к этим лицам тюремного заключения на срок ниже 10 лет не целесообразно, т. к. они являются крупными политическими фигурами и С. -Р. убеждений и активности не потеряли и до настоящего времени. Кроме того, они уже отсидели по 3—4 года, зачитываемые в этот 10 летний срок.

Остальным членам ЦК ПСР ВЕДЕНЯПИНУ, РАКОВУ, ФЕДОРОВИЧУ и АРТЕМЬЕВУ присужденным к 10 годам срок можно сократить до 7 лет, также зачтя предварит[ельное] заключение.

В отношении же не членов ЦК ПСР, а просто бывших активных работников [19]18—19 гг., в настоящее время не являющихся политическими фигурами, в значительной мере разложившихся, присужденных по делу ЦК ПСР к высшей мере наказания за участие в военной работе [19]18 г. АЛЬТОВСКАГО и АГАПОВА, а также присужденных к 10-ти годам ЛИБЕРОВА и на 5 лет ЛЬВОВА и БЕРГА, срок наказания таковым может быть сокращен еще в большей степени, а именно АГАПОВУ, АЛЬТОВСКОМУ, ЛИБЕРОВУ до 5 лет, а ЛЬВОВ и БЕРГ могут быть направлены в 3-х летнюю административную ссылку (БЕРГ — в Верный, ЛЬВОВ — в Чердынь.

Что касается осужденного на 5 лет УТГОФА, то ввиду его крайне демонстративного поведения и непрекращающихся антисоветских выходов — сокращать ему 5-ти летний срок безусловно не следует, тем более, что он сидит в тюрьме только с начала 1922 года»²³³.

Как видно из документа, бессрочное заключение «смертникам» предполагалось заменить десятию годами тюрьмы, а другим уменьшить сроки заключения вдвое. Этот вопрос предварительно согласовывался на высшем уровне, о чем косвенно свидетельствует помета Ягоды от 10 января 1924 г.: «Утверждено 5 лет и десять смертникам»²³².

Президиум ЦИК СССР направил в Политбюро проект, предлагавший более мягкий вариант — пять лет тюрьмы «смертникам» и два с половиной года остальным с отправкой всех в ссылку после отбывания срока заключения, с чем легко согласились члены Политбюро. Безусловно, отступление власти было вынужденной мерой, предпринятой под воздействием западноевропейского общественного мнения. Власти несли огромный политический урон и вопреки своим ожиданиям, что давление на них после ряда уступок спадет, волна, поднятая антибольшевистской эсеровской кампанией, волна недовольства преследованиями социалистов поднималась все выше и выше.

За эту уступку властей политзаключенные заплатили не только жизнью С. В. Морозова, покончившего с собой 20 декабря. Накануне, 19 декабря, возле Савватьевского «политскита» на Соловках, в ходе показательной боины, устроенной администрацией лагеря по приказу из Москвы, где стремились любыми способами ограничить «политрежим», были убиты шесть политзаключенных. Но их товарищи на «большой земле» и за границей об этом в январе 1924 г. еще не знали, это стало известно лишь весной, когда Белое море освободилось ото льдов.

Тогда же, в январе 1924 г. «тринадцатый смертник» процесса с.-р. В. Н. Рихтер откликнулся на смерть С. В. Морозова стихотворением, где сплетает воедино смерть В. И. Ленина и предшествующую ей гибель

в декабре 1923 г. члена ЦК ПСР С. В. Морозова. В этом стихотворении Рихтера есть и политическая оценка Николая II, которой он избегал в стихотворении о расстреле царской семьи, и политическая оценка Ленина:

Кровавый грозный царь прославиться хотел,
Создав опричнину заплечных виртуозов.
И Кремль ему кадил за сонм «бессмертных» дел,
Но у Кремля стоял замученный Морозов.

Кровавый красный вождь, мечтавший мир зажечь,
Угас, не разрешив поставленных вопросов,
На царство буржуа был поднят грозно меч...
Но у Кремля стоит замученный Морозов.

Но главное, что есть в этом стихотворении, — это видение места С. В. Морозова и своего собственного места и всех своих товарищей, стоящих живыми или мертвыми на пути диктатур, царей и вождей. Об этом же самом, но уже без пафоса, а напротив — с иронией В. Н. Рихтер пишет в декабре 1928 г. в стихотворении «Экзерсис»:

Война и подлый мир,
Круженье революций
В историю вольются,
Как очищающий клистир.
Тьма тем для диссертаций,
Неисчерпаемый итог,
А, может быть, пролог
Грядущих пертурбаций.
Но по ошибке нас,
Которым волю надо,
Зачислили не в ту плеяду,
Толкнув в иконостас...

С. В. Морозов, В. Н. Рихтер (умерший от тифа в 1932 г. в ссылке), как и многие их товарищи, не предавшие своих идеалов и не захотевшие покорно жить в «коммунистическом раю», на вопросы о смысле и цели жизни ответили своей жизнью и своей смертью.

§ 6. «...ОГПУ, КАК ДО СИХ ПОР, ТАК И В БУДУЩЕМ, БУДЕТ В СВОИХ РЕШЕНИЯХ РУКОВОДИТЬСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПРИНЦИПОМ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ...»: ИНИЦИАТИВА КОМИССИИ А. Л. ЛОЗОВСКОГО, Г. В. ЧИЧЕРИНА, В. Р. МЕНЖИНСКОГО И А. П. СМИРНОВА И БОРЬБА ЗА МЕСТА ССЫЛКИ (июль 1924 — февраль 1925 г.)

1 июля 1924 г. А. Лозовский сообщал в Политбюро ЦК РКП(б), что «за последние несколько месяцев» кампания за границей «за освобождение арестованных меньшевиков и эсеров» «крайне обострилась». Он констатировал: «Кампанию ведут Гамбургский Интернационал и Берлинский „Интернационал“ анархо-синдикалистов. По всем странам рассылаются циркуляры со списками арестованных. Наши товарищи из Германии, Франции и т. д. неоднократно запрашивали меня по этому вопросу. Коммунистическая пресса ничего не могла сказать, что произошло на Соловках. Это не

могло не усилить борьбы против Коминтерна, Профинтерна и Сов. России... Я считаю, что нужно принять меры, иначе эта кампания, поддерживаемая всей желтой прессой, принесет нам неисчислимый вред»²³⁵.

3 июля 1924 г. Политбюро приняло предложение А. Лозовского об устройстве закрытого заседания представителей делегаций Коминтерна для противодействия антибольшевистской кампании, а также создало комиссию в составе Лозовского, Чичерина, Менжинского и А. П. Смирнова для выработки «проекта информационного сообщения о мерах репрессий по отношению к меньшевикам и эсерам». Через месяц, 4 августа 1924 г., А. Лозовский от имени этой комиссии предложил Политбюро ЦК РКП(б) следующее: «1. Предложить через Коминтерн и Профинтерн организациям антисоветской пропаганды II-му и Амстердамскому Интернационалу забрать всех содержащихся в советских тюрьмах и концентрационных лагерях (всего около 1500 человек) меньшевиков, эсеров, анархистов и проч. 2. Советское правительство доводит до границы всех выслаемых вместе с семьями и сдает на руки представителям II-го и Амстердамского Интернационалов. 3. Визы, деньги на проезд от границы и вообще все то, что связано с пребыванием выслаемых за границей, не касается Советского правительства. 4. Коминтерн может попытаться получить взамен освобождаемых, не ставя это обязательно в условие, заключенных революционеров в индусских, египетских, германских и т. д. тюрьмах»²³⁶.

Самым интригующим в этой ситуации было то, что инициатива такой радикальной высылки принадлежала ОГПУ, очевидно решившего раз и навсегда избавиться себя от головной боли «общения с заключенными и ссыльными социалистами (оставив себе только эсеров-цекистов и грузинских меньшевиков). Именно об этом писал в своем письме от 4 августа 1922 г. в Политбюро ЦК РКП(б) зам. председателя ОГПУ В. Р. Менжинский: «Чтобы дать коммунистам запада оружие для агитации против растущего белого террора, мы предложили комиссии т.т. Лозовского и Чичерина выслать за границу находящихся в лагерях и ссылке меньшевиков, правых и левых эсеров, а также анархистов всех оттенков, за исключением лиц, причастных к уголовщине, шпионажу и проч.». По мнению ОГПУ, должно было быть точно оговорено, что эта мера не распространяется на Центральные Комитеты правых и левых эсеров, а также на грузинских меньшевиков как партию, прибегающую, по постановлению своих центров, к уголовщине всякого рода. Предложение должно было исходить от Коминтерна и Профинтерна, а не от Правительства, и направлено II-му Интернационалу, на который лягут все переговоры с правительствами, хлопоты по визам и проч. Приняты должны были быть все выслаемые, без права отводить тех или других лиц, а также их семьи. Деталь комиссия не решала до разрешения в Политбюро основного вопроса о высылке за границу указанных категорий»²³⁷.

В этот же день нарком иностранных дел Чичерин отправил письмо в Политбюро, где заявлял: «Я к предложениям комиссии присоединяюсь, как и вообще все ее решения были приняты единогласно»²³⁸. Но на своем заседании 7 августа 1924 г. члены Политбюро приняли следующее решение: «3 а) Предложение комиссии т. Лозовского отвергнуть. б) Не возражать, если МОПР возьмет на себя инициативу возбуждения, от своего имени, вопроса об обмене меньшевиков и других политических заключенных в СССР на коммунистов, заключенных в тюрьмах др. стран...»²³⁹.

Что касается эсеров-цекистов, то они в это время уже все находились в Бутырской тюрьме, где несколько позже разыгралась очередная трагическая сцена их борьбы за свои права. Столкновение произошло по

значимому для противостоящих сторон вопросу — месту ссылки для заканчивавших свои тюремные сроки заключенных. Чекисты подбирали места ссылок очень тщательно (как это видно, например, из дела Д. Д. Донского), учитывая все: степень политической опасности и личной активности ссылаемого, степень удаленности от железной дороги, от границы (в частности, с Манчжурией, где была сильная эсеровская колония, способная организовать побег), квалификацию местных кадров ГПУ и т. д. Понятно, что чекисты предпочитали перестраховаться и подобрать соответствующие места по принципу «куда Макар телят не гонял». Это не могло не вызвать противодействия оставшихся в тюрьме эсеров, от имени которых А. Р. Гоц 18 декабря 1924 г. писал в Президиум ЦИК СССР: «15 декабря нами было получено постановление Комиссии о назначении местом ссылки для т. Альтовского — ЧЕРДЫНИ, а для т. Ратнер — ПЕЧЕРСКОГО Края. Поездка в Чердынь зимой, с малолетним ребенком, в пункт, лежащий вдали от железной дороги, является для т. Альтовского делом совершенно невозможным.

Что же касается т. Ратнер, то отправка человека, только что перенесшего операцию, с тремя детьми и большой старухой матерью в пустынный безлюдный край, у Полярного круга и в 1000 верстах от железной дороги, где невозможно найти какой бы то ни было заработок, равносильно присуждению пяти человек к медленной смерти. Подобного рода назначения мы можем истолковывать только как желание в скрытой форме, тайком, от общественного мнения России и Запада вернуться к смертному приговору, отмененному Вами, либо как мести со стороны власти.

Но какими бы соображениями не было вызвано это постановление, совершенно очевидно для каждого, что никто из нас согласится на подобного рода места в качестве ссылки не может, не обрекая семьи своей на нечеловеческие условия жизни.

Нам неоднократно заявлялось представителями как Прокуратуры, так и ГПУ, что Президиум ЦИК является органом непосредственного ведающим нами. Поэтому мы заявляем перед вами самый решительный протест против подобного рода назначений, которые мы не можем иначе квалифицировать, как издевательство и провокация»²⁴⁰.

Реакция чекистов на требования заключенных прекрасно видна из справки начальника 3-го отделения Секретного Отдела ОГПУ И. Решетова, написанной, очевидно, по заданию своего руководства не позднее 27 декабря 1924 г.: «Гр[аждани]н ГОЦ от имени всех осужденных по процессу Ц.К. ПСР подал на имя Президиума ВЦИК'а заявление, в котором он пишет, что отправка чекистов, по отбытию ими срока заключения в ссылку, есть: „желание в скрытой форме, тайком от общественного мнения России и Запада, вернуться к смертному приговору“, что ссыльные и их семьи: „обрекаются на нечеловеческие условия“, что ссылка — “издевательство и провокация“.

До сего времени отбыли срок тюремного заключения и отправлены в ссылку 6 человек, а кончают и будут отправлены еще 2-ое.

1. ЗЛОБИН П. В. — 25/5 — 23 г. выслан сроком на 2 года в Уфу, работает, живет с семьей, материально не нуждается.

2. ГОРЬКОВ-ДОБРОБОЛЮБОВ Г. Л. — 7/9 — 23 г. был выслан, сроком на 3 года, в Царицын, бежал, желая перейти на нелегальное положение и активно работать в ПСР, арестован и заключен в концлагерь.

3. БЕРГ Е. С. — 21/1 — 24 выслан, сроком на 3 г. в Темир-Хан-Шуру Дагестанской области, живет с семьей, имеет работу, судя по письмам и докладам Губотдела, живет хорошо. Жена БЕРГА в письме от 15/XI с.г.

к жене осужденного] РАКОВА, пишет: „Здесь дешевые фрукты. Если иметь монету и друзей, куда зайти, то жить можно. Дим. Фед., обязательно, пусть просится сюда, а потом и Флориан и Абрам и заживем мы на славу“. Дим[итрий] Фед[орович] — РАКОВ, Флориан — ФЕДОРОВИЧ, Абрам — ГОЦ. Дальнейшие комментарии излишни.

4. ЛЬВОВ М. И. 21/1 — 24 выслан, сроком на 3 года в Чардынь Верхне-Камского Округа по месту ссылки его жены. Работы пока не имеет, получает достаточную материальную поддержку от общества помощи политзаключенным. В письмах на нужды не жалуется.

5. ДОНСКОЙ Дим[итрий] Дим[итриевич] 11/VII — 24 г. выслан сроком на 3 года в село Парабель Нарымского Края. Работает врачом Парабельской больницы, живет с семьей. О жизни Парабельской колонии ссыльных, жена ссыльного ЗЛАТОГОРОВА в письме от 2/XII — т.г., после описаний дешевизны квартиры и продуктов пишет: „Как видишь, умереть с голоду нельзя. Нам, приедем, продают охотно... В общем я с удовольствием отдохну здесь зиму“. Полная выписка из письма прилагается.

6. УТГОФ В. Л. выслан на Урал и направлен неделю тому назад для отбывания срока ссылки в гор. Тюмень. Сведений о том, как он устроился, в СООГПУ еще нет.

7. АЛЬТОВСКИЙ А. Ив[анович] кончает срок тюремного заключения 27/XII с.г. и по пост[ановлению] особ[ого] совещ[ания] при Колл[егии] ОГПУ будет направлен в адм[инистративную] ссылку в гор. Чардынь по месту ссылки его родственника по жене цекиста ЛЬВОВА.

8. РАТНЕР Е. М. кончает срок тюремного заключения 27/XII — т.г. и по пост[ановлению] особ[ого] совещ[ания] при Колл[егии] ОГПУ будет направлена для отбывания срока адм[инистративной] ссылки в гор. Усть-Цильму Печерского уезда, Архангельской губ.

Из данного перечня видно, что:

1. Цекисты, по отбытию срока заключения, направляются ОГПУ в самые разнообразные пункты — от южных Теми[р]-Хан-Шуры и Царицына до северных Печерского и Нарымского. То или другое место ссылки определяется в зависимости от степени политической активности высылаемого и связанной с этим необходимостью в большей или меньшей изоляции и состоянием его здоровья.

2. Цекистам назначаются обычные районы ссылки, в которые (это хорошо знает ГОЦ) отбывали и отбывают сейчас ссылку, ряд его товарищей по партии, так что говорить о „мести“ со стороны власти и жестокости „при выборе места ссылки[?]“ — по меньшей мере нелепо. Истерическое кликушество заявления ГОЦА и К-о вызвано не необходимостью спасти цекистов от кошмарных условий ссылки (эти условия ГОЦ знает не хуже ОГПУ), а совершенно особыми причинами.

ГОЦ и его товарищам, по состоянию партии с.-р. в данное время считаю необходимо добиться от Соввласти таких условий ссылки, при которых они могли бы или руководить деятельностью с.-р. в Союзе, или бежать за границу и принять участие в работе 3. Д. ПСР.

Отсюда и истерика, и хватание за детей РАТНЕР, находящихся, кстати, в детском доме Наркомпроса и имеющих отца, и нелепые обвинения и т. д. и т. д.

Не исключена со стороны цекистов надежда использовать заявление, как прокламацию, для организации общественного мнения определенных кругов СССР и за границей в своих целях. За то, что заявление писалось не только для Президиума ВЦИК говорит его исключительно вызывающий тон.

Чтобы раз навсегда покончить с этим вопросом, необходимо категорически дать понять осужденным членам Ц.К. ПСР, что ОГПУ, как до сих пор, так и в будущем, будет в своих решениях руководиться исключительно принципом политической целесообразности, не считаясь с тем, устраивает это или нет ГОЦа и других, что условия, при которых ГОЦ и К-о могли бы вести эсеровскую, антисоветскую работу — не будут ОГПУ допущены никогда»²⁴¹.

Руководство ГПУ, заявлявшее заключенным о том, что единственным органом, непосредственно ими ведающим, является Президиум ЦИК СССР, не поставило в известность об их заявлении ни Президиум ЦИК СССР, ни Политбюро ЦК РКП(б). Подписанное А. Р. Гоцем требование заключенных от 7 января 1925 г., чтобы Президиум ВЦИК прислал своего правомочного представителя для выяснения вопроса о местах ссылки, чекистами также, судя по всему, было замолчано. Очевидно, не желая в очередной раз делать Политбюро свидетелем своего бессилия, чекисты пошли на беспрецедентный по наглости шаг — они заявили эсерам, что все отказавшиеся поехать в выбранные для них места ссылки будут во внесудебном порядке отправлены на 3 года в концлагерь. Расчет чекистов столь страшной альтернативой сломить волю заключенных с треском провалился — они 27 января 1925 г. объявили о начале с 29 января голодовки. И только выждав три дня, и, очевидно, поняв, что эсеры пойдут до конца, чекисты поставили большевистское руководство в известность, отправив по адресу заявления осужденных о начале голодовки.

В заявлении в Президиум ЦИК СССР от 27 января 1925 г. (подписанном А. Гоцем, Ф. Федоровичем, М. Лихачем, Н. Артемьевым, Н. Ивановым, Е. Ивановой, М. Гендельманом, А. Альтовским, Л. Герштейном, Е. Ратнер, Е. Тимофеевым, Д. Раковым, М. Веденяпиным, В. Агаповым) заключенные эсеры писали: «В продолжение трех недель мы не получили никакого ответа. Тогда мы снова обратились с заявлением в ЦИК с просьбой уполномочить его приехать к нам своего представителя для урегулирования вопроса о месте ссылки для лиц, заканчивающих свой срок по делу ЦК ПСР.

Ссылка в подобных условиях является замаскированной попыткой ухудшить наше положение по окончании срока, подвергая опасности жизнь и здоровье наших семей, и естественно, не может не вызвать с нашей стороны реакции в доступных нам формах тюремной борьбы за существование.

В постановлении ЦИКа от 14 января 1924 г. в качестве единственного ограничения упоминается лишь указание на „промышленные“ и густонаселенные местности Союза ССР. А в опубликованном и не опровергнутом интервью Наркомюста Курского было указано, что окончившим свой срок с.-р. по делу ЦК „не угрожает высылка на окраины Союза“.

Никакого ответа в продолжение 3-х недель не последовало и на это второе наше заявление.

А посетивший нас за это время представитель ГПУ (гр. Андреева) заявила нам, что в случае отказа выехать в места ссылки, назначенные для нас, лица, не подчинившиеся распоряжению Комиссии, будут вновь заключены в концлагерь сроком на 3 года.

Таким образом, мы были поставлены перед выбором: либо согласие на выезд в заведомо гиблые, заведомо неприемлемые места, либо продолжение внесудебным порядком срока тюремного заключения еще на 3 года.

Ни то, ни другое для нас одинаково неприемлемо.

Поэтому, рассматривая данный случай с т.т. Ратнер и Альтовским как вопрос, касающийся одинаково всех нас и желая его урегулировать в порядке, дабы установить те рамки, в пределах которых должен разрабатываться вопрос о ссылке для всех членов нашей группы, заканчивающих тюремный срок, — мы перед лицом, с одной стороны, нежелания ЦИКа прислать к нам своего представителя для урегулирования данного вопроса, а с другой стороны, невозможности затягивания пребывания в тюрьме для т.т. уже окончивших срок — вынуждены с четверга 29 января с 10 ч. утра объявить голодовку.

По постановлению Коллектива т.т. Раков, Герштейн и Веденяпин участия в голодовке принимать не будут, ввиду крайне болезненного состояния здоровья»²⁴².

Вынужденные предать огласке свой конфликт с заключенными эсерами, зам. председателя ОГПУ Ягода и начальник СО ОГПУ Дерибас 30 января 1925 г. отправили письмо Мехлису — «в Особую папку для срочного доклада тов. Сталину», где дали такую версию происходящего и свои варианты выхода из тупика: «Осужденные по процессу ЦК ПСР с 10 часов утра 29.1 с.г. объявили голодовку, освободив трех (Герштейна, Ракова и Веденяпина) из четырнадцати от таковой ввиду болезненного якобы состояния здоровья.

История голодовки такова: окончившим срок тюремного заключения Альтовскому и Ратнер согласно постановлению ЦИК от 11—24 г. об отмене высшей меры наказания с сокращением срока заключения наполовину нами предложено выехать в назначенные Особ[ым] Сов[ещанием] места ссылки — первому в Чердынь, второму в Усть-Цильму. Альтовский и Ратнер ехать в ссылку устно отказались, мотивируя гиблостью назначенных мест ссылки, а Ратнер, кроме того, еще и невозможностью ехать туда с детьми, которые учатся здесь на советский счет и живут в советском же интернате.

Одновременно все заключенные заявляем от 18.ХІІ.24 г. в президиум ЦИК СССР объявили протест, назвавши решение о таких местах ссылки замаскированным возвращением к смертному приговору. Заявлением от 7.І. с.г. заключенные потребовали у Президиума ЦИКа правомочного представителя для совместного установления мест ссылки всем оканчивающим срок тюремного заключения.

По имеющимся в нашем распоряжении абсолютно достоверным сведениям означенная голодовка носит главным образом характер политического нажима на правительство и уже 27.І за границу сообщено о голодовке как о факте для поднятия в прессе, а также во 2-м Интернационале и Амстердаме соответствующей кампании.

Мы считаем, что требования с.-р. не могут быть удовлетворены ни в части, касающейся изменения мест ссылки, ибо это будет прецедентом для предстоящей в мае нынешнего года высылки Гоца, Тимофеева и Артемьева, а равно и всех остальных, оканчивающих тюремные срок в 26 году, ни тем более в части, касающейся посылки к ним представителя ЦИКа для совместного установления мест ссылки, ибо это закрепит положение, что ЦИК является лишь договаривающейся стороной, второй же стороной являются заключенные всех политических категорий.

Поэтому мы предлагаем ответить заключенным примерно таким постановлением ЦИКа СССР:

1. Постановление Особого совещания при ОГПУ о местах ссылки Альтовскому и Ратнер, как совершенно закономерное, утвердить, но в случае подачи персональных заявлений осужденными Альтовским и Ратнер разрешить ОГПУ означенное постановление пересмотреть и места ссылки по

своему усмотрению изменить; что же касается мест ссылки для остальных заключенных, еще не окончивших своих тюремных сроков и по которым постановления Особого Совещания не вынесено, то рассмотреть их в обычном порядке, если таковые в свое время будут обжалованы заключенными по принадлежности.

2. Поручить пом. Прокурора республики т. Катаньяну объявить означенное выше постановление заключенным»²⁴³.

31 января 1925 г. предложенный чекистами текст постановления ЦИК СССР был одобрен членами Политбюро²⁴⁴. Но противостояние продолжалось, и вот как оно выглядело в очередном сообщении Ягоды и Дерибаса Сталину от 6 февраля 1925 г.: «В дополнение к нашему сообщению о голодовке группы ПСР дополнительно сообщаем следующее: 2. II—с.г. НАЧСОГПУ и Прокурором при ОГПУ всем голодающим эсерам было объявлено постановление ЦИКа СССР от 2. II—с.г. в ответ на их заявление.

Осужденными по процессу ЦК ПСР в лице Гоца было заявлено, что голодовку они смогут прекратить только тогда, когда в их руках будет документ, где будет указано, что местами ссылки всем им после окончания тюрем будут даны 1) губернские или соответствующие уездные города, 2) обязательно на железной дороге и 3) приемлемые для них в климатическом отношении.

Такое устное обещание было им тут же дано в отношении Альтовского и Ратнер и было указано, что в ближайшие дни Особым совещанием такой пересмотр будет произведен. Что же касается остальных не кончивших еще тюремного срока, то при решении вопроса о их ссылке будут также положены в основу перечисленные выше три момента. В письменном обещании отказано.

4. II—с.г. в 16 часов Раковым, Веденяпиным и Герштейн, освобожденными от голодовки по болезни, было подано заявление о присоединении к голодовке. В заявлении было указано, что присоединяются к голодовке „вопреки решению товарищей“.

3-мя часами ранее ОГПУ было известно, что осужденный Федорович, выйдя из камеры, громко крикнул, чтобы к голодовке присоединились остальные 3 (Раков, Веденяпин и Герштейн) — по приказу „Старшего“ (Гоца).

ОГПУ известно также, что до присоединения к голодовке между Раковым, Веденяпиным и Герштейном были большие споры и несогласия по вопросу о присоединении.

Осмотром врача, пользующего голодающих, констатировано тяжелое состояние Артемьева и Ратнер (пульс 140 у первого и 130 у второй, тоны сердца глухи, общее состояние депрессивное) с безусловным смертельным исходом для Артемьева в течение ближайших часов.

Если полагать, что весьма возможная смерть Артемьева политически не столь серьезное обстоятельство, то независимо от исхода дела с Артемьевым объявить завтра постановление Особого совещания о том, что „осужденным по процессу ЦК ПСР Альтовскому и Ратнер согласно их персональным заявлениям заменить ссылку: Альтовскому в Чердынск ссылкой на тот же срок в Темир-Хан-Шуру, Ратнер — вместо Усть-Цильмы на тот же срок в Вятку или Самарканд“. Об остальных же оставить вопрос открытым и предоставить им после этого продолжать голодовку.

Если же смерть Артемьева политически абсолютно недопустима, то единственным средством предотвратить таковую является объявление сегодня же и второй части постановления Особого совещания о том, что „осужденным по процессу Гоцу, Веденяпину, Герштейну, Ракову,

Тимофееву, Артемьеву, Иванову, Ивановой, Гендельман, Федоровичу, Лихач и Агапову в ответ на их заявление объявить, что при определении их мест ссылки по окончании ими срока тюремного заключения Особым совещанием будет принято во внимание их заявление о высылке в губернские города или соответствующие уездные, находящиеся на железных дорогах, климатически здоровые“.

Возможно настойчивое требование осужденных выдать им копии означенных постановлений на руки, против чего мы примем все меры».

О требованиях осужденных эсеров доносил И. В. Сталину и Катанян, писавший: «На мое указание, что ввиду поступления от РАТНЕР и от АЛЬТОВСКОГО персональных заявлений о перемене им места ссылки, вопрос этот будет поставлен на ближайшее Особое Совещание, последовал со стороны ГОЦА ответ, что сейчас всех осужденных мало интересует вопрос персональный, что они ставят общий вопрос о гарантиях для остальных, которым срок заключения в тюрьме не истек. При этом Гоц заявил, что необходимым условием прекращения голодовки является удовлетворение следующих требований: а) место ссылки должно быть в климатическом отношении вполне благополучным; б) местом ссылки должен быть губернский или соответствующий уездный город; в) пункт, выбранный для жительства, должен быть на линии железной дороги, причем эти гарантии они требуют в письменном виде с оставлением копии у них».

Почему чекисты, всегда склонные преуменьшать серьезность состояния голодающих, вдруг употребили столь несвойственные им выражения о состоянии Артемьева, становится ясным из двух документов. В первом «врач тюрем ОГПУ», осмотрев Артемьева и Ратнер, доносил начальнику СО ОГПУ Дерibasу: «Находящиеся под моим наблюдением с 2 сего февраля заключенные Бутырской тюрьмы Особого коридора голодают 9-е сутки. Общее состояние их до сего времени удовлетворительно, за исключением: 1) Артемьева — пульс 140, тоны сердца глухи, общее состояние — депрессия, слезливость. Состояние тяжелое, будет повторно осмотрен сегодня вечером. От приема лекарств категорически отказывается. 2) Ратнер — пульс 130, тоны сердца глуховаты, жалобы на сильные боли в нижних конечностях как следствие расстройства кровообращения в связи с голоданием. Получает веронал с морфием, сегодня выписано местно — хлороформ с маслом. Сердечные средства назначены Ивановой и Альтовскому, лекарства ими принимаются; также принимаются лекарства Гоцем, Тимофеевым, Гендельманом, Федорович»²⁴⁵.

Вполне вероятно, что отказ от приема лекарств был дополнительным обстоятельством крайне тяжелого состояния Артемьева. В этот же день вечером состоялся осмотр Артемьева консилиумом из трех врачей, написавшим следующий документ: «Акт. Мы, нижеподписавшиеся, освидетельствовали 5 сего февраля в 9.30 вечера заключенного Бутырской тюрьмы гр. Артемьева, при чем нашли: Артемьев голодает 8-е сутки, со стороны внутренних органов обнаружено: сердце резко расширено, как вправо, так и влево, тоны еле (1 слово не разобрано. — К. М.), причем тип сокращения сердца эмбрионального характера; пульс почти нитевидный 125—130 ударов в сек., со стороны легких отдельные застенные хрипы в нижних долях, дыхание 32—33 <документ поврежден>, живот слегка втянут, резких уклонений от N не обнаружено. На голених заметная натозность, коленные рефлексы повышены. Со стороны кожных покровов лица ясно выраженный цианоз губ, крыльев носа и ушей. Общее состояние гр. Артемьева чрезвычайно тяжелое и абсолютно опасное для жизни»²⁴⁶.

Сталин предпочел выбрать бескровный, более мягкий вариант, и на заседании Политбюро 6 февраля 1925 г. было решено принять предложение ОГПУ и даже «не возражать против вручения копии постановления арестованным»²⁴⁷. Речь шла о постановлении Особого совещания при ОГПУ, подписанного председателем его Г. Ягодой и прокурором Катаняном, дословно повторявшем обе части их предложения, имевшегося в письме к Сталину²⁴⁸.

§ 7. АРЕСТ ССЫЛЬНЫХ ГОЦА И ТИМОФЕЕВА, ИХ ГОЛОДОВКИ И НОВЫЕ ТЮРЕМНЫЕ СРОКИ (июль — сентябрь 1925 г.)

Потушив конфликт, руководство ОГПУ всерьез стало задумываться о перспективах скорого выхода в ссылку виднейших и опаснейших для себя эсеров. Свидетельством этого служит справка, написанная в начале 1925 г. начальником 3-го отделения СО ОГПУ И. Решетовым о степени опасности и о местонахождении осужденных по процессу ЦК ПСР: «На запрос тов. ДЗЕРЖИНСКОГО о ВЕДЕНЯПИНЕ и др. осужденным по процессу ЦК ПСР:

1. ВЕДЕНЯПИНУ М. А., как и всем Цекистам, будут зачтены все его аресты при Соввласти.

Срок тюремного заключения его кончается 5/8—25 г.

2. ВЕДЕНЯПИН — тактичнее, выдержаннее, осторожнее остальных цекистов, свою тактику он строит с таким расчетом, чтобы у ГПУ создать впечатление о своей относительной неопасности, посему считать его политически приличнее остальных цекистов нет никаких оснований.

3. Наиболее активными врагами из цекистов являются: ГОЦ, ТИМОФЕЕВ, ВЕДЕНЯПИН, РАКОВ, РАТНЕР и активист боевик ИВАНОВ.

Первые пять из них, являются руководящей головкой, своего рода Политбюро ЦК ПСР. За прошлый год ЦБ ПСР неоднократно получало постановления ЦК ПСР по вопросам организационным и политическим, причем эти постановления и решения принимались за весь ЦК, только ГОЦ, ТИМОФЕЕВЫМ, РАКОВЫМ, ВЕДЕНЯПИНЫМ и РАТНЕР.

Неоднократно поступали в СООГПУ агентурные сведения о том, что эти 5 цекистов — эсеровская головка.

Поэтому этих цекистов мы должны держать особо крепко.

Кроме того в числе осужденных по процессу ЦК ПСР мы имеет таких боевиков-активистов — как ИВАНОВ, ИВАНОВА, УТГОФ и отчасти АГАПОВ; сторонников и руководителей террористических актов, как ДОНСКОЙ и ГЕРШТЕЙН.

Среди цекистов имеются крупные и способные руководители местных организаций п.с.р.: АРТЕМЬЕВ, ЛИБЕРОВ, ЛЬВОВ, БЕРГ, ЛИХАЧ и АЛЫТОВСКИЙ.

Среди цекистов есть пользующиеся в партии громадным моральным авторитетом: БЕРГ, ГЕНДЕЛЬМАН, ФЕДОРОВИЧ.

Все это — активные и серьезные враги, считающие борьбу с Соввластью, делом своей жизни и могущие устроить немало пакостей при благоприятной к этому обстановке.

4. Из осужденных по процессу ЦК ПСР, кончили срок тюремного заключения:

1. ЗЛОБИН П. В. — 23/5—23 г. выслан в Уфу на 2 г., срок ссылки кончается 23 Мая 25 г.
2. ГОРЬКОВ-ДОБРОЛЮБОВ Г. Л., окончил срок 7/9—23 г., бежал из ссылки и 20/6—24 г., осужден на 3 г. в концлагерь. Содержится в Ярославле.
3. БЕРГ Е. С. — 21/1—24 г. выслан на 3 года в Темир-Хан-Шуру.
4. ЛЬВОВ М. И. — 21/1—24 г. выслан на 3 года в Чердынь Верхне-Камского Округа.
5. ДОНСКОЙ Д. Д. — 11/7—24 г. выслан на 3 года в Нарымский край.
6. УТГОФ В. Л. — 8/8—24 г. выслан на 3 года в Тюмень.
7. АЛЬТОВСКИЙ А. И. — 27/XII—24 г. выслан на 3 года в Темир-Хан-Шуру.
8. РАТНЕР Е. М. — 27/XII—24 г. выслан на 3 года в Самарканд.
5. СОДЕРЖАТСЯ В БУТЫРКАХ.
 1. АГАПОВ В. В. — Кончается срок 4/X—25 г.
 2. АРТЕМЬЕВ Н. И. — Кончается срок 20/III—25 г.
 3. ВЕДЕНЯПИН М. А. — Кончается срок 25/8—25 г.
 4. ГОЦ А. Р. — Кончается срок 20/5—25 г.
 5. ГЕРШТЕЙН Л. Я. — Кончается срок 19/4—26 г.
 6. ГЕНДЕЛЬМАН М. Я. — Кончается срок 15/III—26 г.
 7. ИВАНОВА Е. А. — Кончается срок 19/XII—26 г.
 8. ИВАНОВ Н. Н. — Кончается срок 2/VIII—26 г.
 9. ЛИБЕРОВ А. В. — Кончается срок 2/5—25 г.
 10. ЛИХАЧ М. А. — Кончается срок 25/1—26 г.
 11. РАКОВ Д. Ф. — Кончается срок 30/X—25 г.
 12. ТИМОФЕЕВ Е. М. — Кончается срок 17/5—25 г.
 13. ФЕДОРОВИЧ Ф. Ф. — Кончается срок 23/III—26 г.»²⁴⁹.

Необходимость «держать особо крепко» нескольких эсеров, выходящих в ссылку, где это было делать значительно сложнее, чем в тюрьме, предопределила следующий конфликт, вспыхнувший летом 1925 г., когда всех только что отпущенных в ссылку видных эсеров-цекистов Дзержинский потребовал вновь арестовать, пугая членов Политбюро тем, что заграничные эсеры вот-вот начнут террор, и прочими неприятными для них вещами. В своем письме к Сталину от 6 июля 1925 г. председатель ОГПУ заявлял: «Еще во время нахождения во Внутренней и Бутырской тюрьмах всех осужденных по процессу ЦК ПСР, ОГПУ было известно из агентурных сведений, поступавших неоднократно из различных источников о том, что цекисты из тюрьмы руководят работой СР в России, через своеобразное Политическое Бюро в составе: ГОЦ, ТИМОФЕЕВА и РАКОВА, а в особо важных делах принимают участие кроме того еще РАТНЕР и ВЕДЕНЯПИН.

ОГПУ по освобождении Цекистов из тюрьмы отдавало себе ясный отчет в том, что часть Цекистов еще в ссылке будет вести партийную работу, другая часть убежит за границу, а остальные перейдут на нелегальное положение для ведения партийной работы в России. Последующая практика все предположения наши начинает оправдывать.

Так, из-за границы сообщают:

«Прага сильно радуется по поводу частичной амнистии смертников (особенно рады, что ГОЦ на свободе) и думают со временем их всех выудить за границу, чтобы развязать себе руки для перехода партии к активной работе. Между прочим в данное время заграничная делегация п. СР находит, что сейчас почва в достаточной степени спяхана для того, чтобы п. СР могла заняться уже и террористической деятельностью в России».

В одной из бесед арестованного КОЛОСОВА Евг. Евг. с членами Центральн[ого] Бюро п.с.р. последнего состава он заявил, что на предстоящий конгресс 2-го Интернационала будет послан представитель п. СР из России, причем он произведет большой фурор, ибо явится, как бы воскресшим из мертвых. Члены ЦБ п. СР поняли это как указание на то, что поедет кто-то из крупных и освобождаемых чекистов. Известно, что за границей один раз ТИМОФЕЕВА уже „хоронили“.

Очень быстро Чекисты установили связь с за границей и ведут оживленную переписку. Очень большую переписку ведет жена ГОЦА. Особенно любопытными являются письма одной неизвестной Тани из Парижа, где определенно читается, что ГОЦ убежит за границу и даже назначается срок — конец Июля.

Сам ГОЦ, из ссылки нелегальным путем отправил за границу в „Дни“ известное письмо Эд. ФИММЕНУ, — помеченное, правда, задним числом (1 Января).

Из за границы же Чекисты получают и деньги. Получают через Кр. Крест на своих жен, а ТИМОФЕЕВ один раз получил партийного содержания письмо и доллары через одно лицо, живущее в Киеве.

По прибытии в ссылку Чекисты сразу же объединяют ссыльных, ведут среди них партийную работу, ведут большую переписку не только между собою, но и со многими другими ссыльными с.р. и целыми колониями ссыльных. Путем этой переписки стараются прежде всего учесть наличные эсэровские силы и, затем уже дать им соответствующие директивы.

Из освобожденных в первую очередь Чекисты двое (ГОРЬКОВ-ДОБРОЛЮБОВ и ЛЬВОВ) уже из ссылки бежали, конечно, для партийной деятельности.

Пребывание Чекистов (коих за граница упорно называла и называет заложниками) на свободе приподняло настроение эс-эров в России и за границей, развязало им руки для начала террористической деятельности (настроения террористические у эс-эров растут), подняло настроение ссыльных и позволило эс-рам питать некоторые надежды строить известные планы на усиление партийной работы, как за границей так и в России.

Поэтому ОГПУ полагает необходимым срочно произвести арест всех эс-эровских Чекистов, находящихся сейчас на свободе»²⁵⁰. Получив, очевидно, разрешение, чекисты 11 и 12 июля 1925 г. арестовали А. Р. Гоца и Е. М. Тимофеева, которые объявили голодовку. 15 июля 1925 г. Ягода и Дерibas докладывали в Политбюро ЦК РКП(б): «Арестованный 11/VI в Ульяновске член ЦК ПСР А. Р. Гоц объявил голодовку, но после допроса снял, заявив, что если арест его вызван опубликованием его письма к Э. Фиммену, то он готов нести ответственность, заявивши, что если через неделю не будет освобожден, объявит голодовку. Арестованный 12/VI в Коканде член ЦК ПСР Е. М. Тимофеев также объявил смертельную голодовку, которую продолжает и сейчас, требуя освобождения».

Хранящиеся в личном деле А. Р. Гоца документы позволяют реконструировать события в Ульяновске. Ульяновск, куда был выслан Гоц, входил в число городов, названных им в качестве желательных в его заявлении Г. Ягоде. Впрочем, вопрос, как обычно, был решен не Ягодой, а Андреевой²⁵¹. Постановлением Особого Совещания при коллегии ОГПУ от 11 мая 1925 г. Гоц был выслан в Ульяновск сроком на три года²⁵².

Но уже 10 июля начальник Ульяновского горотдела ОГПУ Шийрон приступил «к производству предварительного следствия»²⁵³. В «Сводке по делу гражданина Гоца Абрама Рафаиловича» он писал: «За время

пребывания Гоца в Ульяновске с 22 мая 1925 года контролем его корреспонденции, наблюдением и агентурными данными установлено несомненное стремление Гоца стать во главе работы ПСР. Путем обширной переписки (условной) со всеми виднейшими членами ПСР выясняется надежная партийная эсеровская сила. Гоцем также установлена связь с членом ЦК ПСР Тимофеевым, высланным в Коканд, посредством обширной переписки и обмена книг. По агентурным данным книги использовались для зашифрованных сношений друг с другом»²⁵⁴.

Арестованный и заключенный «под стражу в Ульяновский домзак по 1 категории»²⁵⁵ и допрошенный 10 июля 1925 г., Гоц собственноручно заполнил бланк протокола допроса, где, вычеркнув стандартную фразу «Я признаю себя виновным в предъявляемом мне обвинении и в свое оправдание заявляю», написал следующее: «После окончания срока заключения был выслан в г. Ульяновск, где жил исключительно в кругу своей семьи и не имел никаких связей и даже знакомств среди местного общества и потому совершенно не понимаю, что могло послужить причиной моего нового ареста. Переписку вел исключительно с родными и близкими друзьями частного характера»²⁵⁶.

На допросе 21 июля 1925 г. Гоц держался весьма мужественно и на попытки чекистов добиться от него отказа от своих прежних взглядов и заставить отмежеваться от В. М. Чернова и ЗД ПСР отвечал достаточно недвусмысленно: «Что касается моего отношения к вопросам о единстве профдвижения, о терроре, интервенции, вооруженной борьбе, экономической борьбе и взрыве советского аппарата изнутри, то на эти вопросы мне легко ответить ссылкой на все документы, написанные ЦК ПСР, и на все принципиальные заявления, сделанные как мною, так и моими товарищами по ЦК за время процесса... Строгая изоляция, которой был подвергнут я и мои товарищи в тюрьме, совершенно оторвала нас от практической работы партии как за границей, так и в России. О первой мы узнавали только из советской прессы, а о второй — по арестам. Таким образом, никакого аутентичного представления о практической деятельности партии в настоящее время я не имею.

Что касается моего отношения к Чернову В. М. и Заграничной Делегации, то заявляю, что я являюсь единомышленником В. М. Чернова: мы оба примыкаем к одному и тому же течению в партии. Заграничная же делегация была в свое время выбрана ЦК партии, и я как член ЦК, конечно, несу политическую ответственность за всю ее работу.

...На вопрос мне: „а не намеревались ли Вы бежать” — могу ответить только указанием на свое семейное положение. К тому же, если бы я и заявил, что не намереваюсь бежать, то все равно Губотдел ОГПУ не поверил бы мне. Мои поездки за Волгу (их было всего три) носили совершенно невинный характер и были вызваны просьбами моих детей покатасть их на пароходе. Если бы я знал, что тот берег Волги считается загородной чертой, то я, конечно, не предпринял бы этих поездок»²⁵⁷.

Кульминацией всего допроса был последний вопрос о том, намерен ли Гоц «вести партийную работу в будущем», на который он ответил так: «Относительно своей будущей работы я сейчас сказать ничего не могу. Я могу говорить и нести ответственность только за то, что было. Больше ничего добавить не могу»²⁵⁸. Впрочем, подписывая протокол, Гоц попросил дописать: «Ответ на последний вопрос дополняю следующим: Как старый политический деятель я, конечно, понимаю те последствия, которые повлекла бы за собой моя работа, и в таком случае не протестовал бы против ответственности, связанной с ней».

23 июля 1925 г. Гоц написал начальнику Ульяновского губотдела ОГПУ следующее заявление: «В силу соображений, изложенных мной Вам на допросе от 21 июля, я настаиваю на пересмотре оснований, вызвавших мой арест. Если до 10 августа 1925 г. я не получу положительного ответа об освобождении меня на жительство в г. Ульяновске, я вынужден буду объявить голодовку»²⁵⁹. 24 июля ульяновские чекисты объявили Гоцу, что «предварительное следствие по его делу закончено» и что «дело направляется на рассмотрение Особого Совещания при Коллегии ОГПУ»²⁶⁰.

В Заключении, написанном 24 июля начальником Ульяновского Губотдела ОГПУ, заявлялось, что «сопоставляя агентурные данные и поведение самого Гоца, ГО ОГПУ сделал вывод, что бегство Гоца за границу должно было состояться не позже конца июля с.г.». Несмотря на то, что никакими серьезными доказательствами чекисты не располагали, они утверждали, что считают «обвинение Гоца в активной работе в партии с.-р. и подготовке к побегу доказанным»²⁶¹.

Уже 30 июля 1925 г. Е. Хорошкевич, рассмотрев дело Гоца, предложила считать обвинение Гоца по 60 ст. УК доказанным и передать его на заключение ОС при Коллегии ОГПУ²⁶². 31 июля Андреева наложила на документ следующую резолюцию: «Предлагаю Гоца заключить в тюрьму на 3 года (цифра 3 была затем переправлена на 2. — К. М.)». Резолюции «Согласен» поставили И. Решетов и Дерибас. Заключение было передано «на заключение Особого Совещания при Коллегии ОГПУ с перечислением за ним арестованного».

Но чекисты отнюдь не спешили «обрадовать» А. Р. Гоца своей «добавкой», а тянули время. 5 августа 1925 г. А. Р. Гоц, находясь в Ульяновском домзаке, написал заявление «граж. Председателю ОГПУ»: «Мне было заявлено, что мое дело не может быть рассмотрено ранее конца этого месяца ввиду отсутствия в данный момент членов Президиума. Считаюсь с этим обстоятельством, я вижу себя вынужденным отложить голодовку до 1 сентября. Мне было передано, что главным основанием, послужившим к моему аресту, было опасение у ГПУ, что я готовлю побег. Категорически отрицая возможность каких бы то ни было фактических данных у ОГПУ для такого рода заявлений, я считаю, что у ОГПУ не было никаких оснований для того, чтобы решив в положительном смысле вопрос о моем освобождении и высылке меня на жительство в г. Ульяновск 20 мая 1925 г. — 10 июля 1925 года вновь арестовать меня. К тем опасениям, которые были у ОГПУ — 20 мая, 10 июля не могло прибавиться никаких объективных данных, свидетельствующих о моем намерении бежать. За время, прожитое мною здесь на свободе, я ежедневно являлся на регистрацию в местное ОГПУ, а в остальное время дня и ночи находился под неотступным и, конечно, хорошо мне известным надзором начальника Губ. отдела ОГПУ, которому был таким образом известен каждый мой шаг. Мне было указано, что в распоряжении ОГПУ имеется письмо, в котором кто-то кому-то пишет о моем намерении бежать. Я категорически заявляю, что если подобное письмо существует в природе, то оно могло исходить только от провокатора, стремившегося снабдить ОГПУ материалом для моего ареста. Писать о человеке, только что окончившем свой тюремный срок, что он готовится бежать, мог только провокатор. Это ясно каждому. ОГПУ угодно сделать вид, что оно вполне доверяет этому провокаторскому измышлению, но от этого, конечно, достоверность фальшивки не повышается.

В заключение я должен коснуться одного очень незначительного, но чрезвычайно характерного обстоятельства, свидетельствующего о той чрезмерной подозрительности, с которой ОГПУ относится к каждому нашему слову, и которая порой уводит его далеко от истины.

В моем предыдущем заявлении, отпечатанном на машинке, имелась фраза, вычеркнутая моей рукой и замененная мной другой, написанной от руки. Это обстоятельство навело Зам. Пред. ОГПУ гражд. Ягоду на целый ряд размышлений, опорочивающих правильность моего утверждения в этой части.

В действительности дело обстояло так. Ответы на вопросы, поставленные мне начальником Губ. отд. я давал в письменном виде. Затем уже все написанное мной было переписано на машинке Начальника губ. отд. Предъявляя мне для подписи отпечатанные на машинке листы моих ответов, он предупредил меня, что сведя в листе мои ответы он в двух—трех местах от себя внес некоторые изменения, которые просил меня прочесть. Одно из этих изменений и была как фраза, обратившая на себя внимание зам. Пред. ОГПУ, я тотчас же указал начальнику губ. отд., что его редакция мне кажется неудачной, так как может породить некоторые недоразумения (как это и было). А потому я эту фразу вычеркнул и заменил ее другой, более точно выражающей мою мысль. Я уверен, что начальник губ. отд. не откажется подтвердить правильность этого моего сообщения. А. Гоц»²⁶³).

Но направленное начальником Ульяновского губотдела в 3-е отделение СО ОГПУ заявление Гоца попало в руки не председателя ОГПУ, а в руки Андреевой, поставившей на нем резолюцию: «т. Решетову. В дело Гоц». Последний переправил его Хорошкевич для исполнения²⁶⁴.

В письме к ульяновским чекистам Агранов и Решетов в октябре 1925 г. велели разъяснить Гоцу, что «он может переписываться только с родными, переписка же с посторонними, а тем более арестованными и ссылными ему не разрешена»²⁶⁵.

Но информация об аресте Гоца и Тимофеева и их новых голодовках просочилась на Запад, и 5 сентября 1925 г. В. М. Молотов получил телеграмму от советского полпреда в Лондоне, запрашивавшего о причинах ареста и ситуации вокруг всего этого дела²⁶⁶. На запрос В. М. Молотова Г. Ягода 7 сентября 1925 г. отвечал: «В середине июня (следует июля. — К. М.) с.г. ОГПУ арестованы члены ЦК ПСР Гоц А. Р. и Тимофеев Е. М. за то, что, по совершенно верным сведениям (агентурным), оба готовили побег с места ссылки (Гоц из Ульяновска, Тимофеев из Коканда) за границу.

Тимофеев со 2-го сентября объявил голодовку, Гоц грозит объявить, если дело их не будет рассмотрено в ближайшее время и они не будут освобождены.

11 сентября дела Гоца и Тимофеева будут рассмотрены особым Совещанием при ОГПУ.

ОГПУ полагает, что ввиду особой активности Гоца и Тимофеева и их влияния на эсеровские партийные круги, необходимо обоих заключить в политизоляторы ОГПУ.

При этом ОГПУ сообщает, что если Гоц по получении приговора голодовку до конца не доведет, то Тимофеев, при его настойчивости, голодать способен до конца»²⁶⁷.

Политбюро согласилось с предложением Г. Ягоды и на своем заседании 9 сентября 1925 г. предложило ОГПУ «приговорить Гоца и Тимофеева к тюремному заключению на 2 года»²⁶⁸.

Фактически в этот момент решалась судьба не только Гоца и Тимофеева, но и попытки большевистского партийного и чекистского руководства в очередной раз поставить принцип политической целесообразности выше закона. Арест и тюремный срок на основании достаточно эфемерных подозрений о готовившемся побеге показывал приоритетность для властей собственных интересов и готовность их обеспечить невзирая на юридическую абсурдность.

§ 8. ПОВЕДЕНИЕ, ТАКТИКА И ПОБЕДА ГОЛОДАЮЩИХ В «РАЗВЕЗЕННОЙ» ГРУППОВОЙ ГОЛОДОВКЕ (9 октября — 1 ноября 1925 г.)

Того, что произошло в октябре 1925 г., практика российского революционного движения ни до ни после не знала — «развезенная» групповая голодовка и победа в ней заключенных. Опыт как дореволюционных, так и советских голодовок свидетельствовал, что коллективные голодовки практически всегда были весьма сложны организационно, и чем больше людей принимало в них участие, тем больше проблем возникало и при выдвижении требований, и при проведении, и на стадии завершения (совсем тяжело было, если участники принадлежали к разным социалистическим партиям). Но так получилось, что, помимо воли чекистов, произошла своего рода селекция обвиняемых эсеров. С одной стороны, все неустойчивые элементы были включены во 2-ю группу или причислены к свидетелям обвинения, а также амнистированы (с дачей подписки). С другой стороны, ядро 1-й группы составляли члены ЦК ПСР, ставшие ими в ходе серьезного отбора. Ведь совсем не случайно, что среди них не было ни одного члена дореволюционного ЦК, а подавляющее большинство из них до Февраля 1917 г. было на каторге. Фактически получилось так, что в ходе своеобразного отбора остались самые стойкие, к тому же за годы совместной борьбы к 1925 г. превратившиеся в спаянный коллектив. Неудивительно, что они оказались способны на такую слаженность действий и выдержку, о которых другим тюремным коллективам не приходилось и помышлять. Неудивительно, что как только стало известно о голодовках Тимофеева и Гоца, оставшиеся их товарищи, находившиеся в Бутырской тюрьме, оказали им поддержку.

9 октября 1925 г. к голодовке Тимофеева и Гоца присоединились Агапов, Раков, Гендельман, Герштейн, Лихач, Иванов, Иванова и Федорович, подавшие официальное заявление (написанное рукой Ф. Ф. Федоровича) «В Президиум ОГПУ», где говорилось: «Наша восьмидневная голодовка в январе—феврале была прекращена нами ввиду объявленного нам официального постановления ОГПУ, представлявшего нам некоторые гарантии в том, что условия жизни, в которые каждый из нас будет поставлен по окончании тюремного заключения, не явится по существу методом нашего умерщвления.

Факты показали, что сообщая нам свое постановление, ОГПУ не думало отказаться от своей задачи медленного умерщвления по крайней мере некоторых из нас.

Наши товарищи Е. М. Тимофеев и А. Р. Гоц после того, как [им] для виду дали пробить около полутора месяцев в ссылке, были без всякого повода с их стороны внезапно вновь заключены в тюрьму, и теперь им объявлен „приговор“ о продлении тюремного заключения на 2 и 3 года.

Без сомнения, что задача таких приговоров достигнуть цели физического уничтожения. Естественно, что ни наши товарищи А. Р. Гоц и Е. М. Тимофеев, ни мы с таким положением вещей мириться не можем. Е. М. Тимофеев голодает уже двенадцатый день. С сегодняшнего дня начинаем голодовку и мы.

Мы требуем освобождения наших товарищей Е. М. Тимофеева и А. Р. Гоца, аннулирования объявленных им приговоров и восстановления положения, установленного в присланном нам после весенней голодовки объявлении ОГПУ.

Флориан Ф. Федорович, Мих.Лихач, Л. Я. Герштейн, Д. Ф. Раков, Е. Иванова, Гендельман, Иванов, Агапов. 9 октября 1925 11 час. 30 мин. дня. Бутырки»²⁶⁹.

Реакция на это заявление начальника СО ОГПУ Дерибаса была стремительной, а настроение у него в отношении голодающих — самое решительное. Это видно из его резолюции, наложенной на это заявление: «т. Решетову. Сегодня же всех развезти по разным губернским тюрьмам согласно полученных Вами личных указаний. 9/Х—25. 13 ч. Дерибас»²⁷⁰.

Копия этого заявления была адресована и «Прокурору Республики при ОГПУ гр. Катаньяну». Она была передана Дерибасу, который оставил на ней резолюцию: «Переслать по принадлежности. 10.Х.25 г. Дерибас».

Это не было самовольным и единоличным решением Дерибаса. Хотя в деле и отсутствуют прямые директивы руководства ОГПУ, которое в ходе всей голодовки предпочитало «не светиться», отдав право руководить операцией и вести все переговоры с начальниками региональных представительств и губотделов ОГПУ Дерибасу, сомнений в этом нет. Ярким свидетельством этого служит эпизод, когда Павлуновский в драматический момент голодовки (понимая, что ответственность за смерть эсеровских цекистов ляжет и на него) прямо отказался выполнять распоряжения Дерибаса, после чего из Москвы последовал окрик В. Р. Менжинского. Более того, в курсе дела был и Сталин, правда, Менжинский сообщил ему об этом только 13 октября 1925 г. и вот в какой форме: «По объявлении приговора о двух годах тюрьмы ТИМОФЕЕВ объявил 28/IX с.г. голодовку, требуя освобождения в ссылку и вывоза в Москву для допроса. На время переезда в Москву с 3/Х по 6/Х голодовку прервал, а по прибытии 6/Х возобновил, заявив, что сидеть в тюрьме он больше не может и потому решил от голодовки умереть.

9/Х в 11 час. утра, еще не окончившие своего срока заключения цекисты: АГАПОВ, РАКОВ, ГЕНДЕЛЬМАН, ГЕРШТЕЙН, ЛИХАЧ, ИВАНОВА, ИВАНОВА и ФЕДОРОВИЧ, также объявили голодовку, требуя освобождения ГОЦА и ТИМОФЕЕВА и восстановления, якобы, нарушенного нами условия создания для них сносных условий ссылки. Нарушением они считают арест ГОЦА и ТИМОФЕЕВА.

В тот же день все цекисты были без инцидентов развезены по разным губернским тюрьмам и оттуда подтвердили продолжение голодовки, добавив новое требование — вернуть их вновь всех в Бутырки.

13/Х с.г. ГОЦ, находящийся в Ульяновской тюрьме, также объявил голодовку, за такие же, что и у ТИМОФЕЕВА требования.

Обо всех голодающих, в том числе и о ТИМОФЕЕВЕ, находящемся в Московской тюрьме, дано задание приступить к искусственному насильственному питанию тотчас же, как наступит для этого медицинский момент.

РАКОВ и АГАПОВ, как окончившие срок тюремного заключения, направляются по постан. Особ. совещ. от 9/Х с.г. в адмссылку: РАКОВ — в Коканд, АГАПОВ — в Оренбург. Назначенные им места ссылки не нарушают нашего обещания об удовлетворительных местах ссылки, данного цекистам при прекращении бутырской апрельской голодовки цекистов»²⁷¹.

Уже после окончания голодовки, 4 ноября 1925 г., начальник СО ОГПУ Дерibas представил В. Р. Менжинскому справку «по осужденным по процессу ЦК ПСР», в которой вкратце рассказывалась вся ее история: «9 октября с.г. содержащимися в Бутырской тюрьме осужденными по процессу ЦК ПСР Гендельманом, Герштейном, Раковым, Лихачом, Федоровичем, Ивановым, Ивановой и Агаповым была объявлена голодовка с требованием освобождения арестованных 11/VIII—с.г. членов ЦК ПСР Гоца и Тимофеева и сохранения за ними права выбора места ссылки по окончании срока сидения.

Данной голодовке предшествовала голодовка члена ЦК ПСР Тимофеева. Отбывший в мае т.г. срок наказания по процессу ЦК ПСР и высланный в Коканд Тимофеев, в ссылке активно работавший в ПСР, 11/VII—с.г. был арестован СО ОГПУ и направлен для отбывания срока тюремного заключения, согласно постановления Особого совещания от 11/IX—с.г. в Ново-Николаевский ДЛС. 28/IX—с.г. Тимофеевым была объявлена голодовка с требованием пересмотра своего дела и освобождения. 3/Х—с.г. после обещания перевода в Московскую тюрьму Тимофеев голодовку прекратил, но привезенный в Москву 6/Х—с.г., возобновил голодовку с прежними требованиями.

Немедленно после объявления содержащимися в Бутырках цекистами голодовки того же 9/Х—с.г. они были переброшены в провинциальные тюрьмы:

- 1) Гендельман — Саратовскую
- 2) Герштейн — Вятскую
- 3) Федорович — Нижегородскую
- 4) Лихач — Ново-Николаевскую
- 5) Иванова — Самарскую
- 6) Иванов — Свердловскую
- 7) Раков — Свердловскую
- 8) Агапов — Оренбургскую

При развозе из Москвы голодающие выдвинули дополнительные требования — возвращение всех в Бутырки.

Переброской голодающих преследовалась цель разобшения их и создания наиболее благоприятной обстановки для срыва голодовки. Нач. соответствующих губотделов была даны детальные указания. Были установлены ежедневные доклады о состоянии голодающих. Компанией срыва голодовки руководил центр.

Оставленный во внутренней тюрьме ОГПУ Тимофеев, 14/Х—с.г. голодовку прекратил, без каких-либо уступок с нашей стороны, но был переведен в больницу. Теперь грозит возобновить голодовку при переводе в тюрьму.

13/Х—с.г. объявил голодовку Гоц, содержащийся в Ульяновском ДЛС. Требование — освобождение. Голодовка Гоца сорвана 27/Х—с.г. переводом его на домашний арест.

Голодовка остальных была прекращена после обещания удовлетворить их последнее требование — вернуть в Бутырки. Прекратили голодовку:

1. Герштейн 25/Х
2. Федорович 25/Х

3. Лихач 25/Х
4. Гендельман 27/Х
5. Раков 27/Х (прервал на десять дней)
6. Иванов 28/Х
7. Иванова 29/Х
8. Агапов 31/Х

Возвращенные в Москву цекисты возобновили голодовку за первое требование, освобождение Гоца и Тимофеева, но 1/ХI—с.г. окончательно прекратили ее, удовлетворившись дополнительным часом свидания с родными.

К Гендельману, Лихачу, Ивановой и Агапову применялось искусственное питание.

Во время голодовки Агапову и Ракову истек срок тюремного заключения и как осужденные Особым совещанием на ссылку 23/Х—с.г. они были освобождены, Агапов — в Оренбурге, Раков — в Свердловске и помещены в городские лечебницы на общегражданском положении.

Голодовка продолжалась ими и после освобождения.

Всего освобождено за окончанием срока тюремного заключения и выслано 13 ч.

Гоц — в Симбирск
 Донской — Нарым
 Ратнер — Самарканд
 Тимофев — Коканд
 Альтовский — Темир-Хан-Шура
 Либеров — Акмолинск
 Артемьев — Кострома
 Утгоф — Березов
 Берг — Темир-Хан-Шура
 Львов — Чердынь
 Злобин — Уфа

Агапов — Оренбург (но не желает ехать)

Раков — Коканд (тоже не желает ехать).

Из них: Горьков, Добролюбов (так в тексте. — *К. М.*) и Львов бежали из ссылки и ныне пойманы и сидят вновь, а Тимофеев и Гоц арестованы по подозрению в побеге.

Остались сидящими не окончившие срок тюремного заключения:

Лихач — кончат в январе 1926 г.

Гендельман и Федорович — в марте 1926 г.

Герштейн — в апреле 1926 г.

Иванов — в августе 1926 г.

И Иванова — в декабре 1926 г.»²⁷².

Чтобы сорвать голодовку заключенных, их 9 октября 1925 г. разослали в разные города, сопроводив письмом к начальнику данного губернского отдела ОГПУ. Л. Я. Герштейн был отправлен в Вятку²⁷³, Ф. Ф. Федорович — в Нижний Новгород²⁷⁴, М. А. Лихач — в Ново-Николаевск²⁷⁵, Е. А. Иванова — в Самару²⁷⁶, М. Я. Гендельман — в Саратов; Н. Н. Иванов и Раков — в Свердловск (последнего возили из Свердловска в Тюмень и обратно), В. В. Агапов в Свердловск — Оренбург.

Текст «сопроводительных» писем был идентичен, менялись лишь фамилии заключенных. Воспроизведем для примера одно такое письмо, адресованное начальником СО ОГПУ Дерибасом и начальником 3-го отделения СО ОГПУ Решетовым начальнику Нижегородского губотдела ОГПУ: «Переводимого к Вам при сем осужденного на тюремное заключение по

процессу ЦК ПСР члена ЦК ПСР Федоровича Флориана Флориановича поместите для отбывания срока тюремного заключения в Нижегородский дом лишения свободы, максимально изолировав его от всех политзаключенных и от воли на все время голодовки, объявленной им при отправке из Москвы. Ставим перед Вами задачу сорвать голодовку во что бы то ни стало. При затыжке ее применить искусственное питание.

После прекращения голодовки переведите Федоровича на специальный политический режим. Поместите его в изолированную одиночку. Дайте ему длительную прогулку. Разрешите ему книги из тюремной библиотеки и передаваемые с воли. Последние только с разрешения СО ОГПУ и без возврата на волю. Свидания разрешайте только по ордеру ОГПУ.

Переписку Федоровича тщательно контролируйте и в копиях шлите СО ОГПУ, конфискованную же переписку шлите в СО ОГПУ в подлинниках. Конфискации подлежат: 1) вся неродственная корреспонденция независимо от содержания; 2) родственная по содержанию.

Сообщите Федоровичу, что ему разрешена переписка только с ближайшими родственниками и в пределах переписки политзаключенных.

Сообщаем для сведения список ближайших родственников Федоровича: Федорович Л. П. — сестра; 2) Федорович С. П. — дочь; 3) Соснина Е. Я. — невеста. О поведении Федоровича и о ходе голодовки своевременно сообщите СО ОГПУ.

Норма раскладки питания прилагается»²⁷⁷.

Но надежда чекистов на то, что внезапным разрывом им удастся сорвать голодовку, не оправдалась. Они недооценили закалки и тюремного опыта своих подопечных: те не только договорились о продолжении голодовки и выдвижении нового требования о свозе всех назад, но и подумали о том, чтобы чекисты их не обманули. В частности, скажем, некоторые заключенные, чтобы проверить правдивость сообщения чекистами о добровольном прекращении голодовки, договорились о наличии в таком тексте ключевых слов.

10 октября 1925 г. Ф. Ф. Федорович пишет из «желдор. вагона» заявление в Президиум ГПУ: «Настоящим заявляю, что голодовку я не прекращаю и к требованиям, которые были выставлены в нашем общем заявлении от 9/Х, я присоединяю еще одно: все мы должны быть снова соединены вместе в Москве, в Бутырской тюрьме. Флор. Федорович»²⁷⁸. Заявление не попало к адресату, а было отправлено Решетовым «к делу»²⁷⁹.

11 октября 1925 г. Н. Н. Иванов написал аналогичное письмо «в ОГПУ»: «Должен предупредить: мне сейчас объявлено — через 1 час отправляться на вокзал — я силе подчиняюсь и еду, куда меня везут, но одновременно с сим выставляю новое требование: возвратить всех нас назад и восстановить наш прежний режим полностью. До исполнения этого требования, равно как и основного, положенного в нашем коллективном заявлении, голодовка мною прекращена не будет»²⁸⁰. Это заявление также по распоряжению Дерibasа было приложено «к делу».

13 октября 1925 г. начальник СО ОГПУ Дерibas разослал начальникам городских отделов ОГПУ всех городов, где находились его беспокойные подопечные, телеграммы идентичного содержания, в которых менялись лишь название города и фамилия заключенного. Прочитируем подобное письмо, отправленное в Самару: «Необходимо во что бы то ни стало голодовку Ивановой сорвать, не останавливаясь перед применением искусственного питания тчк Для этого необходимо через своего надежного врача

вести неослабное медицинское наблюдение и как только будет им по состоянию здоровья Ивановой констатирована необходимость искусственного питания тире примените таковое не запрашивая нас о разрешении тчк»²⁸¹. Такие же телеграммы ушли в Свердловск — об Н. Н. Иванове, в Симбирск — об А. Р. Гоце, в Новониколаевск — об М. А. Лихаче, в Саратов — о Гендельмане, в Вятку — о Л. Я. Герштейне и в Нижний Новгород — о Ф. Ф. Федоровиче²⁸².

14 октября 1925 г. произошла сенсация — Тимофеев без каких-либо уступок ему снял голодовку. Об этом он сообщал сам в нескольких письмах своим товарищам, написанных по предложению чекистов для срыва голодовки (весьма примечательный двойной парадокс). Удивление чекистов этим поступком Тимофеева было столь велико, что они посчитали, что он повредился в уме, и в этот же день пригласили к нему психиатров, составивших следующий акт: «Мы, нижеподписавшиеся, 14 октября 1925 г. свидетельствовали заключенного Тимофеева Евгения Михайловича, 40 лет, причем оказалось, что он душевной болезни не обнаруживает»²⁸³. В сопроводительной записке, подписанной секретарем тюремного отдела ОГПУ Засядловым и адресованной секретарю СО ОГПУ Буланову сообщалось: «Согласно распоряжению начальника тюремного отдела ОГПУ т. Дукиса при сем препровождается акт освидетельствования состояния заключенного Тимофеева Е. М., на распоряжение»²⁸⁴. На письме стоят три резолюции: Дерибаса — «т. Решетову. К делу»; Решетова — «Хорошкевич»; и наконец, самой Хорошкевич — «К делу голодовки».

Е. М. Тимофеев не знал о голодовке своих товарищей и А. Р. Гоца, и, считая голодовку только «личной» и касающейся лишь его самого, удовлетворился обещаниями чекистов о «пересмотре вопроса в ближайшее время»²⁸⁵.

Получив в свои руки такой козырь, Дерибас в тот же день отправил в Свердловск, Вятку, Нижний Новгород, Саратов, Ташкент, Оренбург, Ново-Николаевск, Самару и Ульяновск телеграммы, которые гласили: «Тимофеев без всяких условий голодовку прекратил. Используйте это обстоятельство для срыва голодовки. Обрато в Москву и вообще в одно место они сvezены никогда больше не будут»²⁸⁶.

16 октября 1925 г. Дерибас решил использовать еще один козырь для срыва голодовки, разослав начальникам губотделов ОГПУ, где находились его подопечные, телеграмму следующего содержания: «Окончивших заключение чекистов Агапов выслан Оренбург, Раков — Коканд. Используйте это при срыве голодовки Лихача, как подтверждение выполнения нами своих обещаний о местах ссылки, подтвердите намерение соблюдать его и дальше»²⁸⁷.

Для Гоца, точнее для «его» начальника Ульяновского губотдела, был составлен другой текст: «Дело Гоца ставится рассмотрение Особого Сопещения пятницу 23 октября. Постарайтесь сорвать голодовку»²⁸⁸.

24-е октября 1925 г. стало переломным в схватке чекистов и голодающих. Дерибас пустил в ход последний козырь из имевшихся у него — письмо Е. М. Тимофеева о прекращении голодовки: «Дорогие друзья! Голодовку я окончил в прошлую среду на 15-й день, получив достаточные, с моей точки зрения, основания думать о пересмотре вопроса обо мне в самое ближайшее время. О Вашей голодовке и о голодовке Абрама я узнал лишь на 2-й день после окончания своей, причем мне сообщили, что Вам об этом сообщено также. Сейчас жду перерешения вопроса обо мне, ибо твердо заявил и заявляю, — без всякого основания сидеть в тюрьме не намерен.

Крепко вас всех целую. Е. Тимофеев 24/X—25 4 ч. дня»²⁸⁹.

Понимая, что счет пошел на часы, Дерibas в то же время надеялся, что письмо Тимофеева позволит сорвать голодовки. Одновременно он решил пойти на уступки, к которым еще вчера не был готов — свезти всех снова в Москву. Приведем текст шифрограммы, ставшей переломной в этой схватке: «Свердловск ПП ОГПУ Апетеру, Вятка Начгуботдела Аргову, Саратов Начгуботдела Аустрину, Новониколаевск ПП ОГПУ Павлуновскому, Самара Начгуботдела Карпенко, Оренбург начгуботдела Денисову. Употребите все усилия сорвать голодовку и не допустить смертельного случая ни в коем случае тчк если прекращение голодовки Тимофеевым не окажет влияния зпт дайте категорическое обещание свезти их всех Москву зпт в случае окончания тчк Если голодовка будет прекращена дайте несколько дней поправиться и отправьте Москву тчк Заверьте что обо всех голодающих даны такие же распоряжения и поэтому все будут по прекращении голодовки действительно свезены Москву тчк Подтвердите получение и исполнение тчк НР 6304 24 октября 1925 года НачСООГПУ Дерibas»²⁹⁰.

26 октября 1925 г. Дерibas сообщал в Свердловск, Оренбург, Самару и Саратов: «Гоц с переводом на домашний арест голодовку прекратил тчк Используйте тчк»²⁹¹, в Саратов, Самару и Свердловск была послана шифровка: «Сообщаем двчк Герштейн также снял голодовку по получении гарантии зпт что будет отправлен Москву тчк Используйте»²⁹². И в этот же день в те же места новую телеграмму: «Дополнение прежних сообщений для срыва голодовки информируем двтчк сняли голодовку Тимофеев зпт Гоц зпт Федорович зпт Условно Гендельман зпт Лихач зпт Герштейн тчк Остались голодающими в тюрьме только двое тире Иванов и Иванова и двое ссыльных зпт находящиеся на свободе тире Агапов и Раков тчк Голодовка абсурдна тчк В случае снятия выполним обещание свезти в Москву тчк»²⁹³.

27 октября Дерibas велел начальнику Вятского ОГПУ: «Герштейна по прекращении голодовки отправьте надежным спецконвоем Москву тчк выезд телеграфируйте тчк». Такого же содержания телеграмма была послана и в Саратов относительно Гендельмана²⁹⁴. В тот же день Дерibas сообщал в Оренбург: «Сообщаем двтчк Раков голодовку снял тчк Используйте сообщение для срыва голодовки Агапова»²⁹⁵.

Выше уже упоминалось, что голодающие договаривались об условных словах, наличие которых в сообщении о прекращении голодовки свидетельствовало бы о том, что это известие не является чекистской выдумкой. Так, 1 ноября 1925 г. Н. Н. Иванов написал заявление следующего содержания: «ОГПУ. Прилагаемую при сем телеграмму тов. Ракову надлежит отправить (без всяких изменений — иначе он ей не поверит) — ибо так было условлено между мной и им при свидании, на случай окончания нами голодовки.

Также прошу переслать (возможно скорее) ему же и письмо — оно окончательно его успокоит и рассеет все его сомнения»²⁹⁶.

Телеграмма, которую предлагал послать Иванов Ракову, выглядела так: «Срочная. Ссылному Ракову. Свердловск. Дмитрий все требования удовлетворены голодовка нами окончена. Громов. Москва. Бутырская тюрьма. Иванов»²⁹⁷. В письме к Ракову Иванов писал: «Дорогой Митяй! Для большей верности одновременно с условленной телеграммой пишу тебе это письмо. Сейчас нас уведомили (М. Л. Винавер), что Абрам и Евгений голодовку кончили, так как одновременно нам официально сообщено, что наши прежние требования также выполнены, то голодовка кончена. Сейчас начинаем есть! Много писать тяжело. Все живы, хотя и ослабели здорово, но ничего трагического нет, теперь живо все поправятся. Ты можешь в ближайшее время вернуться к нам и тогда договориться о месте

ссылки. Ан.Дм. все будет передано завтра же — все наши родные живы и благополучны. Ну, пока до свидания старый друг. Крепко целую тебя. Твой Николай. Понедел. 1/IX—25 г.». Дерибас поставил на этом письме резолюцию: «Переслать по принадлежности Ракову. 3/X—25»²⁹⁸.

Жена Н. Н. Иванова Р. Б. Юцис писала своему брату — эсеру Григорию Бенциановичу Юцису, находившемуся в нижегородской ссылке, 30 октября 1925 г.: «Гринюшка, мой дорогой, любимый братик, очень тебе признательна хотя бы за одно только желание облегчить мою участь и уверена, при возможности ты бы это сделал, но увы! В этом бессилена не только ты, но и я сама. Не знаю, что должна я предпринять, чтобы вызволить Николушку, который вот уже 22-й день как ... страшно даже писать это слово „голодает“, несмотря на то, что товарищи уже кончили. Но ведь мы не знаем, какие требования они выставляли, ибо до сих пор никто никого не видел. Как только что-нибудь выяснится определеннее, я тотчас же напишу тебе <...>»²⁹⁹.

Е. М. Тимофеев 1 ноября 1925 г. вновь написал записку своим товарищам: «Дорогие друзья! Голодовку я окончил еще 14/X, не зная о вас, ни об Абраме, и был переведен в Сомюст, где нахожусь и сейчас вместе с женой, добровольно поселившейся у меня. Чувствую себя хорошо, я сейчас поправился совершенно и думаю, что здоровье восстановлено совершенно. Согласно телеграмме Абрам кончил 26-го и теперь дома. 1/XI—25. Целую всех крепко. Е. Тимофеев»³⁰⁰.

Условия голодающих и пределы уступок со стороны чекистов были записаны Аграновым карандашом на тетрадном листе, очевидно, 1 ноября 1925 г., после переговоров с голодающими: «О снятии голодовки Г. и Т. 1) записка от Тимофеева 2) свидание с женой Генд[ельмана].

- 1) Гарантия — что срок заключения будет проведен в Москве
- 2) Режим прежний
- 3) Выполнение постановления 5-го февраля с.г.
- 4) Возврат Федоровича
- 5) Возврат Ракова не позже 6/XI—с.г.
- 6) 2-х часовые свидания
- 7) Отмена постановления в отношении Ракова.

Лихач возобновить право свидания с сестрой 2 раза по 2 часа (было разрешено).

Личная просьба Гендельмана.

Разрешить свидание с сыном раз в месяц на 2 дня по 2 часа (то же, что к Артемьеву).

Без предварительного заказа от издат-ва (?).

Пропускать переводы.

Медицинский режим после снятия голодовки в ближайшие дни»³⁰¹.

1 ноября 1925 г. коменданту тюрьмы для объявления голодающим был отправлен документ об уступках, сделанных чекистами для прекращения голодовки. Любопытно, что под документом должна была стоять подпись начальника СО ОГПУ Дерибаса, а расписался вместо него Агранов, добавив к должности слово «зам». Очевидно, Дерибас в этой ситуации не хотел лишиться раз признавать факт своего поражения и свалил ведение переговоров с Ивановым и Гендельманом, а также подписание этого документа на своего заместителя. Документ же гласил: «Объявить под расписку заключенным: Иванову Н. Н., Ивановой Е. А., Личаху М. А., Герштейну Л. Я., Гендельману М. Я., Агапову В. В., находящимся ныне в Бутырской тюрьме, следующее:

1) Согласно их желания, Раков Д. Ф. и Федорович Ф. Ф. в ближайшие дни будут также доставлены в Бутырки.

2) Впредь до окончания каждым из них срока тюремного заключения, они будут содержаться в Бутырской тюрьме.

3) Тюремный режим, существовавший до 9/Х с.г., не отмененный ОГПУ и каковой отменяет отнюдь не предполагалось, сохраняется для перечисленных заключенных в неизменном виде и впредь, как в отношении прогулок, книг, газет, продолжительности сроков открытых камер и проч, так и в отношении пайка.

4) Объявленные им в постановлении Особ[ого] Совещ[ания] от 5-го февраля с.г. условия ссылки по окончании срока заключения, каковые отменять не предполагалось, также остаются в силе.

5) Вещи, отобранные у них при развозе 9-го октября, возвратите каждому по принадлежности.

6) Свидания с родными впредь разрешаются 2-х часовые, вместо прежних часов.

Немедленно по прекращении голодовки вызовите врача и по его определению установите для перечисленных заключенных соответствующий больничный стол»³⁰².

На обороте документе карандашом было написано: «Настоящее отношение нам объявлено. Голодовку прекращаем. Бут. тюрьма, 1 ноября 1925 г., 8 ч. 20 мин. вечера. М. Гендельман, Н. Иванов, Мих.Лихач, Л. Герштейн, Е. Иванова, В. Агапов».

В заявлении зам. начальника СО ОГПУ Агранову от 4 ноября 1925 г. М. Лихач писал: «При ликвидации голодовки Вы обещали т.т. Гендельману и Иванову (и записали себе это по памяти, а впоследствии подтвердили через представителя Кр. Креста Винавера), что по приезде моей сестры мне будет дано с ней два двухчасовых свидания. Между тем сегодня, когда она приехала (одно слово не разобрано. — *К. М.*) для свидания со мной в Москву, гр. Адамсон объявил ей, что ей разрешено свидание всего лишь на два часа и что она может, по желанию, либо получить одно двухчасовое свидание либо два одночасовых.

В соответствии с этим я и получил сегодня свидание всего лишь на один час.

Очевидно, здесь какое-то недоразумение. Ибо, независимо от Вашего последнего обещания, мне летом текущего года было разрешено с сестрой же четырехчасовое свидание, которым только я не воспользовался, так как сестра не могла в то время приехать в Москву. Выходит, таким образом, что не только не исполняется Ваше обещание, но даже ухудшается порядок, существовавший до этого времени. Тем более еще, что сестра моя не была у меня на свидании с прошлой осени, т. е. больше года.

Ввиду этого я и просил бы Вас указать точно гр. Адамсону (так как моя сестра больше двух—трех дней пробыть в Москве не может), что мне, действительно, разрешено четыре часа свидания с сестрой и что, следовательно, имею право еще на три часа свидания»³⁰³. Была или нет исполнена просьба Лихача, неизвестно, т. к. на документе стоит лишь резолюция Агранова: «тов. Буланову. 11.XI.25 г.» и Хорошкевич «К делу».

13 ноября 1925 г. в заявлении начальнику Бутырской тюрьмы Адамсону Д. Ф. Раков писал: «12 декабря (вероятно, ноября. — *К. М.*) с.г. врач ОГПУ Зеленский констатировал: в результате 18-ти дневной голодовки явилось сильное обострение туберкулеза легких, значительное ослабление работы сердца и столь глубокое истощение организма, что необходимо (по его словам) продолжительное и серьезное лечение.

Сегодня же Вами предложено перевести меня в околодок Бутырской тюрьмы.

Если перевод в околодок представляет некоторое удобство для работы медицинского персонала, то лично для меня этот перевод является ухудшением условий, в которых я нахожусь в настоящее время.

В силу этого я настаиваю на авторитетном медицинском освидетельствовании и предоставлении мне возможности серьезного больничного санаторного лечения»³⁰⁴.

16 ноября он пишет заявление уже в Президиум ОГПУ: «Волею ОГПУ и его местных органов я, заведомо туберкулезный больной и с больным сердцем, принужден был, как и мои товарищи, провести 18-ти дневную голодовку в условиях исключительно диких по своей бессмысленности и жестокости. Из 18-ти дней голодовки я пять дней провел в тряском железнодорожном вагоне и в переездах с вокзала в тюрьму и обратно, путешествуя от Москвы до Свердловска, из Свердловска в Тюмень для следования в Тобольскую тюрьму, и когда медицинским освидетельствованием в Тюмени констатирована была катастрофичность состояния моего здоровья, обратно из Тюмени в Свердловск. Остальное время мне пришлось валяться в подвале Свердловского ГПУ в полутемной камере, плохо отапливаемой, совершенно невентилируемой, расположенной под парадной лестницей ГПУ, по которой день и ночь происходило непрерывное движение.

Самый факт 18-ти дневной голодовки и беспримерная дикость условий, в которых она протекала, в корне разрушили мое и без того ослабленное многолетним заключением здоровье. Об этом президиум ОГПУ мог быть осведомлен из донесений местных своих органов, особенно из акта медицинского освидетельствования меня в Тюмени, из протокола осмотра меня в Свердловской областной хирургической лечебнице, подписанного профессорами Шамариным, Ратнером, Одинцовым и д-ром Владимировой и из освидетельствования меня специальным уполномоченным местного отдела здравоохранения доктором Краковским.

Насколько сильно был потрясен организм голодовкой, видно уже из того, что после голодовки я был прикован к постели в абсолютной неподвижности; лишь на 14 день, вопреки мнению лечивших меня врачей, меня решили повезти в Москву. Опасения врачей оказались обоснованными. На другой день по приезде в Москву я снова и надолго слег в постель.

Свидетельствовавший меня 12 ноября сего года доктор Зеленский в присутствии моих товарищей констатировал: 1) острые боли в области аорты, затрудненное дыхание; 2) сильное ослабление сердечной деятельности; 3) обострение туберкулезного процесса в легких; 4) крайнее истощение организма и упадок сил. Столь сильные средства, как кофеин, камфара в жидком виде (два впрыскивания) и в виде порошка (три раза в день) мало помогли делу. Упадок сил не прекратился, а усиливается. Тот же д-тор Зеленский вновь свидетельствовал меня 15 ноября, повторил свой первый диагноз, дополнил лечение еще новыми медикаментами, прописал строгий постельный режим, разрешение сидеть не более 10—15 минут в постели. По мнению д-ра Зеленского, если состояние моего здоровья и не безнадежно, то оно требует продолжительного и серьезного лечения. Хотя я почти месяц тому назад кончил срок моего тюремного заключения, но об отправке меня в ссылку, конечно, не может быть и речи, ибо это было бы равносильно прямому убийству. ОГПУ, волею которого мое здоровье приведено в данное, почти катаст-

рофическое состояние, должно, прежде чем поднять вопрос о ссылке, предоставить мне возможность серьезного больничного или санаторного лечения.

Поэтому я обращаюсь в президиум ОГПУ с просьбой прислать достаточно полномочного представителя своего для выяснения и разрешения вопросов, связанных с необходимостью для меня более или менее продолжительного и серьезного лечения. Д. Раков. 16 ноября 1925 г. Бутырская тюрьма»³⁰⁵. На этом заявлении Дерибас поставил резолюцию: «Послать ответ Ракову», после чего Решетовым заявление было направлено Андреевой, а последней, 17 ноября — «В дело Ракова».

Что в этом ответе чекистов Ракову речь шла о переводе в «санчасть ГПУ», видно из нового заявления Д. Ф. Ракова в Президиум ОГПУ: «Вчера, 18 ноября, меня вновь свидетельствовал врач Зеленский, прописал прежние лекарства и предложил, как он выразился, поставить вопрос о переводе меня в Санчасть ОГПУ. Возражений с чисто лечебной стороны у меня, конечно, нет, но имеется целый ряд вопросов относительно условий содержания меня в больнице ОГПУ со стороны административно-тюремной, которых врач Зеленский разрешить не мог, как, например, будут ли мне разрешены там свидания с женой, допущены книги, переписка и т. п. В силу этого я вновь настаиваю перед президиумом ОГПУ прислать кого-либо для непосредственных переговоров относительно разрешения подобного рода вопросов и недоумений. Д. Раков. 19/XI—25 г.»³⁰⁶.

Попав к Решетову, в этот же день заявление было отправлено к Андреевой, которая два дня спустя поставила резолюцию: «т. Решетову. В санчасть его перевела, но без всяких условий»³⁰⁷, после чего заявление Ракова отправилось к Хорошкевич.

Как отразилась голодовка на состоянии здоровья голодавших, видно из докладной записки врача тюрем ОГПУ на имя Андреевой: «Сообщаю, что 3-го сего декабря мною осмотрены в Особом коридоре Бутырской тюрьмы нижеследующие заключенные:

1) Иванов — Жалобы на одышку по временам. При объективном исследовании явления миокардита, эмфиземы и значительного общего ожирения (так в тексте. — К. М.). Соответствующее лечение назначено, даны указания о режиме дня.

2) Гендельман — <...> При объективном исследовании обнаружены явления начального склероза (глухие тоны сердца, напряженный пульс, артерии жестки на ощупь). Назначен йодистый калий, предложено исследовать мочу.

3) Иванова — Жалобы на бессоницу.

4) Агапов — Жалуются на учащенную сердечную деятельность <...>. Объективно явления резко выраженной неврастении, все явления как со стороны сердца, так и кишечника отношу к функциональным расстройствам. Агапов принимает фитин, как тоником назначен стрихнин с хинной настойкой.

5) Лихач — Ряд незначительных жалоб.

6) Федорович — Каких-либо резких отклонений от нормы, за исключением глуховатых тонов сердца, не обнаружено.

7) Герштейн — Органический порок сердца, со стороны кишечника никаких жалоб не поступало. Назначен строфант с валерьяной и настойкой колы, режим, ограничение длительных прогулок»³⁰⁸. Андреева переадресовала эту записку в «III Отделение», а Хорошкевич немедленно отправила ее в архив.

4 декабря 1925 г. В. В. Агапов подал заявление «представительнице ОГПУ Хорошкевич от В. Агапова, члена ПСР», в котором писал: «После свидания с родными сообщаю, что ехать в Оренбург в ссылку согласен. Если окажется, что для моих родных и для меня климат будет вредным, то оставляю за собой право возбудить вопрос о замене Оренбурга другим местом ссылки.

Выехать могу не раньше вторника, предполагая при этом, что до отъезда будут возвращены мои вещи или в случае утраты заменены новыми»³⁰⁹.

В высшей степени интересно, что после прекращения голодовки 1 ноября 1925 г., когда тюремные врачи рекомендовали усиленное питание и сами чекисты объективно были заинтересованы в том, чтобы голодающие поскорее отошли от опасной для жизни черты, Ф. Ф. Федорович передал в середине ноября тюремным властям записку: «На завтрашний день просим приготовить: Обед 1) Картофельный суп с мясом (мясо выдать), 2) Омлет. Ужин. 1) макароны. 2) Компот»³¹⁰. Получив эту записку, Андреева велела ее сфотографировать и уже на фотографии поставила резолюцию «т. Решетову. В дело ЦК ПСР. Писано Федоровичем. Андреева. 19/ХІ»³¹¹. Похоже, Андреева запаслась этой копией как свидетельством того, как «жируют» в тюрьме ее подопечные.

Подводя итог, можно сказать что идея развоза заключенных для срыва голодовки, казавшаяся чекистам такой здоровой и использованная ими в качестве последнего средства, вдруг парадоксальнейшим образом обернулась против них же самих. Неожиданно выяснилось, что развозом голодающих и сломом механизма коллективного принятия решений и руководства голодовкой (ради чего все это и затевалось), чекисты вместо одного общего центра получили ситуацию, при которой каждый из голодающих рассматривал свою голодовку как часть общей, и прекращение ее считал предательством товарищей. Это оказалось очень неприятным сюрпризом для чекистов, считавших, что вся сила чекистов в их солидарности и взаимоподдержке (что, конечно же, также было правдой), но вывод из этого они сделали неправильный, понадеявшись, что пространственное разобщение голодающих сделает их более податливыми и стоворчивыми. Но оказалось, что тому же Ракову, Агапову, Иванову, Ивановой и другим проще умереть, чем уронить свою честь в своих собственных глазах и глазах своих товарищей. Чекисты совершенно не ожидали того, что Тимофеев, казавшийся им меньше всех способным на компромиссы, прекратит голодовку, а Раков и Агапов, в которых до этого никто из чекистов никакой твердокаменности не видел, окажутся такими несгибаемыми. Парадокс был в том, что в личной голодовке (не носящей, конечно, принципиального характера) Раков и Агапов были бы значительно мягче, чем в ситуации коллективной голодовки, которую им пришлось продолжать на свой страх и риск. И в этой ситуации они считали более надежным проявить сколь угодно излишнюю жесткость, чем дать крохотную слабину, а следовательно, с ними чекистам найти общий язык стало значительно труднее, чем с общим центром (решениям которого они беспрекословно подчинились бы), вынужденном думать помимо победы и о сохранении жизни товарищей, а потому более способным на компромисс.

Парадокс ситуации, в которой оказались чекисты, заключается в том, что они хотели сломить солидарность голодающих и обязательность коллективных решений, а фактически, чтобы избежать ряда смертей (а следовательно, и служебных неприятностей), сами были вынуждены прибег-

нуть к помощи коллективных решений эсеров (и свозу заключенных в одно место). Уже одно это было моральной победой голодающих и еще одним (очередным) поражением чекистов, которые использовали все возможные для них в это время средства и методы для того, чтобы сломить заключенных чекистов и их волю к борьбе.

**8.1. В. В. Агапов (Москва — Свердловск — Оренбург — Москва),
Н. Н. Иванов (Москва — Свердловск — Москва), Д. Ф. Раков
(Москва — Свердловск — Тюмень — Свердловск — Москва).**

В отличие от всех других региональных чекистских начальников руководителю Свердловского ПП ОГПУ по Уралу Апетеру не повезло тройне, так как 9 октября 1922 г. ему отправили вместо одного сразу троих заключенных эсеров: «Встречайте скорый читинский поезд вышедший из Москвы десятого октября тире проездом Сибирь уполномоченный СО ОГПУ Плахов везет Вам арестованных эсеров чекистов Агапова зпт Ракова зпт Иванова тчк Примите их тчк Указания посылаем Плаховым тчк»³¹². Уже отправив всех троих, московские чекисты спохватились, что для срыва голодовки им было бы выгодно воспользоваться тем, что сроки тюремного заключения Агапова и Ракова уже кончились, и изменили свое решение. 13 октября 1925 г. Дерибас информировал Свердловск: «Постановлением Особого совещания от 9/Х Агапов высылается Оренбург зпт Раков Туркестан сроком на три года тчк Объявите арестованным и срочно усиленным спецконвоем направьте Ракова ПП ОГПУ по Средней Азии зпт Агапова в Оренбургский губотдел тчк О выезде предупредите тчк Указания нами посланы тчк»³¹³. В этот же день Дерибас отправил в Ташкент ПП ОГПУ по Средней Азии аналогичную телеграмму: «Направляем к Вам для отбывания административной ссылки в Коканде чекиста Ракова тчк Руководствуйтесь в отношении его директивами данными о Тимофееве тчк Об отправке предупредим тчк»³¹⁴.

Апетер 14 октября сообщал Дерибасу: «Доставленные Агапов, Иванов, Раков продолжают голодовку. Помещены изоляторы Вашего распоряжения. Раков задержанный Свердловске сегодня направляется Тобольск. Свидание мною сообщил голодовку не прекратит момент свидания всех чекистов одновременно заявлял, что не может нарушить данного друг другу обещания»³¹⁵. В этот же день он вновь телеграфировал в Москву: «Агапова направляем Оренбург 15 октября, голодовку не снял требования прежние. Врачебная комиссия констатировала возможность нахождения дороге 5 суток. Ракова возвращаем пути Тобольск, состояние здоровья слабое. Прибытие Свердловске обследуем, сообщим. <...> Примечание: Слово „сутки“ под сомнением, искажены»³¹⁶. Вечером 16 октября из Свердловска Апетер сообщал: «Раков Тюмени возвращен. Следовать Туркестан не имеет возможности по слабому состоянию. Голодовку не прекратил оставлен Свердловске. Просим указаний»³¹⁷. 17 октября Апетер из Свердловска вновь сообщал: «Заключенные Раков, Иванов нашим переговорам отказываются голодовку снимают (так в тексте. — К. М.) условия прежние. Медицинским осмотром установлено пока невозможность применить искусственное питание»³¹⁸.

Вскоре он прислал в Москву следующий документ «Акт. 1925 года. Октября 19 дня.

Комиссия в составе врачей Кузнецова А. Г. и Бочарова А. В. в присутствии Команданта ГПУ т. Ильина, освидетельствовала состояние здоровья заключенных, при чем нашла следующее:

1) Общее состояние здоровья Иванова вполне удовлетворительное, t тела нормальная, пульс 120 ударов в минуту, хорошего наполнения.

2) Общее состояние здоровья Ракова слабое, t тела нормальная, пульс 132 удара в минуту, тоны сердца глухие. Заключенный Раков значительно ослаб по сравнению с предыдущим осмотром: А. Кузнецов, Бочаров, Ильин.

С подлинным верно: секретарь СО ПП (Горелов)»³¹⁹.

В этот же день Дерибас запрашивал Апетера: «Телеграфируйте первое скоба когда каким поездом отправлен ссылку Оренбург Агапов, второе скоба почему до сих пор не отправлен Раков Туркестан»³²⁰. Несколько часов спустя Дерибас изменил свое решение об отправке Ракова «<...> Ракова оставьте Свердловске до прекращения голодовки зпт изолировать от Иванова тчк»³²¹.

Тогда же Апетер ответил пространным письмом на фирменном бланке и дополнил его рядом документов. Он сообщал Дерибасу: «<...> направляя при сем три заявления арестованного члена ЦК ПСР Ракова сообщаю, что при объявлении ему о высылке в Туркестан на три года, он голодовку не прекратил, поддерживая требования, заявленные еще в Москве Вам. Поведение Ракова — спокойное. При первом разговоре на мое предложение прекратить голодовку, он оправдываясь заявил, что не хочет быть предателем своих товарищей. При втором разговоре он просил дать ему возможность переговорить с товарищами, в частности, с Ивановым, который мог бы за ним до некоторой части ухаживать, т. к. состояние его здоровья слабое. В просьбе ему отказано и впечатление у меня от переговора с ним осталось, что он и хочет снять голодовку, и не может, чтобы не стать предателем. Искусственное питание пока применять нельзя, об этом свидетельствуют врачебные акты, при сем прилагаемые.

Поведение второго арестованного Иванова совершенно противоположно Ракову; Иванов с нами груб, разговаривать — полемизировать не имеет охоты, о чем заявляет на каждом слове. По виду крепок, медицинской помощи не просит, противоположность Ракову, тот просит выписывания ему всякого рода полосканий для полости горла и рта, не отказывается от кипятка. В этих случаях помощь с нашей стороны не отказывается.

До прекращения голодовки и установления возможности дальнейшего следования-передвижения Раков оставлен в Свердловске и не отправляется в Туркестан. Прошу на этот счет разъяснений. При заключении посажены в разные камеры и общения между собой не имеют. Все требования в Ваших предложениях нами выполняются»³²².

К этому документу прилагались два заявления Ракова и два акта его медицинского освидетельствования. В первом, не датированном заявлении, адресованном «ОГП[У]», Раков писал: «Прекратить голодовку могу лишь в случае, если получу достаточные уверения, что товарищи прекратили голодовку. Причины понятны. Прошу распоряжения задержать меня в Тюмени впредь до получения извещения. Ехать на лошадях — равносильно убийству». В следующем заявлении — «В Президиум ОГПУ» от 15 октября 1925 г. — значилось: «После развоза нас из Москвы я индивидуально прекратить голодовку не могу ни при каких условиях. Причины этому понятны. Голодовка может быть прекращена лишь по общему решению товарищей. Отказ в этом равносильна для нас смертному приговору»³²³.

Перевезенный из Тюмени в Свердловск, он 16 октября вновь пишет заявление в Президиум ОГПУ: «Сегодня, 16 октября, меня в Свердловске освидетельствовал врач и заявил, что будет применено насильственное

искусственное кормление. До сих пор Советская власть к политическим заключенным не применяла, и по справедливости, хвасталась этим. Подобная мера приличествует разве таким палачам, как Хорти, по сообщению газет, подобным образом мучит комм. Ракова. Если подобная мера будет применена ко мне, то заявляю, 1) что голодовку продолжать буду, 2) что это принудит меня лишь к самоубийству, как покушение на единственное мое достояние — революционную честь.

Уполномоченный У. Обл. ОГПУ объявил мне о высылке меня в Туркестан и предполагает меня туда отправить. Из восьми дней голодовки я пять дней провел в вагоне, вещь достаточно жестокая сама по себе. Заставить меня теперь провести в вагоне недели две равносильно намеренному убийству. Поэтому я настаиваю оставить меня в Свердловске до окончания голодовки»³²⁴.

Медицинский акт, составленный 13 октября 1925 г., явно был продиктован желанием уральских чекистов подстраховаться, прежде чем отправлять голодающего человека через полстраны: «Комиссия в составе врачей А. Г. Кузнецова и А. М. Бочарова и т. Нечаева, в присутствии коменданта ГПУ т. Ильина освидетельствовала состояние здоровья заключенного Ракова на предмет выявления возможности его следования по железной дороге и на пароходе, причем нашла следующее: Общее состояние ослабленное, температура тела нормальная (36,5°), пульс учащен до 100 ударов в минуту, без перебоев; тоны сердца глуховаты, катар легочных верхушек.

На основании вышеизложенного, Комиссия находит, что заключенный Раков может следовать по железной дороге и на пароходе с момента его освидетельствования в течение 3-х дней, но при условии следования в мягком вагоне и в хорошо устроенной теплой каюте на пароходе. В дороге необходимо также предоставление ему возможного покоя и безусловного лежачего положения»³²⁵. Еще один медицинский акт о состоянии здоровья Д. Ф. Ракова был составлен зав. хирургической больницей Уралоблздравотдела профессором В. К. Шамариным «по поводу его 8-дневного голодания, причем было обнаружено следующее: у гр. Ракова имеется незначительное количество подкожно-жирового слоя на передней брюшной стенке. При отскультации сердца тоны его крайне глухие, пульс учащен до 160 ударов в минуту, крайне слабого наполнения и легко сжимаем. При исследовании легких обнаруживается катар верхушек обоих легких и хрипы сзади с явлениями притупления в области правого легкого сзади. При исследовании нервной системы резкое повышение коленных рефлекс. Со стороны желудочно-кишечного прохода имеется втянутый живот и резкое обложение языка, на ощупь слегка влажного. На основании вышеизложенного высказываюсь, что гр. Раков находится в состоянии резких изменений со стороны органов дыхания и кровообращения, а потому дальнейшее голодание может вызвать падение кровяного давления и обострение процесса в легких»³²⁶.

Вся подборка документов свидетельствует о том, что уральские чекисты, не вступая в конфронтацию с СО ОГПУ, явно не желали брать на себя ответственность за смерть Ракова. Они упустили ответственные врачи 13 октября три дня на отправку Ракова и упустили, похоже, сознательно. И наконец, они запаслись рядом документов, которые если бы и не сняли с них вину за смерть заключенного в глазах вышестоящих чинов, то смягчили бы ее, отчасти переложив ее на «твердокаменное» начальство СО.

20 октября Апетер сообщал: «<...> Агапов направлен Оренбург 15 октября поездом нр 4 направление Челябинск Самара. Сопровождается конвоем главе уполномоченного СО Денисова. Подтверждения прибытия

Оренбург нет. Раков следовать может носилках, мягком вагоне, непродолжительное время, слабого состояния оставлен Свердловске. <...> Просим указаний»³²⁷. 19 октября 1925 г. начальник Оренбургского губотдела ОГПУ Денисов сообщил начальнику СО ОГПУ: «Агапов прибыл 18 октября, голодовку продолжает, нуждается больничном уходе. Полагаю голодовку снимет на днях. Меры приняты»³²⁸. Дерибас поставил резолюцию «К делу» и на поступившей вечером 21 октября телеграмме из Свердловска: «Раков, Иванов голодовку не прекратили, требование свезение одно место договориться окончании или продолжение голодовки. Состояние Ракова слабое готовимся искусственному питанию»³²⁹.

Состояние Ракова и Иванова медленно, но верно ухудшалось, что фиксировали медицинские осмотры: «Акт (копия) 1925 года, октября „22” дня, комиссия в составе профессора В. И. Шамарина, врачей А. Г. Кузнецова и А. В. Бочарова, в присутствии дежурного коменданта ГПУ Тимофеева, освидетельствовала состояние здоровья заключенного Иванова, при чем нашла следующее: Общее состояние здоровья в сравнении с прошлым осмотром заметно ухудшилось. Органы кровообращения: пульс 120 ударов в минуту, среднего наполнения; артерии жестковатые; границы сердца расширены, тоны глухие, небольшой отек на стопах. Органы дыхания: явление эмфиземы, выражающейся в одышке и периодических сердцебиениях; расселенные хрипы сзади на почве артериосклеротических изменений сосудов легочной ткани. Со стороны желудочно-кишечного тракта особых отклонений от нормы не замечается. Нервная система: ослабление усвояемости прочитанного, состояние апатии. На основании вышеизложенного комиссия высказывается, что резких изменений вследствие голодания со стороны органов дыхания и кровообращения пока еще не имеется, но таковые могут быстро наступить ввиду имеющихся данных перерождения сердечной мышцы и явлений распространенного артериосклероза и эмфизематозного процесса в легких. Члены комиссии: А. Кузнецов, В. Шамарин, Бочаров. Верно: начальник секретного отдела ПП ОГПУ (Сорокин)»³³⁰.

На следующий день врачи осмотрели обоих голодающих: «Акт (копия) 1925 года 23-го октября мною были осмотрены заключенные Раков и Иванов на предмет выяснения состояния их здоровья, при чем оказалось, что 1) в положении гражданина Ракова получилось еще некоторое ухудшение по сравнению с осмотром, произведенным комиссией от 22-го октября 1925 года. Ухудшение выразилось в усилении слабости. Температура нормальна, пульс 100 ударов в минуту; 2) в положении гражданина Иванова изменений заметных не наступило, температура нормальна, пульс 120 ударов в минуту. Доктор А. Кузнецов. Присутствовал при осмотре комендант ПП ОГПУ по Уралу Ильин»³³¹.

Но производивший в этот же день осмотр профессор Шамарин был значительно пессимистичнее в своих выводах: «При освидетельствовании гражданина Ракова 23-го сего октября месяца мною обнаружено резкое ухудшение состояния его здоровья, выражающееся в явлениях общей слабости и землистой окраски кожных покровов лица. Со стороны сердечной деятельности отмечается учащение пульсовой волны до 124 ударов в минуту, пульс слабого напряжения и легко сжимаем. Со стороны органов дыхания — обострение катара верхушек легких с явлениями хрипов, растяжных в том и другом легком. Живот резко втянут, кожа на нем собирается в складку и медленно расправляется. На стопах и голенях отек, вследствие нарушения компенсаторной деятельности сердца. На основании вышеизложенного высказываюсь за крайне тяжелое состояние здоровья гр. Ракова.

При освидетельствовании гр. Иванова отмечается резкая общая слабость. Со стороны органа сердца отмечается резкое повышение пульса, достигающее до 160 ударов в минуту, крайне слабого наполнения. Пульс приближается к форме т. н. нитевидного пульса. Тоны сердца глухие с ясно выраженными явлениями перерождения сердечной мышцы. Явления эмфиземы легких, вследствие нарушения общей компенсаторной деятельности сердца, резко выражены в обоих легких. На основании вышеизложенного считаю, что состояние здоровья гр. Иванова резко ухудшилось, учащение же пульса до 160 ударов в минуту представляет собою симптом напряженной работы сердечной мышцы и может повести к параличу сердечной деятельности. Зав. хир. больницей Уралоблздрав отдела профессор Шамарин»³³².

23 октября 1925 г. Дерибас, чувствуя, что проигрывает схватку, что отчет для некоторых голодающих пошел на дни и часы, перешел к весьма иезуитским мерам. В шифровке Апетеру он сообщил план действий: «Чтобы сорвать голодовку Ракова, освободите его и поместите в общегородскую больницу зпт предварительно договоритесь врачами о искусственном питании и лечении тчк Как только Раков бросит голодать и окрепнет вновь арестуйте и отправьте Коканд»³³³. Похожую телеграмму Дерибас отправил и в Оренбург: «<...> Чтобы сорвать голодовку Агапова объявите ему что как приговоренного уже к ссылке держать дальше в тюрьме не можете тчк Освободите его и поместите общегородскую больницу предварительно договоритесь врачами о искусственном питании и лечении тчк»³³⁴.

Вечером того же дня начальник Оренбургского ГО ОГПУ Денисов отвечал Дерибасу: «Меры приняты. Продолжает голодовку требования старые. Состояние здоровья удовлетворительное, принимает лекарства. Интересуется снял ли голодовку Гоц»³³⁵. Дерибаса буквально прорвало от негодования и он выслеснул его в следующей резолюции: «Немедленно выгнать на улицу (сверху над строкой позже в скобках дописано «в общегородскую больницу». — *К. М.*) и пусть голодает на улице. То же написать и Апетеру относительно Ракова: пусть выгонит на улицу, а как только бросит голодать, арестует и отправит в Коканд. Д[ерибас]». Но в вечернем ответе Апетера готовности сломя голову выполнять иезуитский план Дерибаса не было: «Состояние здоровья Ракова ухудшается, ближайшие дни может наступить смертельный исход, примем все меры недопущению»³³⁶. И медицинский акт следующего дня подтверждал его слова: «При освидетельствовании состояния здоровья гр. Ракова 24 сего октября мною обнаружено следующее: Бросается в глаза землистый цвет лица, резкое истощение и апатическое состояние. [т] тела нормальная. Пульс 125—130 ударов в минуту (в лежачем положении освидет.) слабого наполнения, легко сжимается. Тоны сердца *глухие*. На стопах и коленях отеки. Живот резко втянут. Кожа на животе легко собирается в складку и с трудом расправляется. Кашель заметно усилился. На основании вышеизложенного заключаю, что состояние здоровья гр. Ракова резко ухудшилось и внушает серьезные опасения за его жизнь.

При освидетельствовании состояния здоровья гражданина Иванова найдено следующее: [т] тела нормальная. Пульс 150—160 ударов в минуту слабого наполнения. Тоны сердца глухие. Больной заметно ослабел и впал в апатичное состояние. На основании изложенного заключаю, что состояние здоровья гражданина Иванова заметно ухудшилось и признается мало серьезным (так в тексте. — *К. М.*). Врач Бочаров. Верно: нач. СО ПП (Сорокин)»³³⁷.

26 октября Апетер доносил из Свердловска: «<...> Раков помещен городскую хирургическую лечебницу. Объявление освобождения заявил продолжении голодовки предложено кормить искусственно. Состояние Иванова ухудшается»³³⁸. В этот же день, не дождавшись Ракова, начальник ПП ОГПУ по Средней Азии Бельский запрашивал Дерибаса: «На № 6263 от 17 октября Раков не прибыл. Телеграфируйте выезд»³³⁹.

А между тем состояние Ракова и Иванова все ухудшалось, о чем свидетельствовали очередные акты: «26-го октября 1925 года. Я, врач Кузнецов А. Г. в присутствии пом. Коменданта тов. Сергеева произвел осмотр заключенного Иванова, при чем оказалось: со стороны сердца: глухие тоны, пульс 120 ударов в минуту, аритмичен; на ступнях небольшая отечность. Температура нормальная. Со стороны органов дыхания — явления умеренного бронхита. Больной поднимается и садится уже с большим трудом. А. Кузнецов. С подл. Верно. Нач СО ПП ОГПУ по Уралу (Сорокин)»³⁴⁰. «Акт (копия) 1925 года, Октября 26 ³⁴¹. Я, нижеподписавшийся, в присутствии дежурного коменданта ГПУ, освидетельствовал состояние здоровья заключенных Ракова и Иванова, при чем нашел следующее: Общее состояние здоровья Ракова с каждый осмотром заметно слабеет, стоять и сидеть от сильных головокружений он не может. Пульс (в лежачем положении заключенного) 80—85 ударов в минуту, слабый, тоны сердца глухие. Общее состояние здоровья Иванова удовлетворительное, жалуется на головокружение. Пульс (в сидячем положении заключенного) 120 ударов в минуту, наполнения среднего. Тоны сердца у верхушек глуховаты»³⁴².

Обращает на себя внимание форма обращения, да и сам стиль заявления Н. Н. Иванова Апетеру от 26 октября 1925 г: «Гражданину начальнику. Мне заявлено, что ОГПУ распорядилось вернуть всех нас в Москву. Вместе с тем в разговоре выяснилось, что скорый поезд, с которым меня собираются отправить, идет только в пятницу — а следовательно в Москву прибывает в воскрес[енье]—понед[ельник]. Такой большой срок может повлечь за собой серьезные последствия (не для меня — я могу это вынести, а для других товарищей). Ежели ОГПУ действительно намерено дать нам возможность кончить голодовку, то необходимо ускорить елико возможно отъезд. Если в ближайшие дни до пятницы нет прямого скорого поезда до Москвы, то не может не быть иных поездов, идущих в том же направлении (напр., почтового). С ними, хотя и с меньшей скоростью и с пересадками, можно, очевидно, добраться до Москвы скорее, чем со скорым, идущим в пятницу. Я полагаю, что не в ваших интересах затягивать отправку. Н. Иванов»³⁴³.

Он оказался прав — в этот же день уральские чекисты подписали постановление об его отправке в Москву³⁴⁴. Но тем не менее они все же решили хоть как-то подсластить себе пиллолю поражения и поднять свой статус в глазах Москвы. Они стали шантажировать Иванова неотправкой его в Москву до окончания голодовки. Пошли чекисты на этот шаг, очевидно, потому, что он уговорил фактически близкого к смерти Ракова прекратить голодовку и остался в одиночестве. 26 октября Апетер сообщал Дерибасу: «Раков голодовку прекращает 10 дней, время нужное Иванову выезд, переговорам Вами. Иванов голодовку не снял требует отправки в Москву нами даны разъяснения выезд задерживается тчк. Телеграфируйте указания»³⁴⁵. Это вызвало заявление Иванова (без даты, с пометой «вторник, 2 ч. дня»), в котором он демонстративно обошелся даже без вызывающего обращения «Гражданин начальник»: «Вчера мне было официально объявлено, что нас всех решено свести в Москву. На этом основании, ввиду невозможности по словам врачей немедленной отправки

тов. Ракова, я его уговорил временно голодовку прекратить. Из всего этого (объявления ОГПУ, слов гр. коменданта о сроке возможного отъезда и т. д.) было ясно, что отправка наша в Москву решена категорически и дело только за организацией этой отправки. Сейчас мне заявлено, что раз я голодовки не прекращаю, меня в Москву не отправят. Я не могу не видеть в этом нового грубого нарушения того, о чем мне вчера официально говорилось. Ввиду этого я заявляю вторично — об окончании мною голодовки до съезда всех в Москву и соответствующего решения по сему поводу товарищей и речи быть не может: если до 12 ч. дня среды (завтрашнего дня) меня не повезут в Москву, я перехожу на сухую голодовку. Ни в какие дальнейшие переговоры по сему поводу вступать не буду. Ник. Иванов»³⁴⁶.

Дерибаса сохранение уральскими чекистами своего лица перед Ивановым, в ситуации общего отступления от линии на срыв голодовки, беспокоило меньше всего, и он телеграфировал 27 октября 1925 г. Апетеру: «Пусть Раков снимает голодовку и после этого отправьте Иванова Москву тчк»³⁴⁷.

А между тем врачи продолжали констатировать дальнейшее ухудшение состояния голодающих: «При освидетельствовании гражданина Иванова найдено следующее: общее состояние ухудшается, апатия усиливается. Кожа на руках легко собирается в складки. Пульс 160 ударов в минуту, слабого наполнения, тоны сердца глухие. Отеки на н/конечностях усиливаются. Положение больного следует признать внушающим серьезные опасения. Врачи Базаров. Верно: нач. СО ПП (Сорокин). 27/X—25 года»³⁴⁸. «Акт (копия) 1925 года. Октября 28 дня. Мы, нижеподписавшиеся, освидетельствовали состояние здоровья гр-на Иванова, при чем нашли следующее: Органы кровообращения: тоны сердца глухие, пульс 120 ударов в минуту с перебоями, отеки на нижних конечностях (на голених и стопах) несколько увеличились. Органы дыхания: при наличии эмфиземы явления подострого бронхита. Нервная система: сон плохой, больной заметно волнуется. Общее состояние: больной сильно ослабел, все его движения носят замедленный характер, садится с большим трудом. Тургор тканей понижен, кожа на плече легко собирается в складки. На основании вышеизложенного состояния гр-на Иванова признаем очень тяжелым и при дальнейшей голодании может внезапно наступить роковой исход, что особенно возможно при передвижениях больного. Врачи: Кузнецов, Бочаров. Приписка собственной рукой Иванова: «Несмотря на заявления врачей, считаю что следовать до Москвы могу и голодовку до прибытия туда и общего решения о сем моих товарищей не окончу. Н. Иванов»³⁴⁹.

Наконец, 28 октября Иванов был отправлен в Москву в сопровождении уполномоченного СО Зубрицкого³⁵⁰, а 31 октября 1925 г. Апетер общал Дерибасу, что «находящийся в городской больнице Раков поправляется от голодовки», и просил дальнейших указаний³⁵¹. 2 ноября Дерибас отвечал ему: «Когда Раков достаточно окрепнет — отправьте его в Москву»³⁵².

Не менее драматично разворачивались события и в Оренбурге, где Агапов в полной мере вкусил иезуитства местных чекистов. 26 октября 1925 г. нач. Оренбургского губотдела ОГПУ Денисов доносил: «Агапов переведен больницу, применено искусственное питание самочувствие (так в тексте. — К. М.). На предложение сложить (прим. шифровальщика — слово «сложить» под сомнением) голодовку условием отправления Москву заявил, что голодовку снимет только Москве совместно всеми после

удовлетворения требования. Следовать Москву может»³⁵³. На следующий день он запрашивал Дерibasа о «дальнейшей линии поведения относительно Агапова»³⁵⁴.

Для срыва голодовки Агапова ему была отправлена телеграмма от имени Е. Пешковой следующего содержания: «Оренбург ОГПУ ссыльному Владимиру Агапову больницу. Бутырцы Гоц Тимофеев кончили голодовку Пешкова. Кузнецкий мост 16»³⁵⁵. 27 октября в 16.50 Денисов сообщал: «Сегодня объявил сухую голодовку полным отказом приема лекарств. Категорически отказывается переговоров нами, голодовку снимет только Москве. Ожидаю указаний»³⁵⁶.

28 октября начальник Оренбургского ГО ОГПУ Денисов докладывал: «Телеграмма Пешкова действия не произвела как и все наши заверения, голодовка настойчива, лекарств не принимает, возможен тяжелый исход. Агапов просит свидания Блох-Каценеленбоген»³⁵⁷. Резолюция Дерibasа звучала так: «Винавером послана такая-то телеграмма по такому-то адресу. Вручена ли она Агапову. Если нет вручите и добейтесь снятия голодовки»³⁵⁸. Впрочем, при отправке шифровки по прямому проводу напутали и передали следующий текст: «Винавером 27/Х адрес Агапову послана телеграмма двтчк квчк Бутырцы Гоц Тимофеев голодовку кончили тчк Пешкова квчк Вручена ли она Агапову тчк Если нет вручите и добейтесь снятия голодовки»³⁵⁹. На имя Агапова же была отправлена телеграмма от имени Винавера: «Оренбург начальнику ОГПУ для ссыльного Агапова Подтверждаю бутырцы Гоц Тимофеев кончили голодовки Винавер Помощь политическим заключенным»³⁶⁰.

29 октября 1925 г. начальником Оренбургского ГО ОГПУ Денисовым, начальником СОЧ С. Никитиным и начальником СО Я. Якововским был подписан пространный документ под грифом «Совершенно секретно», адресованный лично Дерibasа, по сути своей являющийся чем-то вроде «истории голодовки» Агапова. Он настолько ярко и откровенно рисует все унижения чекистов, к которым они прибегали для срыва голодовки Агапова, что мы приведем его полностью: «Препровождая одновременно с сим согласно ссыльного Агапова Владимира Владимировича имеем сообщить Вам нижеследующие сведения о поведении Агапова в гор. Оренбурге за время с 18 по 29 октября с.г.

В Оренбург Агапов прибыл 18 октября с.г. Чувствовал себя вполне удовлетворительно, свободно мог ходить, передвигаться без посторонней помощи. Немедленно по прибытию в Исправдом Агапов был подвергнут медицинскому освидетельствованию, что сделала специально назначенная комиссия во главе с врачом Максимовой, кандидат РКП. Комиссия, констатируя сильную усталость Агапова после поездки его по жел. дороге, нашла необходимым учреждение специального больничного надзора за Агаповым. Последний, однако, не был применен, т. к. на следующий день, т. е. 19 октября, состояние здоровья Агапова улучшилось и за ним было учреждено общее наблюдение врача в форме ежедневного посещения, причем все посещения Агапова врачом сопровождался присутствием при посещениях представителя Губотдела ОГПУ. Такое наблюдение осуществлялось за все время пребывания Агапова в Исправдоме вплоть до перевода в больницу. Нужно заметить, что за все время пребывания своего в Исправдоме Агапов принимал лекарство, пил горячую воду и менял нательное и постельное белье.

В день прибытия Агапова в Оренбург им было подано нам письменное заявление, в котором он ставил нас в известность, что он голодает с 9 октября с.г. и продолжает голодовку впредь до удовлетворения выдвиг-

нутых осужденными по процессу ЦК ПСР требований. В тот же день Агапов был навешен представителем губотдела (нач. СО), который, якобы не зная причин и мотивов голодовки Агапова, справлялся о требованиях Агапова и о тех условиях, при которых Агапов согласился бы снять голодовку. Последний подробно информировал нас о причинах голодовки и об условиях снятия голодовки, причем по отношению к нам он предъявлял требование немедленно отправить его в Москву. По заслушании этой информации во исполнение Вашей директивы — телеграммы 6263, нами было заявлено Агапову о прекращении голодовки Тимофеевым. К этому нашему заявлению он отнесся с недоверием, справился об источнике этих сведений и при этом добавил, что он не верит руководителям СО ОГПУ и в частности Дерibas, Андреевой, Агранову и Решетову.

22 октября с.г. Агапов был вторично был посещен нами (нач. ГО и нач. СО), причем в основу наших с ним переговоров были положены данные медицинского наблюдения за Агаповым в течение четырех дней, которые в действительности не обнаруживали чего-либо серьезного в состоянии здоровья, но сам процесс наблюдения был поставлен так, чтобы использовать мнительность Агапова и на этом основании сорвать голодовку. С этой стороны мы достигли некоторых результатов: вместо холодной воды он стал пить горячую воду, и кроме того стал более подробно интересоваться об условиях климата, жилища, заработка и вообще жизни в Оренбурге и, в частности, о технике наблюдения за ссылкой. В отношении же отказа он по-прежнему заявлял, что голодовку может снять только в Москве, „это общий разговор и решение всех наших товарищей” — заявил Агапов. В заключение нашей беседы он справлялся у нас — снял ли голодовку Гоц — если да, то каков источник сведений. При этом он заметил, что он доверяет только тов. тов. Дзержинскому и Бухарину.

Перевод его в больницу, согласно Вашей телеграммы 6300 также не оказал на него влияния, причем в момент зачитывания представителем губотдела ОГПУ постановления ГО об освобождении его из-под стражи, он просил, чтобы поменьше его беспокоить; от подписи на постановлении ГО отказался, словесно заявив, что голодовку он продолжает. Условия больницы не изменили его забот о себе: продолжал пить теплую воду, принимал лекарства и на предложение врача — очистить кишечник охотно согласился на клизмы. Это согласие было использовано для применения искусственного питания и в течение первой ночи пребывания в больнице ему удалось поставить три питательных клизмы приблизительно в 600—800 калорий. Наутро он смекнул о проделанной над ним манипуляции и начал оказывать сопротивление, причем врачу заметил, что о его обманах и проделках будет известно в Западной Европе.

Линия дальнейшего поведения ГО по отношению к Агапову была определена Вашей телеграммой 6304. Предложение ГО Агапову снять голодовку, подкрепиться и обещание свести их всех в Москву было так же, как и предыдущие наши предложения, отвергнуто с категорическим заявлением о снятии голодовки только в Москве после удовлетворения всех требований. Дальнейшие наши предложения в этом же духе, сделанные по Вашим телеграммам 6309 (о снятии голодовки Гоцем) и 6315 (то же Раковым) и телеграммами Пешковой от 27 октября с.г., также были оставлены Агаповым без внимания и с 27 октября в 12 час. дня он объявил сухую голодовку.

Последняя наша попытка сорвать голодовку была сделана вечером 27 октября с получением Вашей телеграммы 6337 о прекращении голодовки рядом цекистов (Гендельман, Лихач и др.). В этих целях нами был использован находящийся в отпуску в г. Оренбурге зам. ПП ОГПУ по КССР

т. Бокша. Последний, как новое в общении с Агаповым и ему не известное лицо, был нами представлен Агапову как уполномоченный ОГПУ, который следует по делам службы в Среднюю Азию и которому ОГПУ поручило увидеть Агапова и сообщить ему сведения о прекращении голодовки рядом цекистов и заверить последнего о съезде их всех в Москву. Комбинация с ролью уполномоченного удалась хорошо, но нужных результатов мы все же не получили. Доверив тов. Бокша как уполномоченному ОГПУ он вначале справился о местонахождении Гендельмана и о здоровье Ивановых, находящихся в Ташкенте и затем просил о направлении в Москву, обещая в пути следования принимать необходимое по мнению врачей лекарство для поддержания сердечной деятельности. Это были последние переговоры.

28 октября он просил разрешить ему свидание с административно-ссыльной Леонией Блох-Каценеленбоген и по его словам он хотел поговорить с ней по поводу условий жизни в Оренбурге. Сегодня 29 октября он повторил эту просьбу, соглашаясь, однако, на свидание не обязательно с Блох, а просто с кем-либо из ссыльных.

Руководствуясь Вашей телеграммой 6322, мы сообщили Блох-Каценеленбоген о желании Агапова увидеться с ней. Последняя, заявив, что она с ним не знакома и его не знает, от свидания с ним отказалась. Других ссыльных мы не уведомляли об этом желании Агапова и таким образом последний возвращается в Москву, не увидевшись ни с одним из местных ссыльных.

В заключение считаем необходимым сообщить Вам следующие наши впечатления об Агапове: он не уверен в полном удовлетворении лично его требования о месте ссылки и склонен полагать, что ссылку ему придется отбывать все же в Оренбурге. Это наше мнение мы строим на том основании, что он весьма подробно интересовался условиями жизни в Оренбурге и, в частности, справлялся, найдет ли себе работу в каком-либо учреждении. Дело Агапова и Ваши о нем указания мы оставляем у себя впредь до Вашего распоряжения»³⁶¹.

Сопроводительные документы на отправку в Москву В. В. Агапова были выписаны 29 октября, а отправлен он был уже на следующий день³⁶².

Почему Л. М. Блох-Каценеленбоген отказалась встречаться с В. В. Агаповым, много позже поведала в своих мемуарах эсерка Е. Олицкая, общавшаяся с ней: «Как-то вечером она сказала мне: „Мне хочется рассказать один случай из своей жизни. Его я себе никогда не прошу“. Передам ее рассказ, как сумею.

В 22-ом году шел суд над эсерами. Все остро переживали его. Смертный приговор мужу был заменен десятью годами тюрьмы. У меня на руках было двое детей. Вы знаете, как детей Виктора Чернова забрали в ГПУ? Меня тоже хотели арестовать, отобрать детей. Я долго с ними пряталась, скрывалась. Потом меня вместе с детьми выслали. После попытки забрать их у меня я стала, как ненормальная. Я не отходила от них ни на шаг. Мы могли сидеть голодные и холодные, но оставить их я не решалась. Товарищи в ссылке помогали мне жить. От мужа вестей давно не было. И вот однажды меня вызвали в местное ГПУ. Я была готова ко всему. Арест, так арест... Но вместе с детьми. Я оделась сама, одела мальчиков и мы пошли. Мне предложили войти в кабинет начальника, я вошла вместе с детьми. Начальник встретил меня очень любезно, даже предупредительно. Это еще больше насторожило меня.

— В нашей тюрьме, — сказал начальник, — содержится один заключенный, который тяжело болен. Он просит свидания с вами. Я решил пойти ему навстречу. Вы можете посетить его в камере.

Это прозвучало для меня невероятно. Когда и где допускали посетителей в камеры?! Я не поверила. Я сразу решила, что это ловушка. Крепко держа детей за руки, я сказала:

— Хорошо, я пойду в камеру, но вместе с детьми. Начальник стал убеждать меня в том, что это невозможно.

— Кто же болен? — спросила я. — Он назвал Агапова.

Агапов отбывал срок вместе с моим мужем в Бутырской тюрьме. Начальник показал мне заявление: „Прошу разрешить мне свидание с Л. М. Каценеленбоген. Агапов“.

Почерка Агапова я не знала. Записку сочла подделкой. Я не верила честному слову начальника, что свободно выйду из тюрьмы, что дети пододут меня в его кабинете. Я отказалась оставить детей. Меня отпустили домой.

Оказалось, что начальник говорил мне правду. Эсеры после суда, после замены смертной казни десятью годами заключения попали в ужасные условия строжайшей изоляции. И все же в тюрьме они связались друг с другом, повели борьбу за режим. Они объявили голодовку и условились голодать до конца, до удовлетворения всех своих требований. Они предвидели возможность развоза и голодать решили до соединения всех. Их-таки развезли в разные места. Агапов попал в нашу городскую тюрьму. От мужа он знал, что я отбываю здесь ссылку. Агапов был тяжело болен. Ему грозила смерть, он понимал это, но голодовки не снимал. Когда начальник получил указание, что требования голодающих удовлетворены и Агапова надлежит вернуть обратно в Москву, везти голодающего он не решился:

— Бессмысленно умирать, когда голодовка выиграна, — говорил он Агапову.

Как гарантии, Агапов требовал свидания со мной. Ему сказали, что я отказалась от свидания. Агапов не поверил ни в мой отказ, ни словам начальника о снятии голодовки. Голодающим его повезли в Москву. Его довели, он выжил. В этом мое спасение. И все из-за детей, из-за страха...»³⁶³.

Можно только добавить, что процитированный выше документ, в котором описывались все уловки оренбургских чекистов по отношению к Агапову, лишь подтверждает распространенную, судя по всему, репутацию Денисова как человека, чьему честному слову верить не следует.

8.2. М. Я. Гендельман (Москва — Саратов — Москва)

С привезенным в Саратов М. Я. Гендельманом немедленно встретился начальник Саратовского губотдела ОГПУ Аустрин, который 11 октября 1925 г. отослал начальнику СО ОГПУ служебную записку с рассказом об этой встрече: «По прибытии Гендельмана я вызвал его к себе для переговоров. Первым делом он заявил, что он вместе с другими своими товарищами объявил голодовку в знак протеста против приговора над Гоцем и Тимофеевым, и чтобы освободить меня от лишних трудов уговаривания, заявляет, что он голодовку не снимет до тех пор, пока я его не отвезу обратно в Москву для свидания его с товарищами или не закопаю на кладбище.

Я дал понять, что я не очень обеспокоен его голодовкой и через некоторое время мы разговорились. Он свой резкий тон изменил, начиная расспрашивать, где я буду его держать — в старом ли Саратовском каторжном центре или в другом месте, в социалистическом ли коридоре или вместе с уголовными и т. д. Я заявил, что в Саратове есть только один Губисправтрудом, в котором и ему придется отбывать наказание, что никаких социалистических коридоров у нас нет, но что ему предоставлена

вполне изолированная камера, а сегодня придется переночевать в одиночной камере при Губотделе, так как я не знаю, имеются ли свободные одиночки в Губисправтрудоде. Удовлетворившись этим, он просил дать ему полотенце и мыло, кипяченой воды, дать лекарства — слабительное, какие-нибудь книги и новые газеты. Я ответил, что полотенце, мыло и воду ему дадут, что сейчас вызову врача, обещал, что он будет получать газеты, а пока предложил свои две книги (беллетристика), из которых он взял одну, а от другой отказался, заявив, что ему хватит одной, так как он скоро надеется поехать обратно в Москву. Я ответил, что у меня книг много и я буду очень рад, если он их прочтет.

Мое личное впечатление, что он пока решил голодовку продолжать и в ближайшие дни вряд ли снимет, а потому полагаю, что незачем показывать ему, что мы здесь в Саратове очень обеспокоены тем, что он голодает. С переводом в Губисправтрудоде приму все меры, чтобы сорвать голодовку. Сегодня же приму меры, чтобы он на время голодовки в Губисправтрудоде был изолирован от других политзаключенных, и в особенности от чекиста меньшевика Кучина-Аранского. Расставаясь, Гендельман спросил меня, в случае если ему в Губисправтрудоде что-нибудь понадобится, может ли он вызывать меня. Я ответил, что он на это вполне может рассчитывать. С товарищеским приветом Аустрин.

Р. С. Чувствовалось, что в благополучный исход своей голодовки не надеется и его тяготит неизвестность, что с другими»³⁶⁴.

18 октября Аустрин сообщил в Москву: «Гендельман голодовку не прекращает, сведениям о Тимофееве не верит, заявляя, что кроме Агапова и Ракова голодают еще шесть человек, с которыми требует перевода обратно Москву. Заключение врача положение опасений пока не вызывает, для дальнейшего меры приняты»³⁶⁵.

Через три дня Гендельман заявил, что переходит на сухую голодовку, означавшую быструю смерть. И вот здесь произошла неожиданность — секретарь Саратовского губкома РКП(б), очевидно, решил подстраховаться и 21 октября 1925 г. послал телеграмму И. В. Сталину «для сведения», в которой писал: «У нас в Саратовской тюрьме 10-й день находится с.-р. Гендельман. Прибыл он сюда из Москвы, в состоянии голодовки, которую продолжает уже 12-й день. Наш ОГПУ регулярно информирует об этом Москву. Имеет директиву в случае продолжения голодовки — прибегнуть к искусственному питанию. Его требование вернуть в Москву. Держит себя крепко. К искусственному питанию еще не прибегали». Партийный руководитель, конечно же не знал, что Менжинский проинформировал Сталина еще 13 октября, но телеграмму послал явно «на всякий случай» (Попутно отметим, что это единственный случай, когда секретарь губернского комитета РКП(б) показал, что в доме главный все же он, а не чекисты. Причины этого кроются то ли в том, что в остальных местах чекисты просто скрыли от своих партбоссов информацию о «подарке», который свалился на их головы, то ли сами секретари заняли выжидательную позицию, что тоже имело свой резон).

Неприятную новость Дерибасу немедленно сообщил начальник Саратовского губотдела ГПУ Аустрин: «Сегодня Гендельман заявил если до пятницы его не переведут в Москву он начнет сухую голодовку. Несмотря на его протест сегодня переводим тюремную больницу. Состояние пока удовлетворительное мнение врачей искусственно питать надо сейчас не затягивая до последнего каковое начнем сегодня или завтра. О голодовке сегодня секретарем Губком РКП сообщено Сталину»³⁶⁶. И вот тут-то последовала интересная реакция Дерибаса, нало-

жившего на это сообщение следующую резолюцию: «Телеграмму в Москву не посылать. Начать немедленно кормить. Д[ерибас]. Самаре тоже. Д[ерибас]»³⁶⁷.

Нам остается только гадать, на что же, собственно, надеялся Дерибас. На то, что телеграмма Сталину еще не ушла? Но из текста видно, что она уже отправлена. Что, собственно говоря, он имел в виду? То что начальник губотдела ОГПУ сможет убедить (а тем более — заставить) секретаря губкома РКП не посылать ее? Или речь идет о том, чтобы втайне от секретаря губкома заблокировать отправку шифрограммы Сталину (в случае если связь была единой и для парторганов и для ОГПУ)? Дерибас, вероятнее всего, знал (или легко мог узнать) о том, что Сталин извещен о голодовке Менжинским. Тогда почему же он так нервно реагировал на весть из Саратова? Ответ, наверное, следует искать в том, что ему очень не понравилось сообщение напрямую самому Сталину о неудачном протекании подведомственной ему операции.

Впрочем, следующую шифровку (от 22 октября) Дерибас послал в Саратов уже без слов о «не посылке» злополучной телеграммы (то ли понимая, что опоздал, то ли — что серьезно «подставляет» себя такими приказами): «Немедленно приступите искусственному питанию Гендельмана тчк Возвращению в Москву Гендельман ни в коем случае не подлежит тчк»³⁶⁸. Точно такого же содержания телеграмма, но об Ивановой, была отправлена в этот день в Самару³⁶⁹.

26 октября Аустрин сообщал: «Гендельман согласен только прервать голодовку в поезде до Москвы где коллективно решить с товарищами об окончательном снятии»³⁷⁰. На следующий день в 14.20 от него пришла телеграмма: «Гендельман сегодня 27/10 прерывает голодовку при условии отправки Москву не позже 28/10 такое обещание дано, о выезде сообщу телеграфно»³⁷¹. И, наконец, 28 октября Аустрин сообщал: «Гендельман выехал 28 октября 19 часов почтовым поездом вагоном нр 1033 сопровождении уполном. Секретн. Отдела тов. Чечерина»³⁷².

Таким образом, Гендельман сделал успешный тактический ход — он временно «прервал» голодовку, сделав это пунктом торга за его отправку 28 октября в Москву, оставив за собой право на ее продолжение после обсуждения этого вопроса с товарищами. Этот был, конечно, до некоторой степени компромисс с его стороны, но компромисс, вполне оправданный: с одной стороны, он давил на чекистов с целью скорейшей отправки, с другой — получал передышку для продолжения борьбы.

8.3. Л. Я. Герштейн (Москва — Вятка — Москва)

Л. Я. Герштейн был привезен в Вятку, и 15 октября начальник Вятского губотдела ОГПУ Аргов сообщал Дерибасу о его поведении (любопытно, что даже в этом документе с грифами «совершенно секретно» и «только лично» он не упоминал его имени): «<...> 1. Ваше указание о строгой изоляции голодающего на все время голодовки вынудило меня поместить его не в „Вятский дом лишения свободы“, как вы предлагали, а у себя в арестном помещении при Губотделе, ибо брать на себя ответственность за полную изоляции голодающего, при крайне неудовлетворительной постановке дела в Вятизоляторе, я не рискнул.

2. Он, разумеется, продолжает упорно голодать, принимая только теплую воду, заявив мне, что голодовка будет прекращена только тогда, когда будет в Москве и увидит вновь своих товарищей. Ведет себя спокойно и охотно со мной беседует.

3. Я был у него с врачом. Последний его осмотрел и заключил, что время для искусственного питания еще не наступило. Состояние голодающего таково, что с этим можно еще повременить. 16/X врач опять его осмотрит.

4. Голодающий мне заявил, что в случае применения искусственного питания покончит с собой, „ибо такового насилия я не переживу“ (его слова).

Вот все, что имею пока сообщить»³⁷³.

22 октября Дерибас, обеспокоенный долгим молчанием и опасаясь непредсказуемого развития событий, запрашивал начальника Вятского губотдела ОГПУ: «Телеграфируйте положение Герштейна»³⁷⁴. Выяснилось, что беспокоился он не зря — вятские чекисты не только уже вовсю проводили искусственное питание, но и, ссылаясь на мнение врачей, предсказывали скорую смерть Герштейна. Это видно из шифровки Аргова, отправленной им в 16.45 23 октября 1925 г. Дерибасу: «С 21 октября произведено три вскармливания. Вчера попросил клюквенный напиток, дал подслащенный, пьет. Вмешательство врачей: сильно ослабел при искусственном питании долго не протянет»³⁷⁵. Реакция Дерибаса, впрочем, была весьма спокойной и выразилась в резолюции «К делу». Вечером 25 октября 1925 г. Аргов сообщал Дерибасу: «С 25 октября голодовку пока прекратил условием обязательного выезда среду Москву и встречи вагоне товарища противным случае среду возобновляется голодовка до пятницы и прекращается в вагоне»³⁷⁶.

28 октября начальник Вятского ГО ОГПУ более подробно сообщал о развитии событий в предыдущие дни: «Ввиду необходимости применения искусственного питания, требовавшего соответствующей больничной обстановки и непригодности для этого арестного помещения губотдела, я с 21/X голодающего перевел в тюремную больницу, приняв тщательные меры изоляции, организовав там охрану из своих людей. У него в камере непрерывно дежурили мои люди. С 21/X стали применять к нему питательные клизмы. Клизмы ставили ему 3 раза в сутки. Так продолжалось до 25/X. 24/X врачи мне заявили, что состояние его сердца и кишечника таково, что конец может наступить неожиданно, а может и еще несколько дней протянуть. В ночь с 24/X на 25/X я получил Вашу шифровку о возможности направления его в Москву, после прекращения голодовки. 25/X, употребив около 4-х часов на разговоры с ним, добился прекращения голодовки (вначале он твердил только одно: прекратит голодовку будучи в Москве, после того, как увидит товарищей). Любопытно следующее: когда мы с ним договаривались, он подчеркивал, что прекратит голодовку наполовину, т. е. пищу принимать не будет, а допустит ввод в организм только соответствующие лекарства. На самом деле голодовку он полностью прекратил и с 25/X принимал всякую пищу по указанию врача. Мне лично он заявил, что голодовку вновь возобновит, если в Москве он окажется один. Направляю его в сопров. Начинфаго тов. Евсеева с двумя красноармейцами из дивизиона»³⁷⁷.

С точки зрения тактики, Герштейн повторил ход Гендельмана — временное прекращение голодовки и возобновление ее в Москве, в случае отсутствия там его товарищей. Упрекать его в том, что он не выполнил своего обещания о самоубийстве, в случае применения к нему искусственного кормления, конечно, же не приходится. Дежурство чекистов непосредственно в больничной камере Герштейна и было-то установлено Арговым, чтобы не допустить его самоубийства (ну не для предотвращения же побега истощенного и ослабевшего человека). Сам факт искусствен-

ного кормления не дал чекистам ни ощущения победы над Герштейном, ни чувства успокоения. Из сообщения Аргова видно, что эта мера совершенно не спасала ситуацию, и врачи говорили о возможности в лучшем случае лишь несколько оттянуть смерть Герштейна. Фактически же и после применения искусственного питания чекисты ничего не выиграли и потому легко пошли на компромисс с Герштейном.

8.4. А. Р. Гоц (Ульяновск)

В случае с А. Р. Гоцем возникла парадоксальная ситуация: Политбюро на своем заседании еще 9 сентября 1925 г. постановило приговорить Тимофеева и Гоца к двум годам тюрьмы, а чекисты не решились проштамповать такое решение, очевидно, опасаясь обострения и без того сложной ситуации.

Только лишь 16 октября Особое Совещание при Коллегии ОГПУ постановило заключить А. Р. Гоца, содержащегося в Ульяновском ДПЗ, в «места лишения свободы, подведомственные ОГПУ, сроком на года»³⁷⁸. Но еще 10 октября 1925 г. начальник Ульяновского ГО ОГПУ Шийрон телеграфировал начальнику СО ОГПУ Дерибасу: «Ввиду долгого нерассмотрения дела Гоц намерен объявить голодовку двенадцатого октября»³⁷⁹. Уже через два дня Шийрон отправил Дерибасу письмо под грифом «Лично. Совершенно секретно», в котором имя Гоца было зашифровано как «Голова» (очевидно, для пушей секретности и избежания утечки информации): «В дополнение телеграммы от 10 сего октября за № 81/ш и сего числа за № 82/ш сообщаю, что „Голова“ сегодня в 10 часов утра объявил голодовку, выставив причину, что над ним, мол, издеваются: обещали дело рассмотреть немедленно по возвращении из отпуска тов. Менжинского, но сегодня уже 12-е число, а дело все не рассмотрено. Мои уговоры и указания на бесполезность голодовки до рассмотрения дела остались без результатов.

На последнем свидании „Головы“ с женой у них был разговор о голодовке, причем на вопрос жены, что в случае если он объявит голодовку, как долго она будет продолжаться, „Голова“ ответил, что 6 суток.

Во исполнение Вашего предписания от 16 сентября с.г. за № 18525 мною после объявления голодовки у „Головы“ был произведен обыск и отобраны все продукты, а также в целях непроникновения в город сведений о голодовке я сего числа лишаю „Голову“ свидания и буду задерживать всю переписку, касающуюся голодовки.

“Голову“ ежедневно будет осматривать Завгубздравотделом (врач) — член РКП(б) и о ходе голодовки и состоянии „Головы“ буду каждый день Вам телеграфировать.

Приложение: заявление „Головы“ на имя Председателя ОГПУ от сего числа».

В своем заявлении, объясняющем причины голодовки А. Р. Гоц писал: «10 июля я, после 1 1/2-месячного пребывания на свободе, был снова арестован по распоряжению ОГПУ. При допросе мне было заявлено, что мне инкриминируются два факта: письмо к Эд-ду Фимену и возможный побег.

В свое время я дал подробные объяснения, как по тому, так и по другому вопросу. Сейчас могу лишь вкратце повторить — по первому пункту. Письмо открытое было мною отправлено 9 месяцев тому назад (8 февраля) еще в бытность мою в Бутырской тюрьме. Что оно не было отправлено мною с воли, об этом, конечно ГПУ прекрасно осведомлено, ибо из

Бутырской тюрьмы я был срочно препровожден в г. Ульяновск, а здесь находился под таким тщательным наблюдением, что каждый мой шаг был известен местному ОГПУ. Запоздалое появление в печать моего открытого к Фимену по сравнению с моментом отправки объясняю себе только случайностью, обусловленной несовершенством нелегальной почты.

Что касается второго пункта, то могу заявить, что это совершеннойший вздор. Граж. зам. пред. ОГПУ Ягода заявил моей жене, что в его распоряжении имеется какое-то письмо, в котором значится, что Гоц собирается убежать через четыре месяца. Подобную вещь мог написать либо заведомый идиот, за действия которого, конечно, никто ответственности нести не может, либо явный провокатор, за действия которого ответственность нести должен, разумеется, не я.

Поэтому я считаю, что вопрос о побеге в данном случае притянут за волосы и ко мне никакого отношения не имеет.

Что же касается до письма, то я готов признать, что в данном случае имело место нарушение тюремных инструкций. В старое, царское время подобное нарушение каралось 10-дневным карцером. Просидев уже 3 месяца в тюрьме, я полагаю, что с лихвой оплатил по этому счету. За бытность мою на свободе я вел абсолютно уединенный образ жизни, вращаясь только в кругу своей семьи. Переписку поддерживал только с родными и близкими друзьями, причем носила она совершенно частный характер. Таким образом, никаких фактических оснований для моего нового ареста у ОГПУ не было и быть не могло. Поэтому я не могу рассматривать поведение ОГПУ по отношению ко мне иначе как издевательство над моей личностью, с моей стороны ничем не вызванное, как желанием, использовав уже мое освобождение 20 мая пред лицом социалистического общественного мнения широких рабочих кругов Запада, фактически превратить мое заключение в бессрочное. Ибо отсидев сейчас опять некоторое положенное мне время, где же у меня может быть уверенность, что через месяц после освобождения я не буду вновь брошен в тюрьму. Я уже не говорю о том, что мой последний арест, вырвав меня из семьи, которая годами ждала возможности пожить со мной на свободе, является жестокой игрой на людских нервах.

Немедленно же после ареста мной был подан в Президиум ОГПУ протест с указанием на неосновательность моего нового задержания с просьбой пересмотреть дело. В ответ на это я получил ряд разновременных указаний на то, что дело мое должно задержаться с рассмотрением по ряду причин, а главное из-за отсутствия Председателя ОГПУ. Отнюдь не желая придавать своей голодовке демонстративный характер, я терпеливо в продолжении трех месяцев ждал благосклонного разрешения. Все сроки прошли и не получая ответа, я считаю себя вынужденным объявить голодовку, настаивая на своем освобождении с правом жительства на старом месте.

Голодовку я начал с 12 октября сего года с 10 ч. утра. А. Гоц. 12/X—25 г.»³⁸⁰.

14 и 15 октября 1925 г. начальник Ульяновского ГО ОГПУ Шийрон послал в Москву две абсолютно одинаковые телеграммы: «Гоц голодовку продолжает, состояние здоровья хорошее»³⁸¹. Вскоре Шийрон запрашивал Москву: «Гоц голодовку продолжает, состояние здоровья удовлетворительное. Прошу сообщить, когда будет рассмотрено дело и можно ли это сообщить Гоцу, целью заставить его отказаться от голодовки». Ответ не заставил себя ждать: «Дело Гоца ставится рассмотрение Особого Сопровождающего пятницу 23 октября. Постарайтесь сорвать голодовку».

16, 17, 18 и 20 октября 1925 г. Шийрон исправно извещал Москву о продолжении голодовки, не утруждая себя, впрочем, изложением подробностей или разнообразием формулировок (лишь характеристика состояния Гоца в них варьировалась от «хорошего» до «удовлетворительно-го»): «Гоц голодовку продолжает, состояние здоровья удовлетворительно» или «Гоц голодовку продолжает, состояние здоровья хорошее»³⁸². На последнее сообщение он в тот же день получил ответ от Дерibasа: «Разрешите Гоцу свидания с его детьми тчк 20 октября 1925 г.»³⁸³.

21 октября Сара Гоц отправила из Ульяновска письмо Ф. Э. Дзержинскому, где писала: «Феликс Эдмундович, обращаясь к Вам, делаю последнюю попытку спасти мужа. Вы знаете, что он был арестован после полутора месяцев жизни в ссылке. Арест явился такой неожиданностью для нас, что мы долго были убеждены, что все дело в каком-то недоразумении. Муж мой и я категорически утверждаем, что за время пребывания его на свободе не было никаких поводов для его нового ареста. Жил он только в кругу и интересами своей семьи, не заводя ни с кем знакомства, вел переписку только с родными и самыми близкими друзьями. Уверяю Вас, что не только никаких попыток, но даже разговоров и мыслей о побеге не было. Мы так верили в серьезность и продолжительность нашей жизни в Ульяновске, что я ликвидировала в Москве решительно все, перебралась с детьми туда, определила их в школу, сама поступила на службу. Если бы у мужа было хотя отдаленное намерение оставить нас, он никогда не потревожил бы нас с насиженного места. Поверьте мне в этом, Феликс Эдмундович. 2 месяца тому назад я приехала в Москву к Вам, но мне удалось повидать только Ягоду. Со всей страстностью и искренностью какой я только могла, я пыталась его убедить в неосновательности всех взводимых на мужа обвинений и подозрений. Но убедить можно только тогда, когда хотят разобраться в правде, а не настоять на своем: Гоц должен быть в тюрьме.

Вся надежда на Вас. Вы можете и поверить и беспристрастно разобраться. Муж, заявляя о возможности голодовки, очень не хотел прибегать к ней и в течение 3-х месяцев ждал, что „недоразумение“ выяснится. Он знал, что эта голодовка будет последней в его жизни. 12 октября, после того, как он убедился в бесплодности ожидания, он объявил голодовку и теперь на карту поставлена его жизнь. Муж решил или добиться выполнения условия ссылки и жизни в Ульяновске или умереть (подчеркнуто красными чернилами сотрудниками ОГПУ. — К. М.). Так больше жить нельзя. Можно нести наказание за что-нибудь, а ни за что, без всяких причин или по воображаемым и кажущимся — невозможно.

Товарищи мужа, заключенные в Бутырьках, узнав об аресте и голодовке Тимофеева и мужа тоже объявили голодовку сочувствия. Они голодают 13, муж 10 дней (подчеркнуто красными чернилами. — К. М.). Наши хлопоты по этому поводу наталкиваются на полное равнодушие, а может — это ставка на жизнь. И каждый лишний день может принести какую-нибудь жертву.

Я нахожусь в большом волнении и тревоге за жизнь мужа. Из Ульяновска так долго идут вести и трудно учесть наступление критического момента особенно ввиду имеющегося у всех миокардита. Кроме тревоги за мужа у меня много тревоги за детей, которые остались совершенно одни и чрезвычайно тяжело переживают арест и голодовку отца. И я прошу Вас, Феликс Эдмундович, рассмотреть внимательно это дело, поверить в искренность моих слов и неосновательность всех подозрений. Прекратите эту никому не нужную и ничем не вызванную жестокость, верните мужа в семью и тем прекратите голодовку в Бутырьках.

Поверьте, я никогда не стала бы просить Вас об этом, если бы муж действительно начал политическую работу и помышлял о бегстве»³⁸⁴.

На этом письме был проставлен входящий номер и сделана пометка «23/Х Секр. т. Дзержинского Ф. Э.». И рядом другая пометка «Получ. 24.Х.25 (подпись не установлена. — К. М.)».

Сара Гоц не знала, что именно Дзержинский настаивал перед Политбюро на аресте ее мужа, и что ему вряд ли была близка та аксиома, которую она ему высказывала «Можно нести наказание за что-нибудь, а ни за что, без всяких причин или по воображаемым и кажущимся — невозможно». Ей трудно было понять, что политическая целесообразность и спокойствие его ведомства было Дзержинскому куда важнее, чем сохранение здравого смысла и вообще какого-либо смысла. Восклициение Сары Гоц «Так больше жить нельзя», Дзержинский также вряд ли разделял, ибо именно так все политзаключенные и инакомыслящие и должны были жить в советской России. И если ее мужу и его товарищам удалось отстоять свое «право так не жить», то совсем не благодаря письму Сары Гоц и заступничеству Дзержинского, а своей жесткой борьбе за это право.

21 и 22 октября Шийрон вновь сообщал Дерибасу: «Гоц голодовку продолжает, состояние здоровья удовлетворительное»³⁸⁵. С 23 октября он стал несколько многословнее: «Гоц голодовку продолжает. Состояние здоровья удовлетворительное, искусственном питании по заключению врача еще не нуждается»³⁸⁶. В телеграмме от 24 октября 1925 г. говорилось: «Гоц голодовку продолжает. Состояние здоровья без перемен. Гоц голодовку согласен снять при условии освобождения под домашним арестом»³⁸⁷. 25 октября Шийрон сообщал Дерибасу о подаче своим подопечным телеграммы на имя Калинина: «Гоц сегодня подал мне для отправки телеграмму следующего содержания: „Пред. ОГПУ Дзержинскому копия Председателю ЦИК’а Калинину. Сегодня консилиум врачей заявил, что со вторника придется применить ко мне искусственное питание ввиду угрожающего состояния здоровья прошу срочного распоряжения Вашего но применять этой меры ходатайствую срочном пересмотре дела Гоц“. Содержание телеграммы сообщаю Ваше усмотрение. По заключению врачей в состоянии здоровья Гоца сравнении вчерашним днем резких перемен не произошло и искусственным питанием он еще не нуждается»³⁸⁸. На следующий день в 16.38 Шийрон сообщал Дерибасу о том, что никаких изменений в деле Гоца не произошло и просил разрешения приехать в Москву³⁸⁹.

В этот же день Дерибас ответил запиской по прямому проводу, причем правка, внесенная им в этот документ, была весьма характерной и показывала его готовность поскорее найти компромисс и закончить голодовку Гоца. В первом варианте было: «<...> Переведите на домашний арест при условии снятия немедленно тчк исполнение сообщите тчк»³⁹⁰. А во втором — «Переведите немедленно на домашний арест при условии снятия тчк исполнение сообщите»³⁹¹. И уже ночью Шийрон докладывал: «Гоц голодовку снял 11 вечером, переводу согласно его желания домашний арест завтра утром»³⁹².

Таким образом, Гоц вместо шести проголодал 14 суток. Вообще любопытно, как чекисты (что Шийрон, что его московские коллеги), склонны были принижать волевые качества Гоца и как охотно поверили его словам жене о 6 днях голодовки (которые, вероятно, были сказаны, чтобы успокоить ее).

Добившись перевода из тюремных стен под домашний арест, Гоц, конечно же, одержал серьезную моральную победу (впрочем, не только моральную), но вопрос о том, вернется ли он в ближайшее время в тюрьму,

оказался подвешенным и зависел теперь от того, захочет ли Политбюро и руководство ОГПУ нового противостояния с ним и его товарищами и от того давления, которое оказывалось на партийное и чекистское руководство социалистами Запада и по советским дипломатическим каналам.

8.5. Е. А. Иванова (Москва — Самара — Москва)

По привозе Е. А. Ивановой в Самару зам. начальника Самарского ГО ОГПУ Рождественский телеграфировал Дерibasу: «<...> На № 6229 сообщаю, Иванова продолжает голодовку, причины остались московские плюс перевод Самару. Поведение спокойное. Подробности почтой»³⁹³. 14 октября ее осмотрел врач, написавший в освидетельствовании: «Иванова голодает. Пульс малого наполнения. Тоны сердца глуховаты. Язык обложен. Небольшой запах из рта. Слабость, общее состояние удовлетворительно. Ординатор Бибиков. 14/Х»³⁹⁴.

На следующий день зам. начальника Самарского губотдела ОГПУ Рождественский и начальник 1-го отделения Емец послали подробное письмо на имя начальника 3-го отделения СО ОГПУ Решетова, в котором писали: «<...> 13/Х мной совместно с пом. Прокурора была посещена гр. Иранова-Иванова, с которой имели продолжительный разговор по поводу ее голодовки и причинах последней. Она на наши вопросы заявила, что основной причиной является арест Гоца и Тимофеева и что она, как и другие ее товарищи, будет голодать до тех пор, пока не будут освобождены Гоц и Тимофеев, и пока ее и других не переведут в те же условия содержания под стражей, в коих были до отправления ее в Самару. Последнее она выставляет как дополнительную причину голодовки, от которой Иванова отказаться не хочет. Кроме того ею было заявлено, что она не остановится ни перед чем (смерти не боюсь — заявила она), но голодовку не снимет до удовлетворения их требований Москвой.

В изоляторе Иванова помещена в отдельную теплую лучшую камеру и находится под особым надзором. На сообщение ей, что она имеет право вести переписку с ближайшими родственниками в пределах нормы для политических заключенных, заявила, что вести переписку она не думает. В отношении книг сказала, если дадите, буду читать. Иванова находится под наблюдением врача изолятора, который 14/Х констатировал, что пульс малого наполнения, тоны сердца глуховаты, язык обложен, небольшой запах из рта, слабость, общее состояние удовлетворительное.

Нами предвидится возможность прибегнуть к искусственному питанию и на сей счет даны соответствующие указания нач. изолятора принять необходимые меры. Во всяком случае заключение врача еще не говорит за применение искусственного питания в данный момент. В отношении переписки Ивановой даны соответствующие задания, результат будем сообщать немедленно»³⁹⁵.

16 октября 1925 г. Рождественский вновь сообщал: «Иванова остается старом решении голодовки не снимает. Не верит, что Тимофеев снял голодовку ставит условием перевод Москву где вместе обсудят вопрос голодовки состояние ее слабое, неизбежно искусственное питание»³⁹⁶. На следующий день из Самары телеграфировали: «<...> Иванова голодает выполнению вам обещания не верит, ссылаясь на действия Гоцем, Тимофеевым. Ставит окончательным условием перевод Москву к товарищам. Состояние Ивановой — пульс учащен, неудовлетворительного наполнения, слабость сильная, общее состояние удовлетворительно»³⁹⁷.

17 октября 1925 г. старший врач и регистратор больницы при Самарском изоляторе спецназначения отправили докладную записку «пом. прокурора по ГПУ через Самизолятор», в которой говорилось: «Больница при Самарском изоляторе настоящим сообщает бюллетень голодающей Ивановой-Ероковой (так в документе. — К. М.) Елены. Голодает с 11/Х, пульс учащен, неудовлетворительного наполнения, тоны сердца глуховаты, язык сильно обложен, запах изо рта, слабость сильная, но общее состояние пока удовлетворительное»³⁹⁸. 19 октября 1925 г. зам. начальника Самарского ГО ОГПУ Рождественский сообщал Дерибасу: «<...> Иванова голодовку не снимает тчк общее состояние удовлетворительное, слабость усилилась без помощи не может сидеть, сознание не теряет, поведение спокойное»³⁹⁹. 21 октября он же телеграфировал: «Состояние Ивановой без перемен»⁴⁰⁰.

25 октября Рождественский объяснял, почему они не прибегают к искусственному кормлению: «Иванова остается прежнем решении прекратит голодовку только Москве, никаким доводам, указанным Вами, не дает значения. Состояние Ивановой: усилилась слабость, находится в сознании, почему искусственного питания врач не применяет опасаясь при сопротивлении смертельного исхода, явления опасного для жизни пока нет. Ежедневно наблюдается специальным врачом, приготовлено все для питания. Прошу указаний»⁴⁰¹.

Объяснения Рождественского и врача достаточно красочно рисуют ситуацию и не требуют особых комментариев: они не сомневались, что в случае насильственного кормления Иванова будет сопротивляться, и, опасаясь ее смерти, собирались приступить к кормлению, когда она потеряет сознание от слабости. Это вполне подтверждалось сообщением начальника Самарского губотдела ОГПУ от 27 октября: «Состояние Ивановой ухудшилось. Искусственное питание не допускает, угрожая самоубийством. Голодовку до возвращения Москву снять категорически отказывается. Отрицает возможность снятия голодовки другими заключенными. Прошу указаний. Передать СО ОГПУ Дерибасу»⁴⁰². Дерибас в этот же день отвечал: «Сообщаем Раков голодовку снял тчк Используйте это для срыва голодовки Ивановой»⁴⁰³.

В 22.30 того же дня Карпенко сообщал Дерибасу: «Личной беседе Ивановой добился принятия ею вина при условии отправления Москву вечером 28, если же этому времени вы пришлете телеграмму которой будет условное от снявших голодовку подтверждение в вид общее идущим общее слово, например, как *интерес арестуют* (правильность подчеркнутого сомнительна — прим. шифровальщика) Нила Федоровича или что-либо подобное, она соглашается голодовку прекратить. Если подтверждение не получит, то согласна в дороге принимать камфару вино»⁴⁰⁴. Поверх этой шифровки Дерибас написал следующее: «Вызвать к прямому проводу Самару и передайте следующее: На Вашу № 175/ш передаю Вам копию телеграммы, посланной Винавером: „Оренбург больница, ссыльному Агапову Бутырцы, Гоц, Тимофеев голодовки прекратили“ и т. д. (точный текст телеграммы Винавера). Предъявите Ивановой и предложите прекратить. Немножко дайте поправить и отправляйте ее в Москву»⁴⁰⁵.

Интересны переговоры Дерибаса по прямому проводу с начальником Самарского ГО ОГПУ Карпенко (без даты): «Телеграмму Пешковой перепишите на бланк. Скажите, что получили из Москвы и предъявите известному Вам человеку; если вы поняли нашу шифровку сегодняшнюю, то мы уверены, что дело закончится успешно. Результат сегодня телегра-

фируйте»⁴⁰⁶. Карпенко отвечал: «Никакого ответа сейчас дать не могу. Сообщу после переговоров думаю что данное будет недостаточно. Лучше бы сделать то, о чем шла речь в моей депеше»⁴⁰⁷.

Дерибас отдал самарским чекистам следующую директиву: «Отправьте Москву постарайтесь уговорить что с момента посадки поезд начала принимать пищу Отправьте отдельном купе. Случае смерти дороге без шума доставьте Москву»⁴⁰⁸. Уполномоченный Самарского ГО СО ОГПУ Весновский отвечал: «Согласие принятие пищи с момента получения подтверждения об отправке завтрашний день уже имею. Вино подействовало великолепно. Состояние хорошее завтра если будет купе отправим и надеюсь с завтрашнего утра будет принимать пищу и обещает по дороге поправиться до вполне приличного состояния. Последняя депеша имела очень малое действие. Причины сообщу дополнительно»⁴⁰⁹. И, наконец, 29 октября Карпенко сообщал: «Иванова кончила голодовку 29 октября утром. Чувствует вполне прилично. Сейчас вечером поездом № 7 отправим Москву. Прошу встретить»⁴¹⁰.

Слова Дерибаса «случае смерти дороге без шума доставьте Москву» служат доказательством того, что чекисты пошли на компромисс, уже оказавшись перед последней чертой, и были готовы даже к смерти Ивановой.

8.6. М. А. Лихач (Москва — Ново-Николаевск—Москва)

В типовом письме начальника СО ОГПУ Дерибаса от 9 октября 1925 г., подписанном им вместе с начальником 3-го отделения СО Решетовым и адресованном в Ново-Николаевск в Полномочное Представительство по Сибири относительно М. А. Лихача, помимо объяснения о том, как его содержать, давались сведения и о том, с кем ему можно переписываться: «<...> Сообщите Лихачу, что ему разрешена переписка только с ближайшими родственниками и в пределах общей нормы переписки политзаключенных. Во время заключения в Бутырской тюрьме СО ОГПУ была разрешена Лихачу переписка со следующими родственниками: 1) Соловьева Дарья Гавриловна — жена, 2) Лихач — М. А. — сестра, 3) Лихач Л. А. — бывшая жена. О поведении Лихача и о ходе голодовки своевременно информируйте СО ОГПУ. Нормы раскладки питания прилагаются»⁴¹¹.

14 октября 1925 г. начальник Сибирского ОТО ОГПУ Филиппов, побеседовав первый раз с Лихачем, после его привоза сообщал из Ново-Николаевска Полномочному представителю ОГПУ по Сибирскому краю Павлуновскому: «Приму меры прекращения голодовки Лихачем. У меня впечатление, что Лихач решил голодать смертельно»⁴¹². Павлуновский в своем сообщении в Москву повторил слова Филиппова от своего имени: «Приму меры прекращения голодовки Лихачем. У меня впечатление, что Лихач решил голодать смертельно»⁴¹³. В Москве на это тревожное сообщение была поставлена традиционная резолюция «К делу».

О том, что Лихача окружили беспрецедентным «вниманием», видно из его заявления от 15 октября 1925 г. Павлуновскому: «гр. Павлуновский, к Вам у меня маленькая просьба. Ваши подчиненные, несомненно, переусердствовали в моей охране. Поставили у дверей камеры постоянного часового, который все время смотрит в волчок; когда я потушил огонь (так как при огне спать не могу), после долгих препирательств согласились на это, но ввели второго (!) часового в камеру. Столь сильная забота о моей жизни меня, конечно, очень трогает, но уверяю Вас, приводит к обратным результатам: вызывает [невозможность] спать, в результате

чего пульс начинает прыгать до 110—120. Если это будет продолжаться, вряд ли я смогу долго выдержать. Надеюсь поэтому, что Вы отмените эти распоряжения. В частности хотел бы: 1) Чтобы часовой у дверей не „висел“ бы на волчке. 2) Чтобы ночью мне давали тушить огонь беспрепятственно. 3) Чтобы отнюдь не вводить специального часового внутрь камеры, что не дает мне спать»⁴¹⁴.

Самочувствие М. Лихача ухудшалось достаточно быстро. Так, если 15 октября уполномоченный Наркомздрава по Сибири заключал: «В общем состояние удовлетворительное <...>. Во всяком случае угрожающих симптомов нет»⁴¹⁵, то уже на следующий день, т. е. 16 октября, он констатировал: «Самочувствие несколько ухудшилось. Плохой сон. Жалоб на боли в животе нет. Объективно: язык обложен. Лицо одутловато. На ногах отеков нет. Сердце: расширено на 1 поперечный палец вправо, слева тоже. Тоны глухи. Пульс 116. Наполнения более сносного, чем это было 15/X. Поскольку организм начал реагировать на голодовку, пожалуй, своевременно приступить к искусственному кормлению. Думаю, не позже завтрашнего дня»⁴¹⁶.

17 октября 1925 г. Павлуновский сообщал в Москву о Лихаче: «<...> голодовки не прекращает, сегодня произведем искусственное питание»⁴¹⁷. 20 октября начальник ТО ПП ОГПУ Филиппов телеграфировал из Ново-Николаевска Дерибасу: «Лихач продолжает голодать перешел сухую голодовку применяем искусственное питание. Требуется отправки Москву. Павлуновский»⁴¹⁸.

Чувствуя скорую развязку и не желая нести за нее ответственность, 20 октября Павлуновский заявил Дерибасу: «Если не удастся сорвать голодовку до 24, я его 24 скорым направлю Москву»⁴¹⁹. На следующий день он получил ответ, но не от Дерибаса, а от ...заместителя председателя ОГПУ В. Р. Менжинского: «Лихача направить Москву нельзя ни в коем случае тчк Продолжайте применять искусственное питание тчк 21 октября 1925 Запред ОГПУ Менжинский»⁴²⁰. Из этого видно, кто был настоящим вдохновителем и руководителем всей этой операции, впрочем, спрятавшимися в тень и за спины руководителей среднего звена. Обращает на себя внимание, что на шифровках из губотделов ОГПУ стоят резолюции только Дерибаса и Решетова (Дерибас адресовал их без комментариев Решетову, а последний — Хорошкевич). Из всего этого следует, что высшее руководство ОГПУ этих документов в руках не держало и не хотело вникать в детали операции.

24 октября Павлуновский по «прямому проводу» передал Дерибасу: «Лихач голодает 16 суток. Искусственное питание применяется силой. Требуется гарантии, что будет направлен Москву как он так и его товарищи. Получении гарантии голодовку прекращает»⁴²¹. На следующий день он телеграфировал в Москву: «Лихач голодает 16 суток (так в тексте. — К. М.) искусственное питание применяется силой. Прекратит (слово «прекратит» под сомнением, потому что оно искажено. — Прим. шифровальщика) гарантировать, что будет отправлен Москву как он так и его товарищи, получении гарантий голодовку прекращает»⁴²². 26 октября Дерибас отвечал Павлуновскому: «Гарантию дайте. По прекращении голодовки и выздоровлении — направьте Москву. Снятие голодовки телеграфируйте. Отpravку предупредите заранее»⁴²³.

Радостную весть о прекращении голодовки Лихачем Дерибас 25 октября в сверхсрочном порядке отправил по остальным городам для срыва других голодовок: «В[есьма] срочно. По распоряжению Дерибаса передать по прямому проводу или другими путями <...> Лихач по представлении

ему гарантий, что по окончании голодовки он и его товарищи будут доставлены Москву голодовку снял тчк Используйте срыва ваших голодовок»⁴²⁴. Впрочем, Дерибас явно форсировал события — Лихач вовсе не прекратил еще голодовки, а лишь договаривался об условиях ее окончания. Реально он ее прекратил позже — или вечером 25-го октября или утром 26-го, как это видно из резолюции Павлуновского на телеграмме Дерибаса от 24/X—25 г.: «Москва СО ОГПУ на № 6304 Лихач прекратил голодовку зпт сегодня выехал Лысьву тчк 26/X. Павлуновский»⁴²⁵.

8.7. Ф. Ф. Федорович (Москва — Нижний Новгород — Москва)

9 октября 1925 г. начальник СО ОГПУ Дерибас и начальник 3-го отделения СО ОГПУ Решетов сообщали начальнику Нижегородского губотдела ОГПУ: «Переводимого к Вам при сем осужденного на тюремное заключение по процессу ЦК ПСР члена ЦК ПСР Федоровича Флориана Флориановича поместите для отбывания срока тюремного заключения в Нижегородский дом лишения свободы, максимально изолировав его от всех политзаключенных и от воли на все время голодовки, объявленной им при отправке из Москвы»⁴²⁶.

27 октября зам. начальника Нижегородского ГО ОГПУ Загвоздин запрашивал Дерибаса: «<...> можно ли давать эсеру Федоровичу совместные прогулки с содержащимися у нас в изоляции эсерами Каценеленбоген, Стружинским, Дорожковым и Сидоровым»⁴²⁷. Дерибас ответил: «Загвоздину. На днях Федорович будет вызван в Москву. 29/X. 25». И в тот же день Загвоздин отправил запрос и на имя начальника 3-го отделения СО ОГПУ Решетова: «1) Федорович ждет исполнения данного ему обещания о возвращении всех книг, оставшихся в Москве. 2) Просит установить адрес его дочери (он забыл по дороге из Москвы в Нижний и никак не вспомнит), проживающей в Богородском уезде с его сестрой врачом. Просьба прислать адрес, т. к. я обещал ему это в момент снятия им голодовки; передан адрес будет тогда, когда все остальные снимут голодовку. Просьба сообщить, когда прекратят голодовку остальные»⁴²⁸. Ответ Дерибаса и Решетова был общим и был отправлен 31 октября 1925 г.: «Прогулку Федоровичу совместно Каценеленбогеном и др. политзаключенными — не давайте. Книги и адрес его дочери — не посылаем, т. к. Федорович на днях будет вызван в Москву. О последнем поставьте Федоровича в известность. Из цекистов в данное время голодают только Иванов и Агапов, остальные голодовку прекратили и вызваны уже в Москву»⁴²⁹.

1 ноября 1925 г. зам. начальника Нижегородского ГО ОГПУ Загвоздин сообщал Дерибасу: «Согласно Вашего распоряжения, переданного мне по телефону 31-го сего октября сотрудником СО ОГПУ т. Весковским, при сем препровождается политзаключенный Федорович Фегодиев (так в документе. — К. М.) Флорианович»⁴³⁰.

Примером того, какие приемы чекисты пытались использовать, чтобы найти «подходы» и рычаги давления на некоторых из заключенных для срыва голодовки, может служить история с невестой Ф. Ф. Федоровича. Власть, в целях дальнейшей изоляции осужденных, выслала из Москвы их жен. Данные об этом мероприятии весьма отрывочны, неизвестно даже, шла ли речь о высылке только жен или всех родственников, а также охватывала ли высылка всех осужденных по процессу или только членов ЦК ПСР. Но как бы то ни было, этой репрессии подверглась невеста Ф. Ф. Федоровича Е. Я. Соснина, арестованная 22 марта 1924 г. и высланная в Актюбинскую губернию. К лету 1925 г. осужденные эсеры добились

от чекистов права выезда жен на свидание с ними, но тут выяснилось, что это право не распространяется на Е. Я. Соснину. 1 июля 1925 г. заместитель начальника СО ОГПУ Я. С. Агранов направил письмо коменданту Бутырской тюрьмы Адамсону, в котором писал: «Прошу сообщить осужденному Федоровичу Ф. Ф., что право выезда из ссылки на свидание, предоставленное СО ОГПУ высланным женам чекистов, на гр. Соснину Е. Я. распространено быть не может, так как по показаниям гр. Сосниной при аресте ее 22/III—24 г. она приходится Федоровичу не женой и даже не невестой, под видом которой она получала свидание, будучи на свободе, а только дальней родственницей 1-й жены Федоровича»⁴³¹.

Ф. Ф. Федорович прямо на обороте этого документа написал: «Настоящее постановление прочел, но вместе с тем заявляю, что готов для оформления моих отношений с Е. Я. Сосниной произвести формальную запись и таким образом формально узаконить наш брачный союз»⁴³². Конечно, никакую «запись» чекисты производить не стали, но свою позицию несколько смягчили. 31 июля 1925 г. зам. начальника СО ОГПУ Андреева просила коменданта Бутырской тюрьмы известить Ф. Ф. Федоровича, что выезд Е. Я. Сосниной в Москву на свидание с ним разрешен быть не может, но вместе с тем ему было обещано удовлетворить «в случае возбуждения им по окончании срока тюремного заключения ходатайства о переводе адмссельной гр. Сосниной Е. Я. по месту его ссылки»⁴³³.

Несмотря на незарегистрированность отношений с Е. Я. Сосниной Ф. Ф. Федорович продолжал упорно называть ее в своих заявлениях «женой». Во время голодовки в ноябре 1925 г., когда осужденных разослали по разным тюрьмам, в письме к нач. Нижегородского губотдела ОГПУ Е. Я. Соснина называлась уже невестой Федоровича и была включена в «список ближайших родственников», с которыми Федоровичу разрешалась переписка. Представляется, что чекисты пошли на такое послабление отнюдь не из человеколюбия, а из желания обрести дополнительный рычаг давления на Ф. Ф. Федоровича. Такой вывод напрашивается из служебной записки, адресованной начальнику 3-го отделения СО ОГПУ Решетову: «Федоровичу обещано за прекращение голодовки следующее: 1) Сосниной-жене, разрешить приехать на свидание (она в ссылке и 5 мес. не имела свиданий). 2) Сосниной дочери давать свидание не по часу в неделю, а по 2 часа в 2 недели или 4 в месяц. 3) Сохранить московский паек. 4) Когда пошлем его в ссылку, то разрешить туда переехать и Сосниной»⁴³⁴.

Судя по всему Ф. Ф. Федорович проявил твердость, за что и был, очевидно, наказан лишением переписки с Е. Я. Сосниной, а в ответ на его запросы причины этого запрета объяснили ведущимся по ее делу следствием⁴³⁵.

В марте 1926 г. Ф. Ф. Федорович написал два заявления, в которых продолжал добиваться общего места ссылки для себя и жены, также написавшей в феврале 1926 г. подобное заявление. Любопытно, что чекисты даже этот повод использовали для лишения его права жить в центральной России. Так, в заявлении помощника начальника СО ОГПУ Андреевой от 18 марта 1926 г. Федорович писал: «Вы сообщили мне, что в случае перевода Е. Я. Сосниной в место моей ссылки я не могу рассчитывать на ссылку меня в центральные губернии, и перечислили ряд городов, куда я мог бы быть сосланным вместе с Е. Я. Сосниной. Из указанных Вами городов я выбираю город Ташкент, хотя по климатическим соображениям я предпочел бы гор. Самарканд, если можно назначить мне его местом ссылки, несмотря на проживание там Е. М. Ратнер»⁴³⁶.

Срок тюремного заключения Ф. Ф. Федоровича кончился 23 марта 1926 г. и 26 марта он был отправлен в г. Оренбург с обещанием перевести туда же Е. Я. Соснину, но еще и почти месяц спустя (21 апреля 1926 г.) ему (уже из Оренбурга) пришлось просить ускорить ее перевод в этот город⁴³⁷.

Из документов видно, как решалась судьба Ф. Ф. Федоровича. 18 марта 1926 г. уполномоченная 3-го отделения СО ОГПУ Е. Хорошкевич в «Заключении по делу № 8931» (номер личного дела Федоровича) писала: «Так как свободного проживания по отбытии срока заключения Федоровичу разрешить нельзя, предлагаю дело его передать на рассмотрение Особого Совещания при Коллегии ОГПУ, после чего сдать в архив 3-го отд. СО ОГПУ». Свое согласие выразили 19 марта 1926 г. Решетов и Андреева, причем последняя наложила также следующую резолюцию: «Предлагаю выслать в Оренбург на 3 года»⁴³⁸. Уже 19 марта 1926 г. состоялось заседание Особого Совещания при Коллегии ОГПУ, принявшее решение о высылке Ф. Ф. Федоровича в Оренбург на 3 года, на выписке из протокола которого 22 марта 1926 г. он написал: «Читал 22/III Флор Федорович»⁴³⁹.

§ 9 ПРОТИВОСТОЯНИЕ Н. Н. И Е. А. ИВАНОВЫХ И ЧЕКИСТОВ (лето — осень 1926 г.). ПОПЫТКА САМОУБИЙСТВА Е. А. ИВАНОВОЙ

Последняя трагическая сцена всей этой драмы разыгралась летом—осенью 1926 г. вокруг Н. Н. и Е. А. Ивановых. Насколько можно понять из предсмертной записки Е. А. Ивановой, курирующие осужденных эсеров чекисты Андреева и Дукис по какой-то причине затаили обиду на Ивановых и пообещали им ее «припомнить»⁴⁴⁰. Так это или нет, судить сложно, но очевиден факт, что Ивановым, единственным из всех их товарищей, не зачли срок их предыдущих сидений в ЧК, прикрывшись довольно странным аргументом. Проследим истоки и ход конфликта, имевшего весьма трагичные последствия.

22 апреля 1926 г. Ивановы подняли вопрос о «времени окончания нами тюремных сроков»⁴⁴¹. Месяц спустя, 28 мая 1926 г. зам. начальника Андреева писала в служебной записке коменданту Бутырской тюрьмы: «Прошу сообщить осужденным Иванову Н. Н. и Ивановой Е. А., что срок тюремного заключения их истекает первому — 2 августа с.г., второй — 19 декабря с.г. Указанные в их заявлении аресты в срок предварительного им зачтены не будут, т. к. их заявление противоречит протоколам их допроса, где в графе прежних арестов указано, что и тот и другая ранее не арестовывались»⁴⁴². Мотивация Андреевой производит весьма странное впечатление, ведь чекисты легко могли навести справки в собственном архиве, но предпочли то ли наказать их за «неправдивость» на допросе, то ли просто воспользовались подтвердившимся под руку предлогом. Н. Н. и Е. А. Ивановы в совместном заявлении в Президиум ОГПУ несколько месяцев спустя писали: «Еще 22 апреля нами был поднят вопрос о времени окончания нами тюремных сроков. Ответ ОГПУ о том, что время, просиженное нами при предыдущих арестах, зачитываться не будет, ибо в протоколах наших допросов якобы не упоминается о прошлых арестах, что и является единственной причиной незачета, ответ этот нами был немедленно опротестован перед прокуратурой, однако и до сих пор,

несмотря на двукратное обращение, с указанием, что нас незаконно задерживают сверх определенного нам срока, прокуратура хранит молчание. Точно также без ответа осталось наше заявление в ЦИК СССР. Хотя представители ОГПУ и признали, что предыдущие аресты должны зачитываться (что делалось по отношению всех наших товарищей), хотя мы неоднократно и письменно и устно указывали точно, где можно найти официальные документы об этих наших арестах, ОГПУ не позаботилось документы эти отыскать и установить факт арестов».

Усталость и безнадежность толкнули Е. А. Иванову 12 июля 1926 г. на самоубийство. Накануне, 11 июля она написала заявление в Президиум ЦИК СССР следующего содержания: «Бережная изоляция идейных противников, трогательно возвещенная советской властью, весьма успешно достигает и иногда даже превышает „довоенные нормы“ — царскую каторгу. Поставив себе ту же цель — уничтожение социалистов и не смея делать это открыто, советская власть старается придать своей каторге приличный вид. Давая на бумаге кой-что, на деле лишают всего: а за то, что мы имеем, мы заплатили страшной ценой. Целый ряд сумасшествий, самоубийств — вплоть до самосожжения, что и при цар. власти было редкостью, долгих массовых голодовок (перед нами вы сами молчите об ваших позорных голодовочных комедиях), каких не бывало никогда — не оставляют сомнения, что коммунистическая „изоляция“ и царский застенок — одно и то же). Но чем дальше, тем меньше даже по форме отличие и если по краткости срока, количественно еще вы не догнали каторги, то качественно даже с излишком. Соловецкий расстрел — перед ним бледнеют и Якут. история и Романовская и все другие. В прошлом мы не знали избияния беременных женщин — избияние Козельцевой кончилось выкидышем.

Мы, осужденные по процессу ЦК ПСР, по вашим же словам, находимся в особо привилегированном положении, за нами внимательно следят не только враги, но и друзья, мы сидим в Москве и находимся в непосредственном ведении высшего начальства — и над нами издеваются (а над жен. сугубо), нас бьют, провоцируют на голодовки, а окончание срока означает начало новой серии арестов, голодовок и пр. Наши «гуманные» короткие — 5 л.! сроки обращаются для иных в бессрочную каторгу. Не словим нас, отыгрываются на наших родных, арестуя и ссылая их только за нас. Я отлично знаю, что я все равно конченный человек, ибо помимо всего, что касается всех нас, у нас с братом есть обещание гр.гр. Андреевой и Дуки-са „припомнить“ и это мы чувствуем. Единственная форма протеста против издевательств, избияний, расстрелов, как вообще, так меня лично, доступная мне — самоубийство. Голос мертвого звучит громче голоса живых, а голос человека, дважды приговоренного к смертной казни, вечной каторжанки, умирающей накануне „свободы“, прозвучит особенно громко».

Елена Иванова
11 июля 1926 г.

Все мои вещи оставляю брату Никол. Ник. Иванову. Не жду „кануна“ освобождения в буквальном смысле слова, потому что, во-первых, не знаю, в каких условиях буду тогда находиться, а во-вторых, не будучи уверена, что морфий вполне хорош, я должна поспешить: искалеченная чекистами рука действует все хуже и может быть вскоре я не смогу перерезать жилы.

Е. Иванова»⁴⁴³.

Помешал Е. А. Ивановой довести задуманное до конца постовой Северной башни, мл. надзиратель Агапкин-Зенкин, насторожившийся из-за тишины в камере. Вот как было доложено об этом происшествии в рапорте

пом. коменданта Ф. Ф. Лучко коменданту «Бутырской ОГПУ тюрьмы тов. Дукис»: «Настоящим доношу, что в 10 ч. 30 мин. 12-го сего июля, политзаключенная Иванова Е. А. пыталась покончить жизнь самоубийством, путем вскрытия вены на левой руке, ножом от безопасной бритвы, пользуясь отсутствием ушедшего на свидание заключенного Иванова Н. Н. Стоявшему на посту мл. надзирателю Агапкину-Зенкину долгая тишина в камере гр-ки Ивановой показала подозрительной, он после неоднократного стука в дверь, на который не последовало ответа, вошел в камеру и увидел Иванову, лежащую на постели с окровавленной рукой в тазике. Т. Агапкиным-Зенкиным был вызван немедленно деж. по тюрьме тов. Абрамов, а последним — врачи, каковыми была остановлена кровь и наложена повязка. Спустя некоторое время Иванову нужно было перевести в Приемный покой, для наложения швов, но последняя категорически отказалась от какой бы то ни было помощи, а Иванов Н. Н. заявил, что раз больная не желает помощи, то он не допустит взять ее в больницу насильно.

Приложение: нож от безопасной бритвы и переписка на (4) листах»⁴⁴⁴.

Тюремными врачами было составлено два акта. Один о состоянии здоровья Е. А. Ивановой гласил: «12-го июля 1926 года в 10 ч. 20 минут утра я был вызван в Северную башню к заключенной Ивановой, у которой оказался порез вен в верхней трети левого предплечья. Пульс удовлетворительный, 88 ударов в минуту; кровотечение из места пореза наложен жгут, давящая повязка; впрыснута под кожу камфора.

Подпись неразборчива» (Один из двух врачей, подписавших совместный акт. — К. М.)⁴⁴⁵.

Другой акт был об отказе от дальнейшей помощи: «12 июля 1926 г. мы, нижеподписавшиеся, явились на Северную башню взять заключенную Иванову в перевязочную приемного покоя для наложения швов и дальнейшей хирургической помощи хирургом, но гражданка Иванова категорически отказалась от предлагаемой помощи. Гражданин Иванов отказался выдать Иванову на операцию.

Врачи (подписи неразборчивы)»⁴⁴⁶.

Н. Н. Иванов подписал этот акт, засвидетельствовав отказ Е. А. Ивановой от дальнейшей помощи: «Правильность изложения: отказа моей сестры Ел. Ивановой от хирургической помощи и перевязки подтверждаю.

Судя по всему Андреева и Дукис утаили этот инцидент даже от своего начальства, но уж совершенно уверенно можно сказать о том, что ни Сталин, ни Политбюро в целом в известность поставлены не были. Мотивы и первого, и второго вполне прозрачны. В первом случае — Андреевой и Дукису пришлось бы объяснять, зачем они практически на пустом месте затеяли конфликт с последними «процессниками» в ситуации, когда и руководство ОГПУ, и члены Политбюро в высшей степени устали от неприятностей и скандалов, связанных с 22-мя осужденными эсерами. Во втором случае (если допустить, что Андреева или Дукис все-таки доложили своему начальству) — руководство ОГПУ также здорово рисковало нарваться на раздражение Сталина, да и других членов Политбюро, согласившихся еще в январе 1924 г. заменить смертные приговоры на пятилетние срока, лишь бы избавиться от этой вечной головной боли. Для членов Политбюро, конечно, реакция на Западе была легко предсказуемой, просочись туда информация об этом инциденте, как легко предсказуемой была и лавина неприятностей для большевистской верхушки, Коминтерна и его партий, дипломатов и т. д. Весьма вероятно, что члены Политбюро, узнав, что попытка самоубийства Е. А. Ивановой была спровоцирована двумя чекистскими функционерами (в лучшем случае

средней руки), решившими выяснять отношения с Ивановыми из-за каких-то личных обид и не желавших думать о возможных весьма серьезных последствиях, обратили бы свой гнев и на руководство ОГПУ, за неспособность проконтролировать собственных сотрудников, тешащих личное самолюбие за государственный счет. Забегая вперед, отметим, что как только Ивановы решили голодать (а не докладывать в Политбюро о голодовке, способной кончиться смертельным исходом, чекисты, очевидно, уже не рискнули), чекисты тут же пошли на попятную, лишь бы не вмешивать в это «семейное дело» Политбюро.

Но и после попытки самоубийства Е. А. Ивановой, Андреева, Дуки и Хорошкевич вопреки логике и даже инстинкту самосохранения продолжали обострять конфликт, очевидно мстя уже и за попытку самоубийства, и за собственный страх получить серьезные неприятности.

27 августа 1926 г. Н. Н. и Е. А. Ивановы обратились с совместным заявлением в Президиум ОГПУ, в котором жаловались на незачет им предыдущих арестов в общий срок тюремного заключения, на подачу ОГПУ без ведома самой Ивановой ходатайства в ЦИК об ее досрочном освобождении, на назначение в качестве места ссылки города Коканд, прямо указанного им как неприемлемого в первую очередь из-за плохого климата: «Еще 22 апреля нами был поднят вопрос о времени окончания нами тюремных сроков. Ответ ОГПУ о том, что время, просиженное нами при предыдущих арестах, засчитываться не будет, ибо в протоколах наших допросов якобы не упоминается о прошлых арестах, что и является единственной причиной незачета, ответ этот нами был немедленно опротестован перед прокуратурой, однако и до сих пор, несмотря на двукратное обращение с указанием, что нас незаконно задерживают сверх определенного нам срока, прокуратура хранит молчание. Точно так же без ответа осталось наше заявление в ЦИК СССР. Хотя представители ОГПУ и признали, что предыдущие аресты должны зачитываться (что делалось по отношению всех наших товарищей), хотя мы неоднократно и письменно и устно указывали точно, где можно найти официальные документы об этих наших арестах, ОГПУ не позаботилось документы эти отыскать и установить факт арестов. Вместо этого, дотянув до того времени, когда для одного из нас (Н. Иванова) зачет потерял актуальное значение, ОГПУ без ведома Ел.Ивановой обратилось в ЦИК с ходатайством об ее досрочном освобождении — об „досрочном“, когда до окончания срока (при условии зачета предыдущих арестов) остается менее недели.

[С] назначением места ссылки произошла еще худшая история. 7 августа Н. Иванову заявили, что он назначается в Пишпек, маленький, захолустный городок, без достаточной врачебной помощи (необходимой нам ввиду крайнего расстройств здоровья), без возможности найти достаточный заработок, без всяких средств, культурной жизни.

Позднее оказалось, что это назначение не носило серьезного характера, и его следовало принимать как попытку вызвать нас немедленно на борьбу. Что это именно так, доказывается тем, что 9 августа тому же Н. Иванову было объявлено отношение ГПУ от 4/VIII о том, что вопрос о назначении ему места ссылки отсрочивается решением, впредь до получения ответа от ЦИК на ходатайство о досрочном освобождении Ел.Ивановой. Так как ЦИК ответ этот дал только в конце августа, то ни о каком решении вопроса о месте ссылки для Н. Иванова 7/VIII не могло быть и речи. Наконец, 25/VIII нам было объявлено, что нас отправляют в Коканд. Чтобы дать понять, что из себя представляет это назначение, необходимо указать следующее: хотя ОГПУ довольно часто отказывалось отправлять наших това-

ришей в те города, которые они сами отмечали желательными, но все еще ни разу не было, чтобы давался тот город, который был отмечен как неприемлемый. С нами это случилось с первыми. Мы отметили два города из всей южной части Союза, в которые мы ехать не можем, и нам дали как раз один из них. Город Коканд среди всех городов Средней Азии отличается исключительно дурным, прямо убийственным климатом, и это столь хорошо известно ОГПУ, что гр. Андреева в переговорах с нашим тов. Федоровичем о месте его ссылки сказала буквально следующее: „Мы бы могли Вам дать Коканд, но ведь туда Вы ехать не согласитесь“. ОГПУ, давшее нашим товарищам большие областные центры (Свердловск, Самарканд), города с вузами (Свердловск, Воронеж), города, лежащие на расстоянии нескольких часов езды от Москвы (Кострома, Вятка, Воронеж), допускаявшее соединение в одном городе двух из осужденных членов ЦК ПСР (тов. Федоровичу предлагали ехать в Уральск к тов. Тимофееву), могло, конечно, найти на обширном юге России город, который, удовлетворяя нас своими условиями (климатическими и иными), и не давал бы нам более того, что получали наши товарищи. Вместо этого нам дают Коканд, зная твердо, что туда ехать для нас невозможно. На наше заявление, что этот город нам не подходит, и мы желаем пересмотра назначения, гр. Хорошкевич нам резко заявила, что нам придется все же туда поехать, а если мы не поедем, нас „повезут“ — и что у ГПУ достаточно сил справиться с двумя арестантами. При назначении наших товарищей таких речей никогда не раздавалось, наоборот: у целого ряда товарищей неприемлемые им назначения пересматривались и они получали новые, при определении коих считались с их желанием. Так были переменены назначения Утгофу, Донскому, Альтговскому, Тимофееву, Ракову и Е. Ратнер (дважды). Все это окончательно убеждает нас в том, что кроме „общих“ преследований, которые терпит вся наша группа от ГПУ, на нас двоих обрушиваются особые — вызываемые личными чувствами представителей ОГПУ. Во всей этой истории мы упорно шли путем, установленным законом, никогда не требовали того, на что не имели права, и чего не получали уже наши товарищи, и после всего этого мы не можем не видеть в действиях ОГПУ желания расправиться с нами окончательно заставив нас либо принять назначение, равносильное для нас самоубийству, либо не подчиниться распоряжению»⁴⁴⁷.

Действительно, еще 26 июля 1926 г. Н. Н. Ивановым была подана записка в СО ОГПУ, в которой он пытался повлиять на выбор чекистами места ссылки: «К югу от линии Гомель — Орел, Тамбов — Саратов, Уральск — Оренбург, Актюбинск — Кзыл-Орда — Верный (города поименованные — тоже нежелательны). К югу от назначенной линии нежелательны: Астрахань, Коканд, города Туркменистана и бывших ханств Хива и Бухара (все из дурного климата). Украина нежелательна — ибо там украинский язык обязателен. Город достаточно большой — чтобы можно было найти заработок». На записке рукой Андреевой написано: «Остав. Пишпек. Пишпек или Алма-Ата. Где лучше в агент[урном] смысле и где техн[ически] удобнее наблюд[ать]»⁴⁴⁸.

Впрочем, назначена ссылка Н. Н. Иванову особым Совещанием при Коллегии ОГПУ 20 августа 1926 г. была в город Коканд сроком на три года⁴⁴⁹, хотя 7 августа ему объявили о ссылке в Пишпек (Бишкек. — *К. М.*)⁴⁵⁰. Е. А. Иванова решением от того же числа ссылалась в Коканд. 22 июля 1926 г. уполномоченная 3-го отделения СО ОГПУ Е. Хорошкевич, рассмотрев дело Е. А. Ивановой, в заключении написала, что считает возможным ее досрочное освобождение и предложила дело передать на рассмотрение Особого Совещания при Коллегии ОГПУ⁴⁵¹. Та же Хорошкевич в справке

от 18 августа 1926 г. писала: «Иванова Е. А. арестовывалась ВЧК 4/8—21 г. под фамилией Ирановой Е. А. и была освобождена 29/8 того же года. 19-го декабря 1921 года она была вторично арестована со всей семьей Иванова Н. Н. и с этого числа содержится под стражей непрерывно до настоящего времени. О аресте Ивановой в 1918 году в ГПУ никаких сведений нет. 25 дней первого ареста не зачтены Ивановой в срок предварительного заключения на том основании, что на допросах после второго ареста она везде указывала, что ранее никогда не арестовывалась»⁴⁵².

Чтобы выйти из этой ситуации, отчасти созданной ими самими, отчасти — тем, что сроки Ивановых кончались в разное время, чекисты руками Хорошкевич написали второе заключение, датированное уже августом, где констатировалось, что «в данное время Ивановой с ее братом Ивановым Н. Н., членом ЦК ПСР, отбывшим 2/8 с.г. срок тюремного заключения, возбуждено ходатайство о досрочном освобождении Ивановой и о назначении им одного места ссылки. Считая возможным удовлетворение их ходатайства Ивановых, предлагаю войти с ходатайством в ЦИК о досрочном освобождении Ивановой с последующей высылкой ее по усмотрению ОГПУ»⁴⁵³.

Фокус заключался в том, что Ивановы ходатайства о досрочном освобождении не подавали, и как только об этом им стало известно, предприняли попытки дезавуировать его. Так, Е. А. Иванова написала 11 августа 1926 г. заявление в ЦИК СССР, в котором отмечала: «9 августа брату моему Н. Н. Иванову, окончившему срок заключения, было объявлено, что назначение места ссылки задерживается вследствие неполучения ОГПУ от ЦИК СССР ответа на ходатайство о моем досрочном освобождении. Так как это ходатайство было возбуждено помимо меня, то оно, очевидно, имело целью заменить мне зачет предварительного заключения досрочным освобождением. Дело в том, что вопреки разъяснению самого ОГПУ, а также тому, что имело место по отношению всех наших товарищей, ни мне, ни брату не были зачтены наши предыдущие сидения на том единственном основании, что у ОГПУ не оказалось в наших бумагах нужных отметок. Своевременно (22 июня) нами было указано, где можно найти документальные доказательства несомненного факта нашего прежнего сидения. Если бы ОГПУ пошло этим обычным законным путем, то брат был бы уже на воле, а мой срок кончался в первых числах сентября, так что досрочное освобождение практически не имеет никакого для меня значения. Вместе с тем считаю нужным предупредить, что я не могу допустить, чтобы эта замена „зачета“ предварительного заключения „досрочным освобождением“ была использована политически, а также для какого-либо изменения по сравнению с обычным для нашей группы моего дальнейшего положения»⁴⁵⁴.

Заявление Е. А. Ивановой до ЦИК СССР не дошло и им 25 августа 1926 г. было удовлетворено «ходатайство Ивановых Н. Н. и Е. А. о досрочном освобождении Ивановой Е. А.» и решено было «освободить ее с 25 августа 1926 года с назначением ей местожительства ОГПУ».

Конфликт приблизился к своей кульминации, когда на заявлении Н. Н. и Е. А. Ивановых от 27 августа 1926г. Дерибас поставил резолюцию: «т. Оин. надо объявить Ивановым, что их просьба удовлетворена быть не может. 1/IX—23 г.»⁴⁵⁵

Спровоцированность конфликта со стороны чекистов из-за нежелания зачесть время предыдущих арестов очевидна. Так, 28 мая 1926 г. заместитель начальника СО ОГПУ Андреева писала в служебной записке коменданту Бутырской тюрьмы: «Прошу сообщить осужденным Иванову Н. Н. и Ивановой Е. А., что срок тюремного заключения их истекает первому —

2/VIII с.г., второй — 19.XII с.г. Указанные в их заявлении аресты в срок предварительного заключения им зачтены не будут, т. к. их заявление противоречит протоколам их допроса, где в графе прежних арестов указано, что и тот и другая ранее не арестовывались»⁴⁵⁶. Безусловно, чекисты без труда могли послать запросы и найти нужные сведения об арестах Ивановых, но предпочли демонстративно их наказать за «неискренность» на допросах.

Конфронтация, как и следовало ожидать, кончилась ультиматумом Н. Н. и Е. А. Ивановых, поставленным 7 сентября 1926 г. Президиуму ОГПУ: «До сих пор, несмотря на все выступления ОГПУ, явно толкающие нас на открытую борьбу (лишение нас зачета предыдущих арестов, право на какой-либо зачет за нами признается самим ОГПУ, назначение нам г. Коканда, нарушающее обязательство, принятые на себя ОГПУ 5/II и 1/XI 1925 г., угроза применения силы и т. д.), мы тщательно избегали всего, что могло привести к конфликту. Мы давали ОГПУ полную свободу выбрать из целой обширной области тот город, который оно найдет для себя более удобным — ГПУ этой возможностью воспользоваться не пожелало. Теперь мы сами указываем те города, в любой из которых мы согласны поехать, при соблюдении, конечно, всех прочих условий. Эти города следующие: Краснодар, Владикавказ, Ростов-на-Дону, Воронеж, Самара, Саратов, Самарканд и Ташкент. Мы будем ждать до 12 ч. дня субботы 11 сентября и если не получим удовлетворительного ответа, то начнем голодовку и будем ее продолжать до тех пор, пока не будут удовлетворены все наши законные требования и не будут восстановлены все наши нарушенные права»⁴⁵⁷.

Как и следовало ожидать, боявшиеся очередного громкого скандала чекисты уступили. За один день до начала голодовки, 10 сентября 1926 г. состоялось заседание Особого Совещания при Коллегии ОГПУ, которое постановило: «Во изменение постановления Ос. Сов. От 20/VIII — 26 г. высылку в Коканд заменить в г. Самарканд»⁴⁵⁸.

В высшей степени примечательно, что, потерпев поражение и на этот раз, чекисты не сумели отказать себе в удовольствии мелких придиорок и пакостей в отношении к Ивановым. Так, например, Н. Н. и Е. А. Ивановым разрешили взять с собой в ссылку багажа весом 15 пудов на двоих, тогда как до этого все ссылаемые из их группы имели право на 10 пудов багажа каждый, в том числе и ехавшие без семьи (Герштейн, Федорович). Другой пример: пообещав, что известят жену Н. Н. Иванова для сбора вещей, чекисты своего обещания не выполнили, заставив Н. Н. Иванова перенести срок отъезда⁴⁵⁹. Кроме того Андреева отказала в свидании с Ивановыми, которого 17 сентября 1926 г. просил их троюродный брат В. Н. Худадов (опасаясь отказа из-за недостаточности степени родства, он указал, что его родители были близки с родителями Ивановых и поэтому все детство и юность вплоть до 1907 г. они провели вместе)⁴⁶⁰.

Тем не менее 1 октября 1926 г. сопровождавший Ивановых чекист рапортовал о доставке их «по месту назначения» и сдаче их «под соответствующие расписки»⁴⁶¹.

Примечания

¹ Зензинов В. М. Пережитое. Нью-Йорк, 1953. С. 150—151.

² ЦА ФСБ РФ. Н-1789. Т. 47. Л. 12.

³ См. подр.: Всесоюзное общество политкаторжан и ссыльнопоселенцев. Образование, развитие, ликвидация. 1921—1935. Бывшие члены общества во время

- Большого террора. Материалы международной научной конференции (26—28 октября 2001). М., 2004.
- 4 Международный институт социальной истории. Архив ПСР. 867 (фильмокопии Архива ПСР хранятся в РГАСПИ); ЦА ФСБ РФ. Н-1789. Т. 36.
 - 5 ЦА ФСБ РФ. Н-1789. Т. 65. Л. 107.
 - 6 Там же. Т. 43. Л. 1, 1об.
 - 7 Там же. Л. 23.
 - 8 Там же. Л. 3.
 - 9 Там же. Л. 24, 24об.
 - 10 Там же. Л. 36, 36 об.; Л. 37, 37об.
 - 11 Там же. Т. 46. Л. 177
 - 12 Там же. Л. 124—124об.
 - 13 Там же. Т. 47. Л. 22.
 - 14 Там же. Л. 24.
 - 15 Там же. Л. 25.
 - 16 Там же. Л. 26.
 - 17 Там же. Л. 30, 30об.
 - 18 Дмитрий Дмитриевич Донской / Сост., автор введения и комментариев Я. А. Яковлев. Томск, 2000. С. 141.
 - 19 Янсен М. Суд без суда. 1922 год. Показательный процесс социалистов-революционеров. М., 1993. С. 83.
 - 20 ЦА ФСБ РФ. Н-1789. Т. 23. Л. 116.
 - 21 Дмитрий Дмитриевич Донской. С. 141.
 - 22 ЦА ФСБ РФ. Н-1789. Т. 55. Л. 16.
 - 23 Там же.
 - 24 Там же. Л. 17.
 - 25 Там же.
 - 26 Там же. Л. 4, 4об.
 - 27 Там же. Л. 5—7об.
 - 28 Там же. Т. 47. Л. 12.
 - 29 Там же. Л. 14.
 - 30 Там же.
 - 31 Там же. Л. 17.
 - 32 Там же. Л. 16.
 - 33 Там же. Л. 21.
 - 34 Там же. Л. 51.
 - 35 Там же. Т. 46. Л. 141.
 - 36 Там же. Л. 141об.
 - 37 Там же. Л. 141.
 - 38 Там же. Л. 142.
 - 39 Там же. Т. 46. Л. 143—143об.
 - 40 Там же.
 - 41 Судебный процесс над социалистами-революционерами (июнь — август 1922 г.): Подготовка, проведение, итоги. Сб. документов / Сост. С. А. Красильников, К. Н. Морозов, И. В. Чубыкин. М., 2002. С. 292—293.
 - 42 ЦА ФСБ РФ. Н 1789. Т. 46. Л. 146.
 - 43 Там же. Т. 51. Л. 121.
 - 44 Там же. Т. 32. Л. 206—208, 213—214.
 - 45 Там же. Т. 32. Л. 214—216.

- 46 Там же. Л. 217—219.
- 47 Там же. Л. 34.
- 48 См., напр.: Дмитрий Дмитриевич Донской.
- 49 Л. 117—119.
- 50 Там же. Л. 120.
- 51 Там же. Т. 46. Л. 125.
- 52 Там же. Л. 43, 43об.
- 53 Там же. Л. 127.
- 54 Там же. Л. 128.
- 55 Всего в штате числилось 4 комиссара, ст. делопроизводитель, завхоз, бухгалтер, 3 инструктора, 4 сотрудника делопроизводства, 4 ст. надзирателя, машинистка, 3 статистика, кладовщик, электромонтер, истопник, водопроводчик, печник, 5 прачек, 4 курьера и 78 надзирателей. Только пятеро из их них работало в тюрьме с 1918 г., двое — с 1919 г., 26 — с 1920 г., 48 — с 1921 г., 16 — с 1922 г. (Там же. Л. 129—130).
- 56 Там же. Т. 46. Л. 50.
- 57 Там же. Л. 131.
- 58 Там же. Л. 133—133об., 134—134об., 135—135об., 136—136об., 137—137об., 138—138об., 139—139об., 140—140об.
- 59 Там же. Л. 133—133об., 135—135об., 136—136об.,
- 60 Там же. Л. 138—138об., 140—140 об.
- 61 Там же. Л. 135об., 136, 137.
- 62 Там же. Л. 136.
- 63 Там же. Л. 140.
- 64 Там же. Т. 47. Л. 46.
- 65 Там же. Т. 46. Л. 51.
- 66 Там же. Л. 145—145об.
- 67 Там же. Л. 144.
- 68 Там же. Т. 47. Л. 21.
- 69 Там же. Л. 112, 114.
- 70 Там же. Л. 113.
- 71 Там же. Л. 115.
- 72 Там же.
- 73 Там же. Л. 117.
- 74 Там же. Л. 117.
- 75 Там же. Л. 118, 119, 128, 131, 133, 138, 139, 142, 144, 146.
- 76 Там же. Л. 150—152.
- 77 Там же. Т. 51. Л. 171.
- 78 Там же. Т. 43. Л. 36, 36об.
- 79 Там же. Т. 58. Л. 94.
- 80 Там же. Л. 93.
- 81 Там же. Т. 42. Л. 120—147.
- 82 Там же. Т. 42. Л. 120.
- 83 Там же. Л. 120.
- 84 Там же. Л. 157.
- 85 Там же. Л. 148.
- 86 Там же. Т. 42. Текст расписки, напечатанный на машинке на узкой полоске бумаги, гласил: «Расписка. Дана мною представителям Верховного трибунала и ГПУ членом ЦК ПСР в том, что приговор Верховного трибунала, утвержденный Президиум ВЦИК от 8/VIII—22 г., мне прочитан и объявлен. Подпись. 8/VIII—22 г.» (Там же. Л. 149—159).

- ⁸⁷ Там же. Л. 160.
- ⁸⁸ См., например, телефонограмму зам. председателя ГПУ И. С. Уншлихта, переданную им 16 августа 1922 г. в Секретариат Верхтриба: «В виду, что по делу ЦК партии эсеров приговор суда обвиняемым до сего времени не объявлен, [обращаемся] за присылкой» (Там же. Т. 43).
- ⁸⁹ Там же. Т. 42. Л. 164.
- ⁹⁰ Там же. Л. 165—186.
- ⁹¹ Там же. Л. 43об.
- ⁹² Там же. Т. 46. Л. 147.
- ⁹³ Там же. Л. 178.
- ⁹⁴ Там же. Л. 51.
- ⁹⁵ Там же. Т. 58. Л. 2.
- ⁹⁶ Там же. Л. 4.
- ⁹⁷ Там же.
- ⁹⁸ Там же. Л. 5.
- ⁹⁹ Там же. Л. 9.
- ¹⁰⁰ Там же. Л. 16.
- ¹⁰¹ Там же.
- ¹⁰² Там же. Л. 14—16.
- ¹⁰³ Там же. Л. 118.
- ¹⁰⁴ Там же. Л. 17.
- ¹⁰⁵ Там же. Л. 125.
- ¹⁰⁶ Так, например, народоволец, а затем эсер Л. К. Чермак, вспоминал о Петропавловской крепости и Доме предварительного заключения, где он находился в середине 90-х годов XIX в.: «Кстати о книгах. Те, что я получал, носили явные следы попыток заключенных передавать сообщения о себе то путем еле заметных знаков у букв, то путем выскабливания некоторых. Но при осмотре книг рядом с выскобленной буквой надзор выскабливал соседнюю и некоторые страницы были приведены буквально в нечитаемое состояние этими выскабливаниями и лишь с большим трудом иногда удавалось разбирать то, что сообщал заключенный. То же самое я видел позже в доме предварительного заключения, хотя там не так рьяно выскабливали соседние буквы и мне удавалось прочитать целые фразы и даже законченные послания. Но не только через книги делались попытки. Заключенные пытались если не переписываться, то хотя бы только дать знать о себе. Однажды рассматривая миску, в которой давали обед, я заметил слабо выщарпанные буквы, которые можно было прочитать как «Соски». Это слово мне ничего не говорило. Несколько позже, в предварилке, я прочел это же слово, написанное мелом на двери одного из отрезков для прогулки заключенных. И мне стало ясно, что это фамилия» (РГАЛИ. Ф. 1337. Оп. 2. Д. 67. Л. 7).
- ¹⁰⁷ ЦА ФСБ РФ. Н-1789. Т. 58. Л. 119.
- ¹⁰⁸ Там же. Л. 124—124 об.
- ¹⁰⁹ Там же. Л. 100—100 об.
- ¹¹⁰ Там же. Л. 124.
- ¹¹¹ Так, в служебной записке от 27 января 1925 г. она писала: «СО ОГПУ препровождает 15 журналов и 7 книг на имя осужденных по делу ЦК ПСР: Герштейн — 14 номеров журнала, Лихач — 2 книги и Веденяпину — 5 книг и немецкий журнал, для передачи по принадлежности. Все книги и журналы предварительно должны быть тщательно осмотрены. Приложение: Упомянутое» (Там же. Т. 60. Л. 91).
- ¹¹² Там же. Т. 60.
- ¹¹³ Там же. Л. 21.
- ¹¹⁴ Там же. Л. 22.
- ¹¹⁵ Там же. Л. 23.

- ¹¹⁶ См.: ЦА ФСБ РФ. Н-1789. Т. 60 и др.
- ¹¹⁷ Там же. Т. 60. Л. 27.
- ¹¹⁸ Там же. Л. 37—37 об.
- ¹¹⁹ Там же. Л. 38—38 об.
- ¹²⁰ Там же. Л. 32—33 об.
- ¹²¹ Там же. Л. 34.
- ¹²² Там же. Л. 32.
- ¹²³ Там же. Т. 48. Л. 39.
- ¹²⁴ Там же. Т. 47. Л. 30, 30об.
- ¹²⁵ Изданные в 1971 г. издательством «Посев» мемуары Е. Олицкой до этого ходили по рукам в машинописном виде, являясь продуктом т. н. «самиздата», — из этих машинописных экземпляров и тянутся подобные примечания.
- ¹²⁶ Олицкая Е. Мои воспоминания. Франкфурт-на-Майне, 1971. Т. 1. С. 298—299.
- ¹²⁷ ЦА ФСБ РФ. Н-1789. Т. 60. Л. 310.
- ¹²⁸ Сообщил Б. Ю. Иванов.
- ¹²⁹ ЦА ФСБ РФ. Н-1789. Т. 60. Л. 315—316.
- ¹³⁰ Там же. Л. 316.
- ¹³¹ Чернова-Андреева О. В. Холодная весна (Главы из книги) // Звезда. 2001. № 8.
- ¹³² Олицкая Е. Мои воспоминания. Т. 2. С. 148—149.
- ¹³³ ЦА ФСБ РФ. Н-1789. Т. 60. Л. 310.
- ¹³⁴ Там же. Л. 310.
- ¹³⁵ Там же. Копия — л. 306. Подлинник в конверте — л. 310.
- ¹³⁶ Там же. Л. 307.
- ¹³⁷ Там же. Копия — л. 304, подлинник в конверте — л. 310.
- ¹³⁸ Там же. Л. 309, подлинник в конверте — л. 310.
- ¹³⁹ Подробнее об этом см. выше.
- ¹⁴⁰ Там же. Т. 58. Л. 103.
- ¹⁴¹ Вот что писала Б. А. Бабина в своих мемуарах о режиме «социалистического корпуса» Бутырок в феврале 1922 г.: «Нам показали камеру, которая была преобразована в „клуб” — то, что теперь зовется Красным уголком. Там имелись шахматы, шашки, лежали свежие газеты и журналы — даже „Социалистический вестник” (издающийся зарубежными меньшевиками, всегда осведомленный о событиях у нас и весьма ядовито их интерпретирующий). Тюремная библиотека была тогда еще очень богатой, так как по традиции, установившейся с далеких дореволюционных времен, каждый освобождающийся оставлял в тюрьме все книги, кроме специально ему самому необходимых. В „клубе” можно было спокойно читать и заниматься, что многие и делали. Там же почти еженедельно устраивались разные доклады и происходили многочасовые дискуссии между представителями различных группировок. Они бывали столь ожесточенными, что можно было подумать, будто их участники сразу же отправятся проводить в жизнь свои идеи.
- Каждое утро на гулкой железной площадке одной из сквозных лестниц Бутырской тюрьмы происходила утренняя гимнастика, как теперь ее называют — физзарядка, в которой принимали участие вся молодежь и вообще все желающие ...Первые дни пребывания в Бутырках ушли на всякие „визиты”. ...Потом я уже так не удивлялась, навещая других давних сидельцев: их камеры заставляли меня вспомнить то, что мы в свое время читали о декабристах, которым гораздо более наивное царское правительство разрешало всякие поблажки, скрашивающие жизнь узника. Нечто похожее имело место и тут, в этот краткий, блаженный промежуток времени, примерно между 1920 и 1922...» (Бабина Б. А. Февраль 1922 / Публ. В. Захарова // Минувшее. Вып. 2. М., 1990).

А вот описание Бабиной еще более вольготной жизни в тюрьме в Б. Кисельном переулке (это был жилой дом, приспособленный под тюрьму), куда часть социалистов и анархистов вскоре перевезли из Бутырок: «Такую удивительную тюрьму я увидела в первый и в последний раз в жизни, и она еще ярче вызвала у нас представление о разыгрываемом спектакле, в котором мы оказались невольными актерами. То был высокий (по тем временам) пятиэтажный дом с единственным парадным входом. Вверх и вниз ходил лифт. На площадке каждого этажа у столика помещался конвоир с винтовкой, прислоненной к стене. Обычно он читал книжку и не обращал на нас никакого внимания. По обеим сторонам площадки широко распахнутые двери вели в глубь обыкновенной добротной старой московской квартиры, состоящей из целого ряда комнат, больших и поменьше, со всякими коридорчиками и закоулочками. Избранный тут же Совет Старост, гораздо более демократический, нежели „теневой кабинет“ Бутырской тюрьмы, сразу же разместил нас по этажам и по комнатам. Четыре верхних этажа были отведены жильцам по их партийной принадлежности — меньшевики, эсеры левые и правые получили в свое распоряжение по половине, целому и даже по полтора этажа, соответственно числу членов. Нижний этаж остался незанятым: в нем была большая комната для свиданий и разные помещения, отданные в пользование нашей хозяйственной комиссии, как кубовая, разные кладовые и т. п. Семейным парам отводились комнаты поменьше, а в больших поселилась холостая молодежь и одинокие старшие товарищи. Мы получили уютную маленькую комнату, где стояли два топчана с матрацами и большой стол, имелись даже вешалки на стенах. Все это выглядело вполне по-домашнему. Было достаточно тепло, так как в доме действовало центральное отопление. Так же, как и в Бутырках, одна комната стала „клубом“, где помещались имевшиеся книги и газеты и где постоянно проходили разные дискуссии, доклады и лекции и часто устраивались концерты...

Помню, как однажды во время очередного вечернего „концерта“ в нашем клубе Камков, который сидел со мной рядом, смеясь, шепнул, наклонившись к моему уху: „Вот бы сюда сейчас какого-нибудь журналиста из белой или буржуазной прессы! Пусть бы сфотографировали с надписью: „В большевистском застенке!“”

Мог ли он тогда предвидеть, что полтора десятка лет спустя ему придется выпить полную чашу смертной горечи в страшном лубяном застенке!.. И что встретится он там с моим сыном, который в 1922 году семилетним крошкой приходил на свидания с родителями в Кисельный переулок. В эти часы свиданий у нас действительно появлялось сознание, что мы узники пусть гуманной, но настоящей тюрьмы». Там же.

- ¹⁴² Левая эсерка Ксения Троцкая писала своему мужу-коммунисту В. В. Троцкому, работавшему в райкоме партии в Самаре, из Орловской «Центральной Изоляционной тюрьмы» 8 января 1922 г.: «<...> Начну с Бутырок. Жилось нам там великолепно. Мы, социалисты, создали там маленькую автономную республику — администрация тюрьмы нас боялась, а ВЧК вынуждена была считаться с нами, т. к. у нас была хорошо налажена нелегальная связь с волей и все творящееся в тюрьме сразу же становилось известным не только в Москве, но и за границей. Мы пользовались свободным хождением по всей тюрьме, в наших руках были: кухня, околоток, одним словом, мы делали все, что хотели, а начальство пжнуть боялось. Так, напр., когда прошел слух, что нас хотят запереть в Ж.О.К. (женский одиночный корпус. — К. М.) вывинтили все до одного замка. Когда нас все-таки заперли, мы силой открыли наружную дверь и взломали двери на некоторых коридорах. Применять к нам репрессии было опасно. Перед Рождеством 10 анархистов начали голодать за освобождение, голодовка окончилась их освобождением на девятый день. Вероятно, на 6—7-й день их попытались было увезти куда-то, но товарищи не дали их и потом мы устроили постоянное дежурство на коридоре

- и по первому же сигналу должны были их отстаивать. Атмосфера была очень напряженная. Приезжал Дзержинский, Самсонов. Первый — джентльмен, последний — собака, но и этот был корректен, хотя старался дать почувствовать, что от него зависит „вести войска“. Однако на 10-й день их все-таки выпустили, за исключением одного <...>» (ЦА ФСБ РФ. Н-1789. Т. 65. Л. 79—80).
- ¹⁴³ Дейч Л. Г. 16 лет в Сибири. С. 73.
- ¹⁴⁴ РГАЛИ. Ф. 1337. Оп. 1. Д. 160. Л. 379—380.
- ¹⁴⁵ ЦА ФСБ РФ. Н-1789. Т. 60. Л. 8.
- ¹⁴⁶ Там же. Л. 9.
- ¹⁴⁷ Там же.
- ¹⁴⁸ См.: Там же. Д. 59. Л. 190.
- ¹⁴⁹ Там же. Т. 58. Л. 81—81 об.
- ¹⁵⁰ Там же. Т. 102. Л. 19—19 об.
- ¹⁵¹ Записные книжки полковника Г. А. Иванишина / Публ. А. Д. Марголиса, Н. К. Герасимовой, Н. С. Тихоновой // Минувшее. Вып. 17. М., 1994. С. 527.
- ¹⁵² Дейч Л. Г. 16 лет в Сибири. С. 44—45.
- ¹⁵³ ЦА ФСБ РФ. Н-1789. Т. 60. Л. Л. 47 об.—48.
- ¹⁵⁴ Там же. Т. 65. Л. 112.
- ¹⁵⁵ Чернова-Андреева О. В. Холодная весна. С. 138—139, 141.
- ¹⁵⁶ ЦА ФСБ РФ. Н-1789. Т. 96. Л. 47.
- ¹⁵⁷ Там же. Л. 50.
- ¹⁵⁸ Там же. Т. 65. Л. 42—44 об.
- ¹⁵⁹ Там же. Л. 83—83 об.
- ¹⁶⁰ Там же. Л. 84.
- ¹⁶¹ Там же. Л. 80—81.
- ¹⁶² Там же. Л. 86.
- ¹⁶³ Там же. Т. 58. Л. 35—35об.
- ¹⁶⁴ Там же. Л. 35 об.
- ¹⁶⁵ Там же. Л. 47.
- ¹⁶⁶ Там же. Л. 45.
- ¹⁶⁷ Там же. Л. 44.
- ¹⁶⁸ Там же. Л. 46, 48.
- ¹⁶⁹ Там же. Л. 49, 50.
- ¹⁷⁰ Там же. Л. 44—45.
- ¹⁷¹ Там же. Т. 61. Л. 42.
- ¹⁷² Смыкалин А. С. Питание в лагерях и тюрьмах Советской России: исторический аспект // Правоведение. Известия высших учебных заведений. Научно-теоретический журнал. 1998. № 4.
- ¹⁷³ ЦА ФСБ РФ. Н-1789. Т. 58. Л. 104.
- ¹⁷⁴ Радзиловская Ф., Орестова Л. Мальцевская женская каторга в 1907—1911 гг. // Женщины-террористки в России / Сост., предисловие и примечания О. В. Будницкого. Ростов-на-Дону, 1996. С. 505.
- ¹⁷⁵ РГАЛИ. Ф. 1337. Оп. 1. Д. 285. Л. 1—4. Характерно, что последняя фраза была в тексте документа очень тщательно зачеркнута (но нам все же удалось ее разобрать), а напротив этого места сделана пометка на полях «писано в 1930 г.».
- ¹⁷⁶ Судебный процесс над социалистами-революционерами. С. 580—582.
- ¹⁷⁷ ЦА ФСБ РФ. Н-1789. Т. 58. Л. 54, 54 об.
- ¹⁷⁸ Там же.
- ¹⁷⁹ Там же. Л. 61—61 об.
- ¹⁸⁰ Там же. Л. 62—62 об.

- 181 Там же.
- 182 Там же. Т. 58. Л. 79—79 об.
- 183 Там же. Л. 80—80 об.
- 184 Там же. Л. 90—90 об.
- 185 Там же. Т. 6. Л. 15—16 об. См. также: Судебный процесс над социалистами-революционерами. С. 582—583.
- 186 Там же. Л. 38.
- 187 Там же. Т. 58. Л. 39.
- 188 Там же. Л. 116.
- 189 Там же. Л. 119.
- 190 Там же. Л. 126.
- 191 Там же. Л. 123—123 об.
- 192 Там же. Л. 104—104 об.
- 193 Там же. Т. 58. Л. 160, 163.
- 194 См.: Судебный процесс над социалистами-революционерами. С. 357.
- 195 ГАРФ. Ф. 6772. Оп. 1. Д. 3. Л. 6.
- 196 См.: Судебный процесс над социалистами-революционерами. С. 361.
- 197 Там же. С. 367.
- 198 ГАРФ. Ф. 6772. Оп. 1. Д. 12. Л. 25.
- 199 Там же. Л. 40.
- 200 См.: Судебный процесс над социалистами-революционерами. С. 368—369.
- 201 Там же. С. 369.
- 202 См.: Там же. С. 370.
- 203 Цит. по: Судебный процесс над социалистами-революционерами. С. 370—372.
- 204 Там же. С. 373.
- 205 ЦА ФСБ РФ. Н-1789. Т. 61. Л. 8—8 об.
- 206 Там же. Л. 7.
- 207 Там же. Л. 9.
- 208 Цит. по: Судебный процесс над социалистами-революционерами. С. 722.
- 209 Там же. С. 723—724. См. также: ЦА ФСБ РФ. Н-1789. Т. 63. Л. 209.
- 210 ЦА ФСБ РФ. Н-1789. Т. 63. Л. 212.
- 211 Там же. Л. 209.
- 212 Цит. по: Судебный процесс над социалистами-революционерами. С. 374.
- 213 ЦА ФСБ РФ. Н-1789. Т. 61. Л. 11.
- 214 Там же. Л. 13.
- 215 Там же. Л. 14.
- 216 Там же. Л. 15.
- 217 Судебный процесс над социалистами-революционерами. С. 374—375.
- 218 Там же. С. 375—377.
- 219 Там же. С. 378.
- 220 Там же.
- 221 ЦА ФСБ РФ. Н-1789. Т. 61. Л. 20.
- 222 Там же. Л. 21.
- 223 Там же. Л. 22.
- 224 Там же. Т. 110. Л. 28.
- 225 Там же. Т. 61. Л. 23.
- 226 Там же. Л. 24.
- 227 Судебный процесс над социалистами-революционерами. С. 379.
- 228 ЦА ФСБ РФ. Н-1789. Т. 58. Л. 267—268. Опул. в: Судебный процесс над социалистами-революционерами. С. 583—585.

- 229 Там же. Л. 269.; Судебный процесс над социалистами-революционерами. С. 572.
- 230 Там же. Л. 272.; Судебный процесс над социалистами-революционерами. С. 573.
- 231 Там же. Л. 270—271. Судебный процесс над социалистами-революционерами. С. 573—574.
- 232 Судебный процесс над социалистами-революционерами. С. 597.
- 233 Цит.по: Судебный процесс над социалистами-революционерами. С. 571—572.
- 234 ЦА ФСБ РФ. Н-1789. Т. 58. Л. 137.
- 235 АПРФ. Ф. 3. Оп. 59. Д. 18. Л. 43.
- 236 Там же. Л. 42, 60.
- 237 Там же. Л. 62.
- 238 Там же. Л. 63.
- 239 Там же. Л. 58.
- 240 Там же. Л. 81.
- 241 ЦА ФСБ РФ. Н-1789. Т. 59. Л. 85—87. Оpubл. в: Судебный процесс над социалистами-революционерами. С. 575—577.
- 242 АПРФ. Ф. 3. Оп. 59. Д. 18. Л. 82—82 об.
- 243 Там же. Л. 78—79.
- 244 Там же. Л. 76, 77.
- 245 ЦА ФСБ РФ. Н-1789. Т. 61. Л. 33.
- 246 Там же. Л. 34.
- 247 Там же. Л. 84.
- 248 Там же. Л. 85.
- 249 РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 49. Л. 147—148. Оpubл. в: Судебный процесс над социалистами-революционерами. С. 578—580.
- 250 Там же. Л. 154—155. Оpubл. в: Судебный процесс над социалистами-революционерами. С. 577—578.
- 251 ЦА ФСБ РФ. Н-1789. Т. 104. Л. 77.
- 252 Там же. Л. 79.
- 253 Там же. Л. 86.
- 254 Там же. Л. 87.
- 255 Там же. Л. 93.
- 256 Там же. Л. 94—94 об.
- 257 Там же. Л. 98 об.
- 258 Там же. Л. 99 об.
- 259 Там же. Л. 101.
- 260 Там же. Л. 102.
- 261 Там же. Л. 104.
- 262 Там же. Л. 106.
- 263 Там же. Т. 61. Л. 36—37.
- 264 Там же. Л. 35.
- 265 Там же. Л. 111.
- 266 АП РФ. Ф. 3. Оп. 59. Д. 18. Л. 100.
- 267 Там же. Л. 102.
- 268 Там же.
- 269 ЦА ФСБ РФ. Н-1789. Т. 61. Л. 44.
- 270 Там же.
- 271 Там же.
- 272 Там же. Л. 39—41.
- 273 Там же. Т. 103. Л. 58, 58 об.
- 274 Там же. Т. 96. Л. 59, 59 об.

- 275 Там же. Т. 109. Л. 17, 17 об.
276 Там же. Т. 108. Л. 3, 3 об.
277 Там же. Т. 96. Л. 59—59 об.
278 Там же. Т. 61. Л. 50.
279 Там же. Л. 50 об.
280 Там же. Л. 51.
281 Там же. Т. 61. Л. 59.
282 Там же. Л. 60, 61, 62, 73, 67—69.
283 Там же. Л. 82.
284 Там же. Л. 81.
285 Там же. Л. 149.
286 Там же. Л. 83.
287 Там же. Т. 61. Л. 91 (Телеграммы о Гендельмане см. л. 92, об Иванове — л. 93, о Федоровиче — л. 94, об Ивановой — л. 95, о Герштейне — л. 96).
288 Там же. Л. 97.
289 Там же. Л. 149.
290 Там же. Л. 147.
291 Там же. Л. 164.
292 Там же. Л. 170.
293 Там же. Л. 172—173.
294 Там же. Д. 184, 185.
295 Там же. Л. 178.
296 Там же. Л. 208.
297 Там же. Л. 209.
298 Там же. Л. 210 об.
299 Там же. Л. 218—218 об.
300 Там же. Л. 210.
301 Там же. Л. 213—213 об.
302 Там же. Л. 214.
303 Там же. Л. 219.
304 Там же. Л. 220.
305 Там же. Л. 222—222 об.
306 Там же. Л. 225—225 об.
307 Там же. Л. 225 об.
308 Там же. Л. 226.
309 Там же. Л. 227.
310 Там же. Л. 232.
311 Там же. Л. 231.
312 Там же. Л. 43.
313 Там же. Л. 70.
314 Там же. Л. 58.
315 Там же. Л. 75.
316 Там же. Л. 76.
317 Там же. Л. 98.
318 Там же. Л. 105.
319 Там же. Л. 107.
320 Там же. Л. 108.
321 Там же. Л. 116.
322 Там же. Л. 109—109 об.
323 Там же. Л. 110, 111.

- 324 Там же. Л. 112—112 об.
- 325 Там же. Л. 113.
- 326 Там же. Л. 114.
- 327 Там же. Л. 119.
- 328 Там же. Л. 115
- 329 Там же. Л. 137.
- 330 Там же. Л. 135.
- 331 Там же. Л. 139.
- 332 Там же. Л. 140.
- 333 Там же. Л. 141.
- 334 Там же. Л. 142.
- 335 Там же. Л. 143.
- 336 Там же. Л. 144.
- 337 Там же. Л. 146.
- 338 Там же. Л. 158.
- 339 Там же. Л. 176.
- 340 Там же. Л. 171.
- 341 Рукой снимавшего копию цифра 6 то ли зачеркнута двумя косыми черточками, то ли небрежно переправлена на цифру 0, но в архивном деле документ лежит среди бумаг, датированных 26 октября.
- 342 Там же. Л. 163.
- 343 Там же. Л. 166.
- 344 Там же. Л. 165.
- 345 Там же. Л. 168.
- 346 Там же. Л. 167.
- 347 Там же. Л. 174.
- 348 Там же. Л. 177.
- 349 Там же. Л. 193.
- 350 Там же. Л. 191.
- 351 Там же. Л. 216.
- 352 Там же. Л. 215.
- 353 Там же. Л. 161.
- 354 Там же. Л. 175.
- 355 Там же. Л. 179.
- 356 Там же. Л. 195.
- 357 Там же. Л. 190.
- 358 Там же. Л. 195.
- 359 Там же. Л. 197.
- 360 Там же. Л. 192.
- 361 Там же. Л. 200—201.
- 362 Там же. Л. 202—203.
- 363 Олицкая Е. Мои воспоминания. Т. 2. С. 51—52.
- 364 ЦА ФСБ РФ. Н-1789. Т. 61. Л. 66—66 об.
- 365 Там же. Л. 106.
- 366 Там же. Л. 132.
- 367 Там же.
- 368 Там же. Л. 133.
- 369 Там же. Л. 134.
- 370 Там же. Л. 157.
- 371 Там же. Л. 187.

- 372 Там же. Л. 189.
373 Там же. Л. 80.
374 Там же. Л. 130.
375 Там же. Л. 136.
376 Там же. Л. 152.
377 Там же. Л. 188.
378 ЦА ФСБ РФ. Н-1789. Т. 104. Л. 108
379 Там же. Т. 61. Л. 52.
380 Там же. Л. 56—57 об.
381 Там же. Л. 71, 78.
382 Там же. Л. 99, 103, 104, 118.
383 Там же. Л. 121.
384 Там же. Л. 123—124 об.
385 Там же. Л. 132, 138.
386 Там же. Л. 148.
387 Там же. Л. 151.
388 Там же. Л. 162.
389 Там же. Л. 181.
390 Там же. Л. 159.
391 Там же. Л. 160.
392 Там же. Л. 182.
393 Там же. Л. 72.
394 Там же. Л. 237.
395 Там же. Л. 79—79 об.
396 Там же. Л. 100.
397 Там же. Л. 102.
398 Там же. Л. 245.
399 Там же. Л. 117.
400 Там же. Л. 127.
401 Там же.
402 Там же. Л. 180.
403 Там же. Л. 183.
404 Там же. Л. 194.
405 Там же.
406 Там же. Л. 229.
407 Там же.
408 Там же. Л. 230.
409 Там же.
410 Там же. Л. 199.
411 Там же. Л. 47—47 об.
412 Там же. Л. 88.
413 Там же. Л. 74.
414 Там же. Л. 84—84 об.
415 Там же. Л. 86—86 об.
416 Там же. Л. 89.
417 Там же. Л. 90.
418 Там же. Л. 120.
419 Там же. Л. 122.
420 Там же. Л. 125.
421 Там же. Л. 145.

- 422 Там же. Л. 153.
- 423 Там же. Л. 150.
- 424 Там же. Л. 154.
- 425 Там же. Л. 156.
- 426 Там же. Т. 96. Л. 59—59 об.
- 427 Там же. Т. 61. Л. 205.
- 428 Там же. Л. 206.
- 429 Там же. Л. 204.
- 430 Там же. Л. 207.
- 431 Там же. Т. 96. Л. 62.
- 432 Там же. Л. 62 об.
- 433 Там же. Л. 58.
- 434 Там же. Л. 72.
- 435 Там же. Л. 73, 75
- 436 Там же. Л. 7.
- 437 Там же. Л. 71—71 об.
- 438 Там же. Л. 78.
- 439 Там же. Л. 80.
- 440 Там же. Т. 59. Л. 253.
- 441 Там же. Т. 113. Л. 22.
- 442 Там же. Л. 17.
- 443 Там же. Т. 59. Л. 253 об.
- 444 Там же. Л. 248.
- 445 Там же. Л. 249.
- 446 Там же. Л. 250.
- 447 Там же. Т. 113. Л. 22—22 об.
- 448 Там же. Л. 19.
- 449 Там же. Л. 21.
- 450 Там же. Л. 22.
- 451 Там же. Т. 108. Л. 13.
- 452 Там же. Л. 16.
- 453 Там же. Л. 17.
- 454 Там же. Л. 15.
- 455 Там же. Л. 22.
- 456 Там же. Л. 17.
- 457 Там же. Т. 108. Л. 22.
- 458 Там же. Т. 113. Л. 21.
- 459 Там же. Л. 25.
- 460 Там же. Л. 29.
- 461 Там же. Л. 30.